

Н.П. Бурляев

ФРАГМЕНТЫ БОЖЬЕГО ИСКУССТВА

ЖИЗНЬ В ТРЁХ ТОМАХ
ИЗБРАННЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

II том



Золотой Витязь

Москва
2011

УДК 821.161.1-821Бурляев Н.П.

ББК 84(2Рос=Рус)6я-43

Б91

Бурляев Николай Петрович

Жизнь в трёх томах. Избранные литературные произведения.

Том II. ФРАГМЕНТЫ БОЖЬЕГО ИСКУССТВА / Н.П. Бурляев. — М.: О-во сохранения лит. наследия. Золотой Витязь, 2011. — 432 с.: фот. — ISBN 978-5-902484-41-7, ISBN 978-5-902484-43-1.

Агентство СІР РГБ

Во второй том вошли повесть Н.П. Бурляева «Близнецы» (публикуется впервые), киноповесть «Пушкин», исповедальная поэма «Иван Вольнов» и другие поэтические произведения, детская пьеса «Бемби».

Н.П. Бурляев вспоминает о своих друзьях и наставниках, которые внесли неоценимый вклад в развитие русской духовности и культуры второй половины XX—начала XXI века. Гражданская позиция автора в защиту главных нравственных ценностей чётко выражена в его выступлениях на конференциях, симпозиумах, в печати.

Издание осуществлено при поддержке

Центрального выставочного комплекса «ЭКСПОЦЕНТР» —

Генерального спонсора Славянского форума искусств «Золотой Витязь».

Автор выражает искреннюю благодарность генеральному директору

ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» Владиславу Леонидовичу Малькевичу

ISBN 978-5-902484-41-7

ISBN 978-5-902484-43-1

© Н.П. Бурляев, 2011.

© Золотой Витязь, 2011.

БЛИЗНЕЦЫ

Повесть

А я не пою по утрам в сортире. И вообще не помню, когда последний раз улыбался. Думал, что готов ко всему, ничему не удивлюсь, самое страшное в жизни приму спокойно, равнодушно... Но эти слова, словно приговор, сковали холодом всё моё существо от головы до ледяных пальцев ног. Я даже не смог, по обыкновению, съязвить в ответ. Ещё долго, после того как за нянькой закрылась дверь, словно парализованный, сидел на койке.

Палата пуста. Все в холле или во дворе — в больнице часы посещения. Я рухнул на койку, зарылся в подушку, стиснул голову руками, начал корчиться и выть, словно приговорённый к казни, над которым уже начали совершать неотменимый подготовительный ритуал.

Изнурив себя окончательно, перевалился на спину. Лежал, собирался с мыслями, тупо уставившись в солнечное, плавающее в моих слезах окно.

...Хорошо, что я сразу не увидел этот простой выход: из окна... Палата на восьмом этаже... Я благодарил Бога за то, что не сделал этого немедленно. Не могу уйти, не исповедавшись. Кому?... В Бога я никогда не верил... Брату?... Марии?... Детям?... Или белому листу бумаги?..

Лежал, курил, словно со стороны наблюдая за своим одиноким в этих белых стенах телом, за своей смертельно больной душой... Размышлял, вспоминал некогда зарифмованные мною слова Библии: «Под небом на земле всему своё есть время: явиться время, время исчезать... Построить время, время разрушать... Смеяться — плакать... Сберегать — бросать... Искать — терять... Молчать и говорить... Время любить и время ненавидеть... хотя всю жизнь ты обречён любить... Проходит время уклоненья от объятий — вновь наступает время обнимать... Уничтожение сменит возрожденье... чтоб вновь уничтожение принять... Время рождаться — время умирать. Дано нам время жизни праздник знать — волшебное даренье Провиденья... Себе желаю, чтоб в конце я мог сказать: остано-

вись прекрасное мгновенье!.. И с этим чувством тайное принять. С последним чувством вечно пребывать, когда внезапно истечёт земное время и Вечности наступит благодать, где суетное время уж не знать...»

Не сбывается моё давнее желание. Не хочу останавливать мгновение своей постоянной душевной муки. Теперь я твёрдо знаю, что последним моим чувством будет — страх. «...Я ощутил свой страх, когда из чрева вышел. Из гулкой, позабытой ныне бездны в пронзительный, кричащий света хаос, в мгновенье: первый вздох — последний выдох... Вздохнул, вместилище души наполнил страхом и, получивший имя, начал жить...»

И вот мне 40 лет. Помутнели некогда голубые глаза. Зрение и слух притупились. Заметно полысел. От курения почернели редкие зубы. Лицо покрылось красными пятнами и, вероятно, печатью всех пороков — от пьянства до слабоумия. Давно уже нестерпимо болит печень, сердце постоянно ноет от лопатки до кончиков пальцев левой руки. Руки влажные, дыхание до противности мелкое, несвободное. В мозжечке как-то сухо и тяжело, словно с похмелья. Внутри непрерывно ворочаются какие-то адские шестерёнки, вызывающие душевное кровотечение, тошнотворную холодную дрожь в суставах... И это называется — пора расцвета всех творческих сил...

Я работаю в винном магазине, «рабочим», как пишет в выездных анкетах мой брат, хотя на самом-то деле грузчиком. По вечерам «на полставки» подрабатываю в пивном баре вышибалой. Марии и детям вру, будто — администратором. В магазине я незаменим: хожу в «лучших людях», прибит к почётной доске. Меня уважают. Со мной иногда советуется даже директор Чавчавадзе. Частенько на общих собраниях воинства Бахуса он живописует мои заслуги перед алкогольной промышленностью. Любит за мой ум и прямоту. А, может быть, за громкую фамилию, прославленную моим братом. Ведь он — знаменитый поэт.

Мой брат — мой близнец. Моя тайная мука и зависть, ненавистный идеал, моя половина, быть может, самая лучшая. Он всю жизнь не даёт мне покоя, умножает мои страдания и комплексы.

Наши судьбы сплелись, словно две терновые ветви. Мы редко соприкасались, а когда это происходило, словно шипами, терза-

ли друг друга, ранили в кровь. Он похитил у меня поэзию и славу. Я, в отместку, украл его любовь и счастье. Я мучительно люблю его кровью брата-близнеца и ненавижу, завидую ему рассудком Каина, душой Сальери. Больше всего я хотел бы стать им, своим зеркальным отражением, двойником... «Отражение моё, всплывшее мечтою... бирюзовые глаза.., родное и чужое... Познаю тебя — не знаю! Ты — меня не знаешь! Бок о бок со мной по жизни много лет шагаешь... Ты — всегда передо мною: в зеркале, во сне... Недоступен, горд, свободен, ты — на зависть мне! Я — беспомощен, завистлив, зол, ленив и скован. Нам бы слиться воедино, сбросить бы оковы!..» Эти стихи, написанные в юности, я часто вспоминал за работой в своём подвале, скрашивая однообразные, размеренные, словно ячейчатые клетки винной тары, будни «храма российских вин». До звонка таскал занозистые ящики, тяжело вздыхал и думал о прошлом, когда всё в нашей жизни было иначе.

Ведь Близнец с детства старался подражать мне. И стихи писать начал, потому что первым это стал делать я... «...Детство я своё не помню ныне... Несколько деталей, как во сне: драки с братом... босиком по глине... дом в лесу... Был грустным — боль в себе... Помню, что считал себя я Богом!.. Ну, не Бог, так — царь: вдали престол сиял. Молча ждал, вырослел и с каждым годом чувство это медленно терял. Жизнь любовную с разврата начал смело: лазил нагишом с девчонкой по сараю, предавался ласкам неумело и обманывал — жениться не желая... Шарил по карманам у соседей и вино из рюмок допивал... Не дружил с детьми, не знал трагедий... Злой и хитрый... книжек не читал...»

...Я совсем не помню своё детство. Не люблю его и не мечтаю, как некоторые, о его возвращении. Даже теперешнее своё состояние, горестный опыт и относительное знание жизни, добытое в страданиях, не променял бы, будь это возможно, на возвращение в детство. В беспомощные, несведущие, ото всех зависимые времена ничтожного, подопечного раба. Когда ты — слабенький росток, уже осознал себя, свою «бессмертную душу», но должен подчиняться чужой воле: темноте, незнанию, равнодушию или, напротив, чрезмерной любви артели «садоводов», способных вырастить из тебя всё, что им угодно. Например, такое гнилое рас-

тение, каким ныне являюсь я. Не каждому в детстве попадают Мичурины и Макаренко.

С бантом на шее, похожего на домашнего котёнка, родители водружали меня на стульчик. Шепелявя и картавя, я с упоением декламировал гостям свои первые бездарные творения. Взрослые восторгались, баловали меня, отец и мать блаженствовали, а Близнаец сидел в сторонке и завидовал. В этом он потом признался мне сам.

Тогда, в 1945 году, в весенние дни всеобщего победного ликования, мы встретились с Близнацем после четырёхлетней разлуки. В начале войны отец выхлопотал бронь и уехал со своим заводом подальше от пекла. Сборы были недолги, бегство поспешно. Близнаца, больного воспалением лёгких, пришлось оставить в Москве, у маминого брата дяди Бори и его жены тёти Жени. У них он провёл все четыре года войны.

И вот мы, пятилетние братья-близнецы, встретились. Возможно, с этой встречи и поселилась во мне тревога. Близнаец свободно читал книги на русском и английском языках, рассказывал мне о том, что повидал за годы войны. Дядька повсюду таскал его за собой чуть ли не с двух лет: в госпиталь, где работал хирургом, в театры, на концерты, выставки. Дядька был страстным любителем искусства. Близнаец видел, как умирают люди, видел обрубленные тела, гнойные бинты, кровь, мучения и горькие слёзы. Часто рассказывал мне историю голубоглазого солдата. До войны этот парень был беспризорником, хулиганом, грозой Рязани. Но вышло так, что в гробу он лежал с геройской звездой на гимнастёрке. Парень бросил гранату в немецкий дзот. Наши поднялись в атаку, но пулемёт застрочил вновь. Тогда этот парень бросился на амбразуру, схватил руками ствол пулемёта, пригнул его к земле и так держал раскалённый ствол, пока раненый немец не истёк кровью. Всё это парень проделал уже прошитый очередью от правого плеча до левого бедра. Лишь через двое суток наши отбили высоту и подобрали его, с трудом оторвали примёрзшие к пулемёту пальцы. Отмороженную правую руку и обе ноги отрезали тут же, в полевом госпитале. И отправили парня, вернее этот обрубок, в Москву. Он не собирался помирать. Мечтал о том, как после войны станет педагогом, будет учить детишек в своей

Рязани. Перед смертью он позвал нашего дядю Борю, дал ему адрес детдомовского воспитателя и попросил, если умрёт, написать тому, сообщить, что он не боялся смерти за самое дорогое на свете, за любимую Родину. Просил передать своему воспитателю слова уважения и любви. Имя этого паренька было не Александр Матросов — его звали Алёша Очкин.

Близнец рассказал эту историю со слезами на глазах, но его картавые слова: «гелой», «добло», «лодина» смешили меня и вызывали смутное беспокойство. В нашем доме все эти слова считались «ходульными» и никогда не произносились. Даже мать, неумная, как шутил отец, «общественная деятельница» из первых комсомолок, стеснялась говорить при отце громкие слова. Всё «ходульное» отец подвергал осмеянию и едкой иронии. Во времена культа и войны, видимо от страха, критика отца была сдержанной. Но вот жизнь стала безопаснее, в доме появился телевизор КВН, и отец, лёжа на тахте, уже во весь голос смешно передразнивал и поносил руководителей и лицедеев, всех подряд.

Всю жизнь отец ненавидел свою работу. Маялся от звонка до долгожданного звонка и, как манны небесной, ожидал увольнения на пенсию. Приходил с работы вечно раздражённый, неизменно ругал бездарного начальника Мертешова, который, однако, опять не мог обойтись без его помощи. Съедал приготовленные матерью котлеты и заваливался на кровать. Едва его голова касалась подушки, он издавал глубинный, страдальческий вздох, восклицал: «Эх... твою мать!..» И вскоре, в унисон всегда включённому над ухом репродуктору, раздавался безмятежный храп. А в шесть утра его пробуждали первые звуки гимна Советского Союза. Он надсадно вздыхал, зевал, зевок и вздох завершались глубинным горестным выдохом: «Эх... твою мать!..» Сделав несколько упражнений, он плёлся на общественную кухню готовить геркулесовую кашу на всю семью. Сколько помню, этот сдавленный вопль был его неизменной, ежедневной, утренней и вечерней молитвой.

* * *

Пятилетний Близнец захлёб рассказывал мне о спектаклях, о «театле», где они с дядей Борей всегда устраивались в первом

ряду, чтобы ничто не мешало их погружению в действие. Близнец сидел в подрагивающем от далёких разрывов кресле и, ничего не замечая, до искусанных губ, переживал за героев, которые дружной вереницей шли за Синей Птицей. Однажды он даже попытался влезть на сцену помочь артистам, но дядя Боря успел удержать его. Он так хотел, чтобы Синяя Птица нашлась! Ведь тогда наконец прекратится эта бесконечная война и не умрёт Алёша Очкин он будет учить детей в школе, согревать их своими лучистыми голубыми глазами, и все люди станут счастливыми, будут жить в мире и любви, по справедливости.

— Я знаю, где искать Синюю Птицу, — шептал мне на ухо Близнец. — Хочешь, пойдем вместе...

Честно говоря, я тогда хотел пойти с Близнецом, но на всякий случай решил посоветоваться с отцом. Я всегда с ним советовался.

— Никакой Синей Птицы не существует, — сказал отец, пережёвывая котлету. — Это фантазия, сказка Метерлинка... Кто внушил тебе этот бред? Это ты — «Колесо»?.. — Так он прозвал Близнеца за его гнутые, кривые ножки. Весь свой гнев отец обрушил на него и на материну родню: — Валяйте, ищите со своими дядьками-бабками! Только брата с толку не сбивай! Мой сын должен стать нормальным человеком. А из тебя всё равно ничего путного не выйдет. Что ты на меня уставился, рахит?..

— Тогда я пойду один, — сдерживая слёзы, тихо произнёс Близнец и вышел из-за стола.

— Сделай милость! — крикнул ему вслед отец. — Одним дармодом меньше будет!

Я не пошёл с Близнецом. Ведь отец «знает всё и ещё две вещи», — так он шутил над собой. Он большой шутник и очень образованный человек. Я ему верил. И действительно, на следующий день мать привела Близнеца от дяди Бори, без Синей Птицы. Отец, конечно, выпорол его. «Хорошо, что не пошёл с ним», — думал я, засыпая и разглядывая на потолке загадочные плавающие светотени от фар шелестящих за окнами машин.

Близнец не обиделся на меня, ни словом не упрекнул за то, что я подвёл его под порку. Казалось, он даже жалеет и меня, и отца — блаженный... По прежнему, взяв в охапку, он делился со мной самым сокровенным. Рассказывал о нашем «необыкновенном

дяде Боре», о его работе, уникальных операциях, золотых руках. За эти «золотые руки» его и реабилитировали перед самой войной, а может, действительно всплыла ошибка, обрекшая его на 15 лет каторги. Из них 10 лет он всё-таки отбыл. И, как рассказывали, не унывал даже там. Ухитрялся работать, писать. Его все любили, уважали за справедливость и доброту. Он разбирал спорные вопросы, советовал, помогал. Как птенца, изо рта в рот, он кормил своей пайкой свихнувшегося поэта Осю Мандельштама. Тот возомнил, что его хотят отравить, отказывался от своей пайки и принимал лишь дядькину таким своеобразным манером.

Десять лет ждала дядю Борю тётя Женя. Сколь тяжело было ей, ещё молодой и красивой жене «врага народа», я узнал позднее. Она выдержала всё, сохранила верность, дождалась. Дядя Боря боготворил свою жену. Заботился о ней, уважал так сильно, что это отношение невольно перенял и Близнец. С такой же любовью и уважением он всегда говорил о тёте Жене, о нашей маме, о бабушке... Да, пожалуй, о каждой женщине.

Помню, как в семь лет беспомощный Близнец с кулаками пошёл на отца, защищая мать. Отец не всегда был верен ей и не особенно скрывал это. Станным образом мать научилась прощать и, казалось, не замечать его увлечений.

Нельзя сказать, чтобы отец плохо относился к женщинам. Он их любил. Правда, несколько иначе, чем дядя Боря. Он говорил: — Тереть одну самку всю жизнь, это — скучно...

Он хотел обнять всех женщин мира и сожалел, что это невозможно. С восторгом цитировал Пастернака: «А я пред чудом женских рук, спины и плеч, и шеи, и так с привязанностью слуг весь век благоговею, но, как не сковывает ночь меня кольцом тоскливым, сильнее на свете тяга прочь, и манит страсть к разрывам...» Однако с матерью он прожил более пятидесяти лет, не мог обходиться без неё, хотя и делал вид, что относится к ней как к существу низшего порядка. Честил её за бытовые промахи: за пережаренные котлеты, за отвлечение на «общественную деятельность», за «куриные мозги». Хотя глупой мать вовсе не была. Мать принимала эту брань с улыбкой и лукавым глазом. Подчиняясь, она незримо руководила и в семье, и за её пределами. В ней погибал мощный организаторский гений номенклатурного масштаба.

Она полностью оправдывала своё имя, Татьяна, означающее — «устроительница». Всё, к чему прикасалась мать, оживало и эта жизнь была ключом.

Мать рассказывала, что когда её настиг первый инфаркт, она в течение трёх суток пребывала в ином мире. Врачи поставили на ней крест. Спасла её Богородица, которая за руку вывела мать из небытия, сказала ей, что она будет жить и каждый день делать людям добро. Она открыла глаза, как после лёгкого сна, и профессор по фамилии Ваза, уже давно простившийся со своей пациенткой, с удивлением сказал: «Будешь жить!» После этого мать стала ещё мудрее. Прозорливость её подчас переходила в ясновидение.

Часто родители вспоминали забавный случай. Как-то отец возвратился из далёкой командировки, и мать сказала ему, что в такой-то день и час он обнимал светловолосую голубоглазую женщину, и чуть ли не имя её назвала. Ошарашенный, отец терялся в догадках — откуда она узнала об этом: между городами две тысячи вёрст, знакомых, способных донести, никаких... Оказалось — мать видела это во сне. Отец вынужден был признаться, что тогда, наедине с ундиной, в самый ответственный момент, его словно токомшибануло: он увидел пред собою мать, и ничего у него с ундиной не получилось. Не знаю, можно ли верить старому ловеласу? И хотя с тех пор он начал признавать за матерью некоторые экстрасенсорные способности, обращение с ней не изменил. За малую провинность, костил её, на чём свет стоит: «Чёрт! Дура! Куриная голова!» — беззлобно негодовал он на всю коммуналку. Любил шпынять её публично — при соседях и гостях: артисту нужен зритель, ведь жизнь его игра. Отец стихал и готов был всё простить лишь перед сном, когда мать чесала ему спину и голову. Он замирал в неестественной позе, закатывал глаза, кричал и таял от блаженства. В общем-то без матери он не мог шагу ступить. Беспокоился, скисал, когда мать дольше обычного задерживалась или уезжала из дома. А когда она серьёзно заболела, был трогателен и заботлив, и этого же требовал от нас.

Отца, наверное, можно назвать трагической фигурой двадцатого века. Отпрыск русских музыкантов, сам душою — музыкант и философ, он всю жизнь вынужден был заниматься ненавистной экономикой. Он мог забывать о ней лишь по вечерам, садясь

за наш, вечно расстроенный, дореволюционный рояль. Его импровизации завораживали редких слушателей. Он играл с душой. Пальцы не поспевали за вдохновением. Он брал неверную ноту, злился, пробегал, проглатывал испорченную музыкальную фразу. Начинал играть ещё громче, словно стараясь забыть, стереть из памяти ощущение конфуза. Подъём и темп нарастали. Он снова ошибался, проскакивал неудавшийся кусок и усиливал звучание, доводя зрителей до мурашек вымученного, эмоционального возбуждения. Его импровизации — ошибки, злость, преодоление, беспомощность — воплощённое единоборство с веком-волкодавом, мщение своей неудавшейся судьбе.

Он имел безусловный дар, много хотел и ничего не добился. Не воплотил своё призвание, всю жизнь, в нарукавниках проскрипел за своей чиновничьей конторкой в планово-производственном отделе. Человек без веры, презиравший лживые идеалы большинства. Никаких авторитетов, кроме собственного, не признающий. Беспомощная, смешная, седая птица в круглых очках. Оратор, мастер эпистолярного жанра. Поклонник женской художественной гимнастики и певицы Зары Долухановой. Непризнанный гений, задуманный астмой. Частенько, принимая трагикомическую позу, он восклицал: «Я маю свою мятежную душу о камни времени!..» Он ненавидел бюрократов и всю материну родню. Наверно, из-за этой ненавистной родни он перенёс своё презрительное отношение и на Близнеца: называл его «бабкиным-дядькиным сынком» и вообще «второй категорией».

Во мне же он не чаял души. Гордо заявлял: «Вот это — мой сын!» Будто Близнеца произвёл на свет Божий не он, а дядя Боря. Отец гордился своим умом и мною... Я крепко подвёл старика, не оправдал его надежд...

Мать не делила детей на первый и второй сорт, любила и ласкала нас обоих, когда позволяла работа и общественная деятельность. Но эта ненасытная «деятельность» была готова сожрать всё её свободное время.

Самозабвенно и преданно любила Близнеца, пожалуй, лишь наша бабушка. Ради него она разлучилась с дедом и дядей Борей, поселилась у нас сразу же после войны. Кончилась Отечественная — началась «гражданская» война между отцом и бабкой. Война за

Близнеца. Она стеной вставала на его защиту. Как верный пёс, спала на полу, сторожила его кроватку. Чуть ли не до шести лет таскала его на руках в Филатовскую больницу исправлять кривые ножки. И выправила. Умирая, она говорила матери: «Береги его, это твой кормилец...»

Близнец рос тихим и замкнутым. Почитывал в уединении книжки, пописывал, подражая мне, стишки. Сколько бабка ни уверяла окружающих, что он добрый, душевный ребёнок, соседи сторонились его. Не любили его пронзительный, проникающий в душу взгляд. Казалось, что он видит тебя всего, твоё сокровенное, тайное, как рентген. Его сострадание будоражило и раздражало. Соседи пускали Близнеца в гости только со мной. Я был всеобщим любимцем — шахматным королём, непревзойдённым поэтом, комиком, гордостью всей коммуналки. Да что там коммуналки — всего нашего огромного дома, по адресу: улица Горького, 6. Торт с башенками, отделанный разноцветной керамической плиткой, сказочный замок нашего детства, некогда принадлежавший первому российскому кинодеятелю Ханжонкову. Поговаривали, что до революции в нём отсиживался Григорий Распутин.

Длинный, полутёмный, сужающийся к кухне коридор. Просторные комнаты с пятиметровыми потолками, украшенными дворцовой лепниной и громадными, сверху овальными, окнами. Общественная ванная и уборная — одна на двадцать человек. Бесконечная очередь помыться и пописать. Скандальный хоровод соседей на многостольной, многоконфорочной кухне. Сожители наперебой зазывали меня в гости: кто в шахматы сразиться, кто выступить перед зваными гостями с чтением своих произведений «на стульчике», кто посмеяться над своими соседями, которых я лихо пародировал. В гостях щедро угощали, и я всегда прихватывал с собой Близнеца. «Пусть полакомится за мой счёт, — думал я, — а заодно лишний раз посмотрит на мой триумф». Одному соседу покажу нашу одноглазую карлицу-горбунью тётю Грушу, как она, одинокая «Квазимода», взбирается на стол и там устраивается на стуле, под самым абажуром, читает газету «Комсомольская правда». «Квазимода» держит газету у самого носа. Игриво склонив на бок голову, она словно выковыривает буквы своим единственным круглым глазом. Потом покажу, как она трясётся

над своим тайным сундуком с несметными богатствами. Хозяин и гости довольные хохочут, заливаются, угощают нас с Близнецом конфетами и пряниками: «Уж больно метко изобразил»!..»

Когда померла тётя Груша, слетелись, как вороны, неизвестные при жизни родственники, переворошили всё вверх дном, но ничего не нашли.

Тёте Груше представлю её ненавистную соседку, неохватную толстуху, армянку Анаиду Мамиконовну Яхшиянц — седую, расстрёпанную кассиршу Елисеевского магазина: её эпохальную, раз в год, стирку, с удушающей вонью на всю коммуну, её постоянное беззлбное ворчанье: «Чё-ёрт!..» Её ночное шествие с кряхтеньем по длинному тёмному коридору с таким же, как она сама, необъятным ночным горшком. Плывёт, натывается на все выступы и углы, чертыхается. Покажу Анаидины сундуки, которые, когда и она преставится в полном одиночестве, тоже окажутся пустыми.

Утешу, насмешу тётю Грушу до икоты, до слезы из единственного глаза — поднесёт чайку и гостинчик.

Армянке покажу её недруга — хромого, припадающего на левую ногу пенсионера Бориса Евгеньевича Шуберта и его окующую, татуированную супругу Галину Платоновну, страстных любителей общественного лото и карточных игр: джокера и буры. Шуберт вряд ли был потомком великого композитора. Скорее, он походил на выродившегося отпрыска Кисы Воробьянинова, только ещё более жалкого, нежели предводитель дворянства. Выдам Анаиде свой коронный номер: резвенький Шуберт, приволакивая левую ножку, вприпрыжку шаркает по квартире, гаденько хихикает, рассыпается, дребезжит гнусавенькими, каратавенькими прибауточками: «Дохвое дево, да... дохвое дево!.. Осади на плитуар!.. Мивый Макс, купи гавошки!.. Ку-пись, бойшая и маенькая!.. Ваши деньги с дырками!.. Пвохам-девам!..»

Показываю я настолько похоже и смешно, что армянка сипит, краснеет, задыхается от смеха, но угощает скупое. Да и есть-то у неё противно: захламлено, грязно в комнате и воняет ужасно. Я не любил к ней заглядывать.

Трудно было рассмешить лишь нашего саркастического отца. Его я мог расшевелить только пародиями на презренного соседа Зосимку и его доченьку, престарелую «Офелию», иссушённую,

как вобла, вечную старую деву. Хотя легенда утверждала, что де-вой она была не вечно. Поговаривали, будто пенсионер Зосимка, бывший служака вооружённой охраны, уморил свою жену-латышку, желая остаться наедине с «Офелией». Неизвестно, знал ли он о существовании царя Эдипа и его комплексе, читал ли труды Фрейда и «Лолиту» или распоясал нехорошие инстинкты по собственной прихоти..?

Отец обожал пародии на Зосимку, самодеятельного любителя игры на баяне и бесконечно долгого мытья рук. Мыл он их тщательно, часами, словно готовясь к важнейшей операции или пытаясь избавиться от каких-то, известных лишь ему, тайных несмываемых пятен. Я изображал, как Зосимка публично, на кухне обнажает своё дрябленькое, когда-то, видать, крепкое тельце, словно изюмовая булка, сплошь утыканное родимыми пятнами — шершавыми и огромными, словно собачьи носы. Расставив ноги, положив в раковину своё замшелое пузико, он обливается холодной водой и начинает тщательный очистительный круговорот ладоней. Завершив свой бесконечный туалет, вразвалочку удаляется к себе в апартамент, расстилает на коленках потёртую, как у гуталинщика, бархотку, берёт в руки баян, кладёт на него своё изрытое оспой «родимое» лицо и начинает терзать меха и наши коммунальные нервы. Музицирование, как правило, продолжалось весь день, с маленькими перерывами. Больше всех страдал от этого и негодовал наш отец. С яростью тигра и беспощадностью музыковеда он обрушивал на соседскую стенку поток критического анализа репертуара растленного охранника, коим был приговорён на нескончаемое, ежедневное истязание своего утончённого слуха. В репертуаре вохровца была лишь одна-единственная русская народная песенка: «Парень с девицей целуется просит цену набавлять». Ах, как самозабвенно фальшивил и перевирал её коварный охранник девичьей чести! Иногда к «Офелии» захаживали женихи, но дальше чаепития дело не доходило. До конца дней она так и не вышла замуж.

Один за другим отправлялись в мир иной наши соседи. Появлялись новые типажи для моих пародий.

В келью тёти Груши въехал рыхлый здоровяк, горький пьяница дядя Афоня. Пенсионер изнывал от одиночества, лез к соседям

со своей поллитровкой. Просачивался во все щели. Его нещадно гнали. Отверженный, он на несколько дней затихал в своей берлоге. Не выходя в свет, пил, скулил романсы и засыпал поперёк постели в собственных испражнениях. От тоски он прописал у себя новую подругу жизни: грудастую, въедливую хохлушку — поездную буфетчицу с противным зычным голосом, похожую на популярную исполнительницу народных песен. Счастье новобрачных было недолгим. Прервав медовый месяц, превратившийся от радости в запой, буфетчица определила своего Ромео на пятнадцать суток. Вскоре Афоня съехал на кладбище, а неутешная обрела новое счастье.

Армянку сменил новоявленный «Мартин Иден», страстный поклонник Джека Лондона, графоман по имени Женя, по совместительству истопник, со своей женой, хамоватой простушкой, тоже Женей и парализованной бабкой, никогда не выползавшей из-за ширмы. «Жени» общались со своей бабусей посредством отборного мата. Подаст она из-за ширмы нечленораздельные призывные звуки, а они ей в ответ: «Иди на хрен, бабка!» А когда были вынуждены ухаживать за ней, орали: «Подними задницу, сволочь, я тебе утку подставляю!.. Ах, ты, сука!.. Обгадилась?!..»

В этом изысканном обществе и протекло наше счастливое детство.

Моему триумфальному турне по коммуналке Близнец предпочитал уединение с книжкой в своём углу. Шокировали его и наши своеобразные игрища в «дочки-матери» и «паровозик» с пятилетней внучкой Шуберта на тёмных антресолях. Казалось, он вообще не замечал всего этого клокочущего страстями, орущего и скандалящего, дымящегося коммунального ада. Он жил посещениями дяди Бори. Вырывался к нему, словно на праздник. Бабка уверяла, что дядя Боря очень любит Близнеца. Не знаю: по дядькиному виду это было незаметно, он вовсе не баловал племянника, был строг и сдержан. Прибежит к нему счастливый Близнец с известием, что прочитал сегодня две книги, а дядька в ответ спокойно скажет: «В твоём возрасте я ежедневно читал не меньше пяти, а такой-то, — и назовёт авторитетное имя, — и все десять. Кроме того, я знал наизусть целые произведения Пушкина, Лермонтова, Шекспира...»

Это в шесть-то, в семь лет?.. Я лично только начинал осваивать азбуку.

Любимая дядькина присказка была: «В познаниях я достиг уже того, что знаю, что не знаю ничего». Впрочем, когда было за что похвалить, дядька не скупился. Он любил справедливость и от Близнеца всегда требовал — жить, подчиняясь «Закону справедливости», всегда говорить правду, всю правду целиком, всем без различия, без обиняков и без иносказаний, без компромисса и без страха. Учил никогда не унывать, радоваться жизни.

Как-то мы, пятилетние, остались у дядьки ночевать. Утром просыпаюсь — они оба на кухне пьют чай, что-то восторженно обсуждают. Заметив меня, Близнец стал взахлёб рассказывать про «шекспировскую бурю», про удивительный восход над Москвой, который они с дядькой видели с Воробьёвых гор. Я обиделся: почему не взяли меня? Оказалось, будили, но я проворчал, что хочу спать, что ночью все нормальные люди спят. Они не сомкнули глаз, но выглядели эдакими розовощёкими бодрячками и не думали о сне. Я считал их ненормальными, но в глубине души завидовал им, их особым отношениям.

Тайная зависть к Близнецу поселилась во мне с его возвращением в нашу семью. Поселилась глубоко и прочно, навсегда. С годами чувство это всё более крепло, росло, лишало покоя, душило меня.

Я не любил бывать у дядьки. Там мне было беспокойно. Их отношения вызывали во мне странную реакцию. Глядя на них, мне казалось, будто я обворован, нищ, ничтожен. Ныла душа, поднималась злость на Близнеца, на дядьку, на себя, на весь мир. Я не выносил поучений. Дядька же постоянно обращал моё внимание на «опасные свойства моей натуры».

В тринадцать лет я уже был знаменит, окрылён своим успехом. Я начинал ощущать свою одарённость, избранность. Помню, что тогда дядька обрушил на меня своё негодование. Он заявил, что я возвысился над всем миром, возгордился, никого, кроме себя, не люблю, безобразно, грубо обращаюсь с матерью, необузданно тщеславен и ничего этого за собой не замечаю... Он просил меня задуматься и сделать выводы. Говорил, что иначе очень скоро мне придётся расплачиваться за всё это. Такого обращения с собой я

не мог позволить никому. Я перестал бывать у него. Тем более что отца раздражали мои посещения дяди Бори.

После этого я видел дядьку всего лишь два раза: за несколько дней до его смерти и в гробу. К концу жизни дядя Боря стал всемирно известным нейрохирургом, академиком, лауреатом кучи премий. Скрывая от мира чудовищные раковые боли и метаморфозу своего некогда гигантского тела, усохшего вдвое, он уединённо жил на даче. Никого не принимал, исследовал в тишине свою болезнь. Но узнав от тёти Жени, что приехали мы, пророкотал за стеной своим раскатистым, бархатным голосом:

— А-а... братцы-кролики?!.. Пусть зайдут!

С разлёту, как на шпагу, я напоролся на его протянутую с постели руку. Съёжившись от сковавшего меня душевного столбняка, я увидел пред собою половину бывшего дяди Бори. Он лежал поверх одеяла, словно прилёг отдохнуть, молодецки закинув правую пятку на левое колено. Его ступню в чёрном носке, задранную к потолку, я увидел ещё в окне, подходя к даче по дорожке. Даже в смертельной болезни — аристократизм и русская удаль. Выдавали лишь глаза, вопрошавшие у нас: «Каким вы находите меня теперь? Я очень изменился?..» Он походил на ребёнка, с которым дурно обошлись и он не знает, как к этому относиться.

— Как настроение? В институте как?.. Как дома?..

— Всё хорошо, спасибо, — ответил Близнец.

— Как твои успехи? — обратился он ко мне.

— Да нормально, — буркнул я.

— Врёшь! И очень неуверенно! — Взгляд дяди Бори полоснул меня по самому сердцу.

Потом похороны. Подступы к Академии затоплены людьми, пришедшими проститься с дядей Борей. Нас с Близнецом не сразу допустили: «Зал битком... негде встать...» Еле пробрались в недра Академии. Отовсюду доносилось: «Гений... Гигант русской научной мысли... Исполин духа... Сколько бы ещё мог совершить... Бессмертие...» Почти сразу попали в прощальный караул. На высоком постаменте, в цветах, я увидел его лицо. Меня поразило застывшее на нём чувство глубокого удовлетворения, просветления... Рядом стояла тётя Женя: сильная, красивая, казалось, даже помолодевшая. К ней подходили люди: академики, члены пра-

вительства, артисты. Глядя им прямо в глаза, она со спокойным достоинством принимала слёзы и слова соболезнования. Принимала без трагической позы, естественно и просто, оставаясь над всем этим театром похорон.

Кончилось прощание. Вынос тела под проливной дождь. Долгий, молчаливый, последний путь в зашторенном похоронном автобусе до Новодевичьего кладбища. Всю дорогу, держась обеими руками за крышу автобуса, глубоко погруженный в себя стоял над гробом Близнец.

Перед погребением дождь усилился. Он покрывал пожелтевшее на улице лицо дяди Бори. Тётя Женя ладонью обтирала его.

После единственной, быстрой, поверхностно-обобщающей речи какого-то академика гроб мгновенно заколотили, профессионально быстро опустили в могилу. Скорое забрасывание землёй с жирными дождевыми червями. Гора венков — выше человеческого роста. И... вечный покой в компании выдающихся имён России.

Долго потом вспоминал я просветлённое лицо усопшего. Близнец говорил, что выражение его то и дело менялось. Сразу по смерти — полный покой, светлая устремлённость ввысь. В морге, когда снимали маску, — блаженная, немного стеснительная улыбка. При выносе из Академии — некая сосредоточенность, с поджатой губой. Перед самым погребением — снова покой и несказанная радость, словно он очень доволен своим преображением. Впрочем, если верить Мечникову и его «естественной смерти», штука эта не такая страшная, как о ней думают живые.

Возвратившись с кладбища домой, немногочисленные родные и близкие до полночи воодушевлённо вспоминали лишь весёлые истории из прожитой вместе с дядей Борей жизни. Слушали запись его необъятного громового голоса. Иногда кто-то вдруг, не выдержав напряжения, осознания масштабов утраты, задыхался в петле молчаливого рыдания. Не выдерживали преимущественно мужчины. Но правил тризной вовсе не трагический, а какой-то необычно свободный и могучий дух. Дух дяди Бори. Он жил в Близнеце, в тёте Жене — женщине, потрясшей в этот день даже меня. Её слёз не видел никто. За столом, в их опрятной уютной комнате, в которой прошла вся её с дядей Борей жизнь, она весь

вечер вместе со всеми спокойно вспоминала только весёлые, остроумные мгновения прошлого. На её лице часто воцарялась прекрасная счастливая улыбка. Она не стала произносить свою последнюю речь, размениваться в словах застольного прощания. Она отлучилась из комнаты, когда окна озарились яркой молнией и раздался гром: гром и молния в конце октября. Вернувшись к столу и услышав об этом, она вовсе не удивилась. Словно так и должно было случиться в этот вечер. Тогда вновь, как подтверждение, молния настойчиво заглянула в окна, и комната содрогнулась от озорного грома. Распахнули балконную дверь — Москва лежала в снегу. Кто-то заметил, что это дяди Борин прощальный привет...

Никто, кроме Близнеца, не видел, как плакала эта женщина. Он рассказал мне об этом.

— Как нужно любить... — задумчиво говорил он, — слиться в единое, только им известное, прекрасное целое... единую душу двух любящих людей, чтобы с непосвящёнными в это великое таинство сохранять мужественный покой, изысканный аристократизм, поистине царское величие, позволяя закапывать в землю половину себя... Гармонический конец земного существования настоящей любви... Покой наивысшей потери. Перед самым уходом дядя Боря сказал, что сейчас ему хорошо. Тётя Женя взяла его руку, сказала: «Спасибо тебе за мою счастливую жизнь». Он сжал в ответ её ладонь, выдохнул: «Привет... — ещё тише выдохнул, — всем...»

Дяди Бори не стало, когда нам было по двадцать лет. Но тогда, в далёком детстве, я и предположить не мог, что он такая большая шишка. Он никогда не хвастался своими заслугами. Просто работал, жил не привлекая внимания. Дабы не испытывать своё ущемлённое самолюбие, я редко бывал в его доме. Не люблю быть вторым, не терплю быть судимым. Зато в нашей семье я брал реванш. Купался в своей славе, в любви отца, которой был обделён Близнец. Гордостью и надеждой отца всегда был только я — ненаглядный и превозносимый. Отец собственноручно переписывал мои стихи, пока я не научился грамоте. Читал мои творения знакомым и сослуживцам и передавал мне их восторженные отзывы. Он непрестанно хвалил меня, называл поэтом. Не раз с

его уст срывалось сладкое, щекочущее моё солнечное сплетение слово: «Гений!..» Он устраивал мои поэтические выступления и шахматные сеансы на своей работе, в жэке, в санатории, где отдыхал, в моей школе. Гордо пожинал лавры, упивался восторгами толпы...

Итак, первым в нашей семье прославился я. В восемь лет от роду мои стихи напечатали в «Пионерской правде» и «Мурзилке» с предисловием самого Корнея Чуковского. Кличка «поэт» закрепилась за мной окончательно, — так звали меня в семье, в школе, во дворе, в пионерском лагере. Я гордился этим, жил мечтой о поэтической славе. Впрочем, способности мои были многогранны. В десять лет я снова прославился, но уже как шахматист. «Маленький мастер», «ребёнок-феномен», «чудо за шахматной доской», «шахматист-вундеркинд», — так писала обо мне пресса пятидесятых годов. И даже сам Сталин пригласил меня на приём в Кремль и подарил мне старинные индийские, из слоновой кости шахматы. После чего мне, в двенадцать лет, присвоили звание мастер спорта СССР. Я свободно, вслепую играл на двадцати, а потом и на пятидесяти досках и обыгрывал взрослых разрядников. Обо мне сняли документальный фильм, меня исследовали в НИИ. На время я забыл о поэзии, целиком отдался новому увлечению. С удовольствием демонстрировал свои уникальные способности, не гнушался платными сеансами в парках культуры и отдыха. У меня появились деньги.

Подражая мне, Близнец пробовал увлечься и шахматами. Во время моих сеансов он скромно пристраивался за одной из досок. Восхищённо глядел на меня, победоносно расхаживающего вдоль длиннющей вереницы столов. Но проявив полную неспособность к королевской игре, он быстро к ней охладел. Заявил, что он однолюб и ему вполне хватает занятий поэзией.

Я же мечтал добиться успеха во всём. Моим идеалом был Леонардо да Винчи. Я хотел стать человеком нового Возрождения. Когда меня за мою известность и смазливую мордашку пригласили на кинопробы на «Мосфильм», я не сомневался, что слава Черкасова у меня в кармане. После кинопробы мне даже не позвонили. Не гордый, дозвонился сам — ответили: «Тебя, к сожалению, не утвердил худсовет. На крупном плане видна боро-

давка под носом...» Я немедленно пошёл в поликлинику и свёл бородавку электроиглой. Принёс первую и последнюю жертву искусству: больше в кино меня не приглашали. И плевать я хотел на них. Мне с лихвой хватало известности, друзей, поклонников, вселявших веру в мои сверхъестественные способности. У кого в двенадцать лет сверкал на груди значок мастера спорта? Кто мог похвастаться дружбой с великими гроссмейстерами эпохи: с Талем и с Корчным? Чьи стихи печатались в газетах, читались по радио в «Пионерской зорьке»? Чьи партии анализировались и запечатлевались в шахматных брошюрах? Всё это было! Был взлёт! А потом...

* * *

Я много скитался по соревнованиям. Начал уставать. Школу закончил на остатках былой славы, с большим трудом выхлопотав аттестат. Успехи в шахматах были всё реже, и интерес мой к ним начал охладевать. Снова потянулся к лире, к музе, на Парнас. Но мои стихи теперь с трудом втискивались лишь в периферийные газетёнки. Друзья подбадривали меня: «Гениям всегда было нелегко...» Тогда я начал готовить книгу своих стихов.

Близнец тем временем поступил в Литинститут. Я же не собирался уродовать свой дар, принципиально ковылял другим, обходным путём. Мечтал завоевать Парнас с моцартовской лёгкостью. Близнец корпел, высиживал что-то в уединении. Своё он мне перестал читать, после того как я однажды с высоты «признанного поэта» подверг его творчество уничтожающей критике. Да я и не особенно интересовался его графоманскими упражнениями — было недосуг. Я вёл насыщенный, элитарно-творческий образ жизни: всё свободное время проводил в застольях. Друзья у меня были знаменитые, как правило, старше меня. С праведным братом мне было скучно. Себе я был не интересен и потому не выносил одиночества. Оно пугало меня, вгоняло в тоску, и я рвался вон из дома. К моим умным талантливым друзьям — гроссмейстерам, искусствоведам, художникам, артистам — и к их обворожительным подругам-манекенщицам и менее обворожительным подругам их подруг. Всё своё время, все силы я расходо-

вал на приятелей. Старался не замечать того, что они подавляют и сковывают мою волю, находившуюся в эмбриональном состоянии.

Наслушавшись историй о похождениях моих любвеобильных друзей, в шестнадцать лет я сознательно простился с невинностью. Первой моей избранницей стала трамвайная кондукторша. Её склонил на моё ложе один из услужливых приятелей. Помню, как я, вожделеющий юноша, метался в тёмном коридорчике у приоткрытых дверей: со страхом и нетерпением ожидал своего выхода, прислушивался к уговорам сводника и стеснительным отказам Венеры. Как потом выяснилось, Джульетта была в два раза старше меня. Наконец вспотевший дружок вышмыгнул ко мне и обрадовал: «Можешь идти... она ждёт...» Стыд, долгое неуклюжее сидение рядышком на кушетке, молчание в темноте. Я не видел лица моей Изольды, но она казалась мне желанной. Не мог выдавить ни слова, сидел, как глухонемой, в потёмках. Потом вроде бы нечаянное прикосновение и — прощай целомудрие... До сих пор у меня в ушах её астматическое дыхание, хрип, похожий на рычанье трамвая «Аннушки», некогда переехавшего булгаковского Берлиоза. Глаза, привыкая к темноте, стали различать «брачные чертоги» — кушетка, как лавка, стол, как подоконник, дермантиновый чемодан с нехитрыми пожитками, видимо, он же — стул... И больше ничего: убого и гадко. Я посмотрел на лицо своей Офелии... О, ужас — вылитая Клара Цеткин! Тянет ко мне руки, шепелявит: «У тебя вышло?..» Мне захотелось зареветь, как младенцу, броситься бежать, смыть с себя эти липкие прикосновения, эту грязь, забыть этот мерзкий сон. Но это была явь. Падение произошло. Рубикон перейдён. Я стал мужчиной.

И замелькали женские лица, имена, квартиры, гостиницы, вагоны, сеновалы. Связи быстрые, куцые, никчёмные — сладостная, похотливая чередка, счёт которой я давно потерял. Достижения отца я, конечно, перекрыл: Казанова двадцатого века.

С шестнадцати лет проявил интерес к алкоголю. Начал пить. Сначала изредка, понемногу — душа не принимала. Потом стала принимать: всё больше, всё чаще. И со временем уже не могла обходиться без ежедневного допинга. Лицо стало покрываться красными аллергическими пятнами.

Я по-прежнему выезжал на шахматные турниры, но с каждым годом всё дальше на периферию. Ночевал в отвратительных вонючих гостиницах, на железных покатых койках, на пропотелых клоповных матрацах, на лавках вокзалов... Дышал сырым застоявшимся воздухом провинциальных клубных общений: стоячим болотом жалких привилегий, зависимости, ханжества, лжи. Стал постоянным посетителем ресторанов. Я ненавидел провинциальный общепит — апогей разврата, но неизменно посещал забегаловки. Там меня бесило всё: невероятные цены на нехитрый ассортимент. Жратва настолько отвратительная, словно эти кулинарные шедевры создавались для откровенных врагов. Еда ложилась в пищевод тяжёлой гирей несваренья. Раздражали праздные пьяные рожи посетителей, их глаза, полные тупого вожделения и скуки, ограниченности и обречённости. Бесили злые, наглые официантки с растопыренными ногами и рыжими патлами — апофеоз омерзительного хамства. Вероятно, к ним последним на Руси придёт культура. Век бы их не видать. Но где ещё поесть бедному спортсмену?

Но даже на провинциальных турнирах я уже не всегда был первым. Я комплексовал и ожесточённо брал реванш коронным номером любого застолья: вдохновенным чтением своих стихов. В этом мне не было равных. Поэт, мастер художественного слова, непревзойдённый тамада. От моих тостов рыдали даже грузины в Тбилиси. Я не гнушался любой компании, лишь бы блеснуть талантом, солировать, испить елей лести и восторга... Мне было безразлично, кого потрясать: проводницу в поезде, бармена, провинциального поэта, больного рассеянным склерозом. Однажды ночью он возник предо мною из тряпья на кушетке, по пояс, словно всклокоченный живой пенёк.

— Вы настоящий поэт!.. — прослезился коллега, и ему вторила его жена с иссушённой ногой, но очень доброй душой.

Я выслушивал комплименты их вибрирующих, болезненных голосов и с ещё большим темпераментом кричал свои стихи. Эта публика была мне теперь куда милее, нежели все мои бывшие претенциозные искусствоведы и манекенщицы с их цинизмом, отдающим злобой, мертвечиной и декадансом. Их пустая болтовня тяготила меня и раздражала. Хотелось крикнуть: «Да заткнитесь

вы!.. Истинно сказано: “Много в мире слов и ни одного нет без значения!” Вы же не понимаете того, о чём пытаетесь рассуждать! Для этого нужно чувствовать смысл сказанного всей душой, всей кровью! Нужно быть поэтом!..»

Где бы я ни появлялся, мгновенно обрастал прилипалами и дармоедами. Они смотрели в рот, жаждали «праздника» и эпиграмм на салфетках. Я метал экспромты, словно бисер перед свиньями. Экспромты рождались между рюмками. За рюмкой в вагоне: «У меня сегодня праздник: меня муза посетила! Как усталый итальянец, возрождению я рад. А ещё поел я супа и в пакетике малинку на платформе Балагое, по пути на Ленинград...» За бокалом шампанского в ялтинской «Ореанде»: «Грудь теснят несвобода, грехи, вздохи — временное облегченье... И закат и морское свечение ну никак не ложатся в стихи...» За стаканом на родине Есенина: «Где же ты, гулкая рань бирюзовая?.. Розовый, пущенный вскачь?.. Крылья мои в колыбели отрезали, и не слышали плач...» За бутылкой в коммуналке у приятеля: «Журчит вода на кухне в кране, свеча: по стенам тень, темно... Хотел страдания? — Вот оно... Смешно... зевнул, допил вино...» За трапезой в мастерской армянина-художника: «Есть внутренний природы тайный Свет: Свет хлеба, дерева, Свет всякого предмета. И умирает человек, исчерпав Свет. Родится человек, пронзённый Светом...»

Я щедро одаривал своих поклонников, вытряхивал экспромты, словно скатерть-самобранка: «Я стихами продираюсь в жизни. Подвожу черту и горе унимаю. Над своею болью насмехаюсь. Катастрофы — словом измеряя...»

Особенно щедро я писал своим друзьям. Одной популярной артистке-брюнетке написал в блокнот: «И ничто мне тебя не заменит. Всё умрёт в поединке с тобой. Тело, волосы, вкус поцелуя, душу страстную, нежную, злую — не восполнит внезапность другой!..» Другой не менее популярной артистке-блондинке сдуру написал на стене: «Я хочу читать тебе стихи. Всё, что я пишу, до строчки. Зная, что поймёшь мои грехи, не осудишь даже эти точки...» В момент написания мне казалось, что я влюблён и пишу от сердца: «Нет мысли акварель свою пристроить. На дне стола художника печаль... И лишь надеешься быть понятым тобою, когда садишься для себя писать...»

Я готов был писать и читать своим приятелям всю ночь напролёт, запивая стихи вином.

Засыпал под утро, за полдень вставал. Новое не писал, над старым не работал. Всегда творил, как бог на руку положит, не опускаясь до правки написанного. Окружающим лгал, что денно и ночью тружусь, готовлю к печати книгу стихов. До работы ли, когда с похмелья раскалывается голова! Едва продерёшь глаза, сухость и горечь во рту гонят на поиски пива. И так изо дня в день. Я изнемогал, страдал, зарекался... Но с упорством испытывал: до какой степени падения может дойти человек? «...Уж сколько лет в душе Вольнова сжималась тайная пружина. Он знал, с гигантской силой джина пружина вырваться готова и всё вокруг себя снести... Тогда уж душу не спасти... Ночь проведя в божественном блуде, кто сможет чистоте служить? И в мрачной комнате Иуды о светлом Спасе говорить? Обжорство, пьянство и похмелье, греха нечистое веселье... Связь, расторгая с Красотой, художник платит немотой. Он звуки неба забывает — и крылья в путях суеты не достигают высоты. Гармония в душе смолкает... И в сердце тления печать Вольнов уж начал примечать...»

Нечто вроде «творческой командировки» по кругам ада. Думал, что вот ещё немного, как герой Данте, поблуждаю за своим душевным Вергилием, познаю всю мерзость падения и начну творить с утроенной энергией и пониманием предмета. Но с отчаянием замечал, что всё больше погружаюсь в хмельную, вязкую дремоту, и этот ирреальный сон становится постоянным, летаргическим. Я мечтал изменить образ жизни, проснуться, встряхнуться, бежать прочь с накатанной колеи, уединиться и начать творить чисто и светло. «...Вольнов мечтал остановиться, прорвать бесовской жизни круг: или долой с него свалиться, или душой проснуться вдруг. Не отменим закон Вселенной: иль к Свету, ввысь — иль в бездну тлена. И каждый должен выбирать: добру иль злему присягать...»

Еженощно обессиленный добирался до постели, сваливался, как подкошенный, тяжело вздыхал, как некогда мой отец: «Эх... твою мать!» Душа стонала: «Ох, плохо!.. Скверно!.. Ох, как худо!..» И уже не шли из глаз слёзы. Равнодушное, мерзкое нытьё души, парализованной пустотой.

Мне казалось, что в детстве я чересчур наидеализировал свою будущую жизнь и окружающий мир, залепил все нежные места души ненадёжным пластырем, и теперь ежедневно, словно на пытке, мне отдирают его с кровью в самых неожиданных местах, заставляя корчиться от нестерпимой боли. Жизнь настойчиво убеждала меня в своей бесполезности и не хотела доказать обратное. «А на улице броуново движение: разговоры, расхожденья, столкновения... Каждый думает: лишь я своим старанием распознаю наконец мироздание! Я подавленный сижу за витриною. Наблюдаю эту жизнь муравьиную. Не урывками бы счастья — постоянного! Беспокойная ты жизнь окаянная! Красный, потный полотёр в углу мается. Я пишу, и ничего не получается...»

Наблюдая большие скопления людей: на улицах, в метро, в очередях, я видел лишь брэнность их никчёмного существования. Глаза, кричащие о тоске и душевных катастрофах. Даже у своих преуспевающих приятелей находил всё то же индивидуальное несчастье, горе в крупнопанельных, кооперативных клетках с красным мохером на унитазах. Жалкая суетливость, плоские шутки, шеи, вымытые «для большого декольте», скандалы не на жизнь, а на смерть — невидимые миру слёзы.

Куда симпатичнее мне были случайные собутыльники, на лицах которых я мог прочитать понимание бессмысленности своего бытия и мудрую грусть по этому поводу. Пред ними я мог не стесняясь признаваться в своей слабости, мог выплакаться им в жилетку: «Простите, что я слаб, несовершенен, что ни себя, ни вас я не спасу, что вас так мало я люблю, что ни оков не разорву, не встану на колени. Что, видно, так и проживу, покуда не сгорю в геенне, или предчувствие души осуществляю: когда начнёт без плоти длиться время в Пространстве, в то, последнее мгновенье. Простите мне, что я уже старею, дерзаю мало и ленив душой, что больше благ других люблю покой, что Это — тайное открыть вам не умею, что, как и вы, я умерщвляю плоть, что не бегу греха и полного паденья, но пью за праздник, за гармонию, любовь, что за паденьем жду я возрожденья, что эту исповедь пред зеркалом писал, но отраженья так и не познал. Я крал, прелюбодействовал и лгал, я пил вино и я творил кумиров. Отца и мать я мало почитал, и я, быть может, многих убивал, хотя, поверьте, всем добра

желал. Познать паденье человека в мире, испытать до дна... и заплатить собой. Простите, если вас я обманул. Я верен был лишь Истине одной...»

Тоска и осознание безысходности становились всё более привычными состояниями моей души. Они сопровождали каждую мысль, каждый вздох. Перспектива казалась туманной, уходящей вдаль скользкой дорогой, размытой проливным дождём. Босоногий ребёнок, я шлёпаю по глине босыми ногами, бреду на огонёк вдали. Скольжу, спотыкаюсь, падаю. Но далёкий огонёк вселяет надежду одолеть дорогу, пройти раскинувшееся вокруг холодное мёртвое пространство и отворить заветную дверь светлого тёплого дома Истины... А что такое — Истина? Не придумка ли это страждущего спасения человечества?.. Интересное предположение высказал Близнец: «Туманно Истины понять. Быть может, Истин — миллион, и в каждом сердце свой закон?.. Я лично — неуч в этой теме. По мне, Светило далеко... А так как Солнце высоко, вдруг Истина одна над всеми? Кто скажет правду нам, друзья? Быть может, Вечный Судия?..»

А есть ли Он — Вечный Судия? Есть ли Тот, кого люди называют — Бог? Создатель всего сущего, включая меня, грешного, с моими муками?

Близнец утверждает, что есть. Близнец верит в Бога. Дядька крестил его ещё во время войны, привадил к церкви. В храме Близнец как дома, ему там хорошо. Чего нельзя сказать обо мне. Дядька пытался и меня в храм затащить, но я рвался оттуда на волю, на свободу. Я, как и отец мой, всегда был свободен от этой иллюзии. Как-то, проходя мимо их церкви, я — пионер — плюнул в настенную икону и гордо пошёл дальше. Через несколько минут я чуть не повторил судьбу булгаковского Берлиоза: переходя улицу, споткнулся и едва не угадил под трамвай.

Не раз я неистово спорил с Близнецом, утверждал, что никакого Бога нет и быть не может, что человек сам себе Бог, Творец своей судьбы, что об этом говорит и наш отец, умный и образованный человек. Братец же упорно утверждал, что в Бога испокон верили не менее умные и образованные люди: Ломоносов, и Менделеев, Суворов, и Ушаков, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Рахманинов и Чайковский... А учитель Пушкина

Державин писал: «Но сам собой я быть не мог! Твоё создание я, Создатель. Твоей премудрости я тварь. Источник жизни, благ создатель, душа души моей и Царь!»

Близнец утверждал, что он абсолютно уверен в существовании иного мира, говорил, что он его видел. По секрету сообщил мне, что однажды он покинул своё тело и был вознесён в радужный Океан Духа, в Мир Гармонии и Счастья: туда — где были все, кого он знал и не знал прежде, но там познал всех... Всё понимал... Ему было открыто всё, что было прежде, есть ныне и будет потом... Некое одномоментное, абсолютное знание Вечности. Говорил, что он не может этого передать, что, возвратившись в явь, он потерял возможность описать Это, утратил это Знание. Но с тех пор в нём поселилась уверенность, что он вновь попадёт Туда в конце своего жизненного пути. Блажен, кто верует, тепло ему на свете.

Однако и у меня есть мой «огонёк вдаль» — моя Поэзия, надежда на мою будущую книгу. Вера в то, что удача и слава вновь сами придут ко мне.

Но для этого нужно «не спать, не спать, работать, не прерывать труда...» Я же продолжал вести разгульную, гусарскую жизнь. Изматывал себя смертельно. А когда чувствовал, что пора передохнуть, иначе произойдёт преждевременное положение во гроб, возвращался к отцу и матери. Предоставляя им залечивать мои душевные раны, воскрешать из мертвых.

Небритый, грязный, иногда битый, я вваливался к ним с припасённой бутылкой в кармане. «...Как блудный сын, Вольнов являлся в старинный, загородный дом. Здесь мать жила, здесь исцелялся Вольнов родительским теплом. Здесь всё ему напоминало рождение, дивное начало, когда себя осознавал, бессмертной жизнь свою считал. Здесь мама пела ночью длинной. Черёмухой он пачкал рот. Лес, соловьи и огород, и шишки в самоваре дымном, пруды, туманы и поля...» Старики суетились, готовили разнообразные кушанья, словно больному, приносили их мне в постель. Ходили на цыпочках, давая мне выспаться, набраться сил. Мать причитала, будто ей всё время снятся про меня плохие сны. Ещё бы, — ухмылялся я, запивая пивом вкуснейшую домашнюю еду и вспоминая ночь в общем вагоне: пьяный бред на грязном матрасе, под овчиной и с шапкой под головой.

Упоительные, сказочно спокойные дни передышек в родовом гнезде, в обители чистых нег! Блаженство нарушал лишь Близнец. Вернее, его пронизывающий, грустный взгляд, укор моей совести. Но, слава богу, видел я его редко. Рано утром, когда я ещё почивал, он уезжал в институт. Потом до самого закрытия он просиживал в Ленинской библиотеке и возвращался домой к полуночи, когда я мог сделать вид, будто уже сплю.

Весь день я предавался неге безделья, восстановлению пошатнувшегося здоровья и поэтическим экзерсисам. Лежу себе в чистой постели, слушаю дождь, треск дров в печи, птичьи голоса за приоткрытым в сад, слегка запотевшим от тепла окном. Томно парит от земли и пряной, мокрой зелени. Вдыхать этот сладкий дурман, вяло размышлять и никуда не стремиться — наслаждение. Утром отец несёт в постель поднос с завтраком: извечную геркулесовую кашу с парным молоком.

— Поешь, не разводи малокровие...

Я малокровие не развожу, ем и снова засыпаю. Через два часа в постель подаются кофе со сливками, бутерброды с колбасой и сыром, яйцо всмятку. На дворе солнышко. Перебираюсь в сад. Лежу на раскладушке под деревом черёмухи. Покой и сладкая полудрёма. Воистину: служенье муз не терпит суеты. Я даже мыслю только стихами. Они рождаются в сознании быстро и свободно. Собираю их в законченные строфы и выплёскиваю на бумагу: «...Вдыхаю пряный, подмосковный воздух. Лежу в саду, на даче — не здоров. Под пенье птиц и цветопад черёмух дремлю, мечтаю и в тоске клянущу свой рок... Жду возрождения, глазею на коров и отбиваюсь от голодных комаров...» Сквозь дрёму нацарапаю в блокнот очередной экспромт и снова предаюсь Мофею.

Пробуждаюсь от въедливого крика, доносящегося с соседской дачи: опять Тимур скандалит, дикий мальчишка, несносный чеченец. Немедленно разделяюсь с ним новой эпиграммой: «С косым, восточным, диким взглядом и с поволокой, как у тигра, лохматый, уши растопыря, он — весь, как вывих на рапире...» И уже не могу уснуть. Смотрю на отца, копающегося в земле и тайком от матери покуривающего бычок из заначки... Душу охватывает любимое мною эмоциональное возбуждение, душевный подъём. То самое дорогое чувство, после которого — секунда, и стихи сво-

бодно потекут. Руки нащупывают ручку и блокнот, сознание выбирает форму и размер, в котором лучше выразить нахлынувшие чувства... Главное начать... Как начать?.. «Весна...» Нет! «Опять весна...» Не то! «...Люблю весну. На даче беспорядок, московского семейства дух предметный, стакан с вином не выпитый, заветный, и на моей постели гряда тряпок, чтоб спал в тепле приезжий сын, мерзляка... Весь день хлопочет по хозяйству мать, которую я так хочу обнять, прижать к себе, удерживая время... Ведь жизнь готовит нам разъединенье... И суждено ли встретиться опять?.. Пять соток огород. Отец-Живаго копается в земле, украдкой курит... Чтоб весело всем было, балагурит, недавно астмы отразив атаку... А ровно в пять — обед в саду, с собакой... Днём исповедь отца под девичьей сиренью, в объятьях веток белого колье, а ночью, на веранде, в тишине он храпом разрывает беспределье... Спит, репетируя небытие... Но зная, что останется во мне, пока не догорю в любви огне... Да, и к тому же завтра воскресенье...»

Время я не удержал: в шеренге поколений оно безжалостно выгнало в небытие сначала отца, а потом и мать. Они так и не увидели мой триумф, но достаточно нагляделись при жизни на моё падение. Дачу сравнивали с землёй: город подкрался к нашей хибаре, словно хищник, проглотил и выблевал на её место высоченный железобетонный улей. Собака сдохла от тоски. Теперь вот и я — «сплю, репетируя небытие...» Не проходит ночи, чтобы не снилось, будто я умираю...

Но это теперь, а тогда, в той далёкой, иной, невозвратной жизни я быстро восстанавливал своё молодое здоровье и снова ввергал себя в привычное русло разгульного существования. Радости такая жизнь давно не приносила, но обходиться без неё, как без опиума, я уже не мог.

Психованное время необратимо отсчитывало годы моего безалаберного прозябания. Наконец я решил — баста: материала для книги вполне достаточно. Пора в редакцию. Отец торопил, его душа жаждала прославления фамилии. В успехе я не сомневался, но всё же трезвый, выбритый до синевы, умащённый дешёвым одеколоном, в своём лучшем румынском костюме я с трепетом постучался в заветную дверь редакции ровно в назначенный час.

Лицо, которому предстояло решить мою судьбу, было — обычное, трамвайное лицо, с пластырем на носу. Но мне оно казалось необыкновенным: апостолом с нимбом и ключами от Парнаса. Под пластырем мне мерещилось тяжёлое ранение в борьбе за Музу.

— Что с вами?.. — благоговей, осведомился я.

— Прыщ созрел... — буркнул он и тут же, откровенно, по-стариковски, со всей своей критической прямоотой, подцепив в руку папку моих стихов, объявил приговор, словно толчком в зад спихнул с горы Парнас в пропасть:

— Но ведь это же — плохо.

Мгновенно заныло сердце, свет в глазах померк. Не помню, что он нудил дальше... Кажется, советовал учиться у Пушкина, Пастернака, Ахматовой, Цветаевой или хотя бы у своего брата... Он потряс корректурой книги Близнеца, уже набранной в их типографии. Паркет поплыл из-под моих ног. Нестерпимо прихватило печень. Пришлось опуститься на стул, чтобы не рухнуть на пол. Трамвайное лицо взхлёб читало мне стихи Близнеца, наслаждалось каждым словом, каждым звуком, смаковало, причмокивая губами, словно дегустатор новосветского шампанского. Пророча Близнецу великое будущее, он не скупился на эпитеты, говорил, что счастлив стать открывателем великого таланта. Всё это он извергал на меня доверчиво, по-семейному, как брату поэта. Наверное, думал, что мы ликуем оба. Подлый привратник у дверей рая...

Холодное равнодушие, зависть, ненависть, привкус смерти?.. Вряд ли мне удастся описать чувства, душившие меня в ту минуту. Прощаясь, «привратник» по-отечески выпроваживал меня, похлопывая по спине. Говорил, что в молодости он тоже баловался стишками, но переболел, что я лишь начинаю жить — все пути открыты, что у меня неплохо получается в шахматы... Кажется, я его даже не поблагодарил: бежал, как от чумы.

Книгу Близнеца вскоре купил и прочёл. Да, он стал настоящим поэтом. Отец дождался — его имя было прославлено. Громко, основательно. Не мной. С этого времени наши пути с Близнецом разошлись окончательно.

Он закончил Литинститут и загремел в армию. Меня же снова спасла шахматная федерация и менингит, которым я переболел ещё в эвакуации.

Близнец заглох в Нижнем Удинске на три года, оставив в Москве свою первую и единственную любовь — невесту, кареглазую чернобровую красавицу Марию.

* * *

Они познакомились на вечере поэзии в Центральном доме литераторов. Он с первого взгляда пронзительно и навсегда влюбился. Мария заканчивала медучилище, а он — уже признанный поэт, выпускник Литинститута. Три дня они гуляли по улицам. На четвёртый — свернули с магистрали, сбежали в овраг, к озеру, звучащему всеми лягушачьими тембрами. Сгущались сумерки, жёлтая луна и звёзды отражались в воде. На противоположном берегу, над лодочной будкой, светился, раскачивался фонарь.

Долго молчали. Наконец Близнец отважился, медленно, слово за словом произнёс:

— Мы... должны... быть... вместе...

Потом в своих стихах Близнец писал о том, как светло и обречённо признаваться в любви на всю жизнь. Ветви плакучей ивы струились к воде перед лицами влюблённых. Едва касаясь пальцами, они гладили друг другу руки, волосы... В этот же вечер Близнец привёл Марию в наш дом как свою невесту. Она стояла в дверях и удивлённо смотрела на меня, шокированная моей схожестью с её избранником. Ах эти карие глаза, широко открытые, словно у испуганного оленёнка! А я глядел на неё: долго, остолбенело, откровенно. Смотрел, пока меня словно прожгло сильным электрическим током. Удар был, очевидно, обоюдоострым. Мария отвела глаза.

А какой у неё голос, какая улыбка, как проплыла и опустилась в кресло, как отвечала на вопросы нашего саркастического отца!.. «Как голубя среди вороньей стаи, её в толпе я сразу отличаю. Я к ней пробьюсь и посмотрю в упор... Любил ли я хоть раз до этих пор? О, нет, — то были ложные богини! Я истинной красы не знал доныне!» Лучше Ромео не выразишь чувств, вызванных во мне явлением Марии в нашей коммунальной берлоге.

Ай да Близнец! Ай да тихоня! Почему же всё самое лучшее в жизни должно доставаться тебе? Тут мы ещё поспорим!

Весь вечер я таинственно молчал — изрядно ныли сердце и печень. Близнец же суетливо рыл себе яму, лез вон из кожи, рассказывая Марии, какой я прекрасный поэт, гораздо лучше, чем он, читал мои стихи, говорил, какой я талантливый шахматист: могу играть на пятидесяти досках вслепую, скоро выполню норму международного мастера, — всё даётся мне легко, играючи... Говорил, что всегда восхищался мной, восхвалял мой острый ум, мою гениальность. Ему подпевал отец, дополняя портрет непризнанного гения. Говорил, что я ещё всем покажу!.. Розовощёкая красавица Мария внимательно слушала всё это. Изредка вскидывала на меня свои густые ресницы. С губ её не сходила таинственная, светлая и печальная полуулыбка Джоконды. Свита сыграла своего короля — мой «творческий вечер» имел большой успех.

Через неделю Близнец отбыл в армию, в далёкий Нижний Удинск. Марию он оставил на попечение нашей семье.

Она стала бывать у нас ежедневно. Когда опаздывала в общежитие, оставалась ночевать. Четыре месяца продолжалась неустанная, продуманная, словно шахматная партия, атака Марии. Я разгадал её главную женскую слабость. Она была чистым и доверчивым созданием: из тех, кто не может обходиться без постоянной заботы о них, без сильного плеча рядом, опоры, охраны. Она всего боялась и не умела быть одна. Я видел, как она переживает разлуку с братом. Замечал, что её начинает беспокоить моё постоянное присутствие рядом с ней, моя похожесть на него. Кроме того, её красоте нужна была и чисто физическая защита — мужики не давали ей прохода. А к кому ей было обращаться, как не к сильному брату жениха? Я понимал, что мне с нею надлежит быть предельно деликатным, чтобы не спугнуть. Терпеливо ждал, приручал, влюблял в свои достоинства, расставлял силки, загонял в сети — становился ей всё необходимей. Встречал после занятий, провожал до общежития. Развлекал: водил на турниры, где я одерживал победы, в компании, где я был лидером, на вечера, где я читал свои стихи. Она покорно, словно агнец на заклание, следовала за мной. С каждым днём её самозащита станови-

лась всё более пассивной. Четыре месяца я виду не подавал, что отношусь к ней иначе, чем брат к сестре.

Наконец наступил тот долгожданный день.

Мы возвращались с дачи моего приятеля, известного дирижёра, где я невзначай подарил ей маленький золотой крестик. Сначала она обрадовалась подарку, потом задумалась, погрузилась, сказала: «Спасибо». Не торопясь, повесила крестик на шею и весь вечер была тиха, погружена в свои мысли. Когда я пригласил её на танец, вышла за мной на середину комнаты, положила руку на моё плечо. Всё, как положено в танце, но только очень нежно. Когда пришло время, мы простились с хозяевами и пошли на станцию.

Пока шли и ждали электричку, не проронили ни слова. В этот поздний сентябрьский вечер мы не были на платформе одни. Только почему-то все окружающие явились лишь пассивными свидетелями того, что произошло дальше. Всё случилось молниеносно, без разговоров. Трое пьяных парней волной накатили на нас. Один развязно схватил Марию за руку, повлёк за собой, другой преградил мне дорогу. Никогда не подозревал, что могу быть столь отважно безрассуден, что за Марию готов любому перегрызть глотку, что она для меня столь дорога. Ни секунды не думая о последствиях, я ударил своего визави, свалил с ног, вцепился в подонка, уволаскивающего Марию. На меня набросились сзади, ударили по голове, скинули с платформы на рельсы. Грохоча и воя, ослепляя, ко мне стремительно приближалась электричка. Видя это, Мария истошно закричала. Оглушительно свистящий, гигантский локомотив был уже совсем близко. Мария с криком металась по краю платформы. Она не кричала, она вопила, протягивая ко мне руки. Она была похожа на мать, на глазах у которой собираются убить её дитя. А я наслаждался этим зрелищем. Понимал, что успею соскочить с рельсов, и даже оттягивал это мгновение. Я ликовал. Я победил Близнеца! Я завоевал Марию! Я взлетел на платформу, бросился к ней. На глазах презренных зевак сжал в своих объятиях и целовал, целовал, целовал всё подряд — глаза, нос, губы!.. Она была моей!

— Люблю тебя! Люблю тебя! — кричал я сквозь рёв проносящегося поезда.

Мы вернулись на дачу. Услужливый дирижёр положил нас в одну постель. Мария дрожала, и я не мог унять озноб. В горле клекотало прерывистое, сухое, почти не слышное рыдание. Казалось, я был близок к потере сознания. Мне было страшно. Желал ли я близости? Пожалуй, нет. Мне не нужно было её тело, мне нужна была её душа! Душа и всё её существо!

— Я жду ребёнка от твоего брата. Он знает об этом...

Как-то просто, шёпотом сказанные слова молнией стеганули, оглушили меня, отрезвили. Наступила тишина. Темнота вокруг вибрировала и звенела. Я физически ощущал, что сейчас волосы мои седеют.

— Я усыновлю ребёнка, — спокойно сказал я.

Она прижалась щекой к моему плечу, и по нему побежали тёплые слёзы.

— За что меня так наказывает Господь? — прошептала Мария.
— Что с нами будет?

Мы не были близки в эту ночь, и ещё целый год между нами ничего не было, но с этого мгновения она стала моей женой. Всю ночь мы провели не выпуская друг друга из объятий. Я шептал ей стихи. Несколько раз за эту ночь она говорила: «Мне страшно...» Лишь под утро мы обессиленные уснули, не разрывая объятия, словно боялись, что во сне нас разлучат.

Почему, нося ребёнка от Близнеца, Мария избрала меня — мне неизвестно по сей день. Может быть, в её глазах я обладал всеми достоинствами нас обоих? Ведь Близнеца она знала всего несколько дней, а потом появился я — его живое воплощение, дубликат. Возможно, она просто не устояла против всей этой близнецовой фантасмагории? Ведь мы дьявольски похожи. Может, сработал её детский зарок: избранником её станет тот, кто подарит ей крестик. Случайно это сделал я. Может быть, она пожалела меня?.. А может быть, полюбила?.. Не знаю... И почему так добивался Марии я? Зависть к счастью и удачливости Близнеца? Желание первенствовать во всём? Месть? Любовь?.. Ведь я действительно любил. Навсегда запомню ту нашу первую осень... «Сгорело лето. В лесу так тихо. Бредём тропой... Немного солнца, вороны, ветер да мы с тобою. Вечерний вызвезд пленён до срока голубизною. Вдыхаю запах смолы и хвои с твоих ладоней. Лесной орешек разгрыз зуба-

ми, кора упруга... Две белых дольки жуём, губами прильнув друг к другу. Печная магия. Стол сосновый. Дымится ужин. Вино из солнца и нам на свете никто не нужен. Два карих глаза — два бирюзовых. В лесу ненастье. Покой меж нами. И каждый день нам приносит счастье...»

Пусть не долгим, но счастье было. Я любил Марию смертельно, до изрыдания. Боготворил, считал царицей. Мне, царю, нужна была только царица. Царица в государстве бывает лишь одна, и она должна быть моей!

В этом состязании я победил Близнеца: похитил его любовь, лишил счастья и покоя. Но это не сломило тихоню. Писать он стал ещё больше, ещё лучше. Находясь в армии, издал новую книгу стихов, прогремевшую повсеместно и прославившую его ещё основательней. Книга едва не стала роковой в нашей с Марией жизни. Один из услужливых приятелей, художник с душою Яго, поспешил оповестить нас о неслыханном успехе и, якобы случайно, забыл книгу у нас дома. В эту же ночь Мария полоснула себя по венам. Я печёнкой почуял неладное, сорвал дверь в ванную... Страшное, нелепое зрелище: забившаяся в угол, в полотенца Мария... Её жалкая, странная улыбка... Белизна раковины, кафеля, зеркало, лицо, халатик Марии — всё в крови. Кровь стекает по рукам, пульсирует фонтанчиком из вен. Видимо, она сделала это только что, испугавшись моего стука в дверь. Я успел вовремя. Марию удалось спасти и даже избежать участия милиции.

Я выходил Марию. Не оставлял её ни на минуту. Выкинул из дома все бритвы, ночью не смыкал глаз, ловил каждую её мысль, каждое движение. Окружил её заботой и вниманием. Она ещё долго не могла смотреть мне в глаза. Её мучила какая-то потаённая вина перед братом, передо мной. Часто она словно каменела, смотрела в одну точку. Я прикладывал немалые усилия, чтобы вывести её из этого состояния. Битва за Марию длилась довольно долго. Кажется, в это время она привязалась, прикипела ко мне ещё сильнее. Она была благодарна мне. Наконец она стала даже улыбаться, проявлять интерес к реальности. Пройдя это испытание, я с болью осознал, как глубоко она страдает и любит Близнеца.

Новая книга брата принесла немало мучений и мне. Из этой книги я узнал, что он будто бы предвидит всю свою жизнь. Знает всё, что ожидает их с Марией: что их чувству суждено выдержать суровые испытания, удары судьбы, но через реки слёз, душевных страданий и крови они вновь обретут друг друга и ту гармонию, ростки которой они когда-то увидели один в другом и полюбили друг друга. Как и когда это случится, он не знает, но якобы предвидит грядущее. «Ну и наглец же ты, братец мой, — думал я. — С этим тебе придётся крепко подождать. Не отдам я тебе Марию».

Новый успех Близнеца был ещё более оглушительным: главная литературная премия года, перевод на десятки языков, причисление к «лику святых», лучших поэтов России. Его приняли в Союз писателей. О нём много говорили в прессе, стихи читались и пелись по радио, телевидению, в кино. Вернувшись из армии, он вселился в шикарную трёхкомнатную квартиру. Если бы я не знал Близнеца, подумал бы: блатные дела. Неужели у нас стали ценить талант?

Когда он вновь появился на горизонте, вернулся в Москву, у нас с Марией уже было двое детей: его сын и моя малютка-дочь.

Вскоре он заявился к нам. Хотел повидать сына. Этот вечер стал пыткой для каждого из нас, особенно для Марии. Бледная, она весь вечер просидела в углу, не глядя ни на Близнеца, ни на меня. Сын спал. Близнец зашёл в его комнату, долго стоял там, в сумерках, над его кроватью. Я отлучился из комнаты. Возвращаясь, задержался у приоткрытой двери. Я не слышал всего, что говорил Близнец, разобрал лишь последние слова Марии: «Уже ничего нельзя изменить...»

Близнец просил нас отдать ему сына. Я наотрез отказался. Более того, потребовал, чтобы он вообще не встречался с сыном и не говорил ему, что он его отец. Близнец сопротивлялся, твердил, что у каждого человека есть лишь один, законный отец. Он — отец своего ребёнка и никогда не оставит его. Я настаивал, убеждал, говорил, что их встречи будут вечной пыткой для всех, а главное, бесконечной травлей психики ребёнка. Взывал к его благородству, просил Марию поддержать меня. Она сказала, что так будет лучше. И Близнец сдался.

Больше он не появлялся в нашем доме. Я знал, что смертельно раню его, обрекая на постоянную душевную пытку. Не скрою, что сознание своего превосходства и его зависимости от моей воли принесло мне тайное удовлетворение.

Десять лет он был вынужден воровски, издали подглядывать за своим сыном, сидеть в засаде у нашей дачи, у детского садика, у школы. Вслушиваться в звуки его далёкого голоса, всматриваться в мелькающие у дома силуэты, караулить, когда мы с детьми выйдем на прогулку. Только тогда он мог видеть сына, проходящего совсем близко. Я делал вид, будто не замечаю притаившегося в кустах Близнеца, проходил мимо с гордым, сладким чувством победителя. Может быть, именно поэтому я частенько вызывался погулять с детьми. Мне хотелось вновь и вновь насладиться своим могуществом, увидеть в канаве жалкого, униженного, поверженного «классика». Близнец не мог жить, не видя своего сына.

Однако шила в мешке не утаишь. Их первая неожиданная встреча произошла, когда парню было уже двенадцать лет. Как-то я хмельной возвратился домой после трёхдневного загула.

— Почему ты никогда не говорил мне, что у тебя есть брат — спросил мальчишка, испытующе глядя мне в глаза.

Они столкнулись у школы. Близнец был не осторожен: не успел, а может быть, не захотел скрыться.

Парень заметил его, окликнул: «Папа!» Подбежал к нему. Тот в замешательстве прижал к себе сына, поцеловал его так нежно, что мальчишка удивился. Я никогда не баловал его подобным отношением.

— Ты уже приехал? — спросил он, внимательно разглядывая Близнеца. — Ты купил новый костюм?

Близнецу не оставалось ничего, как сказать, что он мой брат, что он долго жил в другом городе...

С этого дня я уже не мог противиться их встречам, махнул рукой, ведь рано или поздно это должно было случиться. Они виделись едва ли не ежедневно. Квартира «дяди» была в трёх остановках, и парень мог свободно бегать к нему домой. Информации о жизни и победах «дяди» в нашей семье стало хоть отбавляй. Мы узнавали о каждом его шаге, о каждом новом произведении, о том, какой он талантливый, умный, сильный, благородный, добрый,

как все любят его. Изю дня в день мальчишка изводил меня восторженными рассказами о своём «дяде». Умножал мои и без того невыносимые душевные муки. Взахлёб декламировал его стихи, по утрам горланил в клозете его песенки: «Пой праздник бытия! Не бойся смертной доли! На свете счастье есть! И есть покой и воля!» Это бесило меня. Я негодовал и на него и на себя: зачем не отдал тогда мальчишку Близнецу? Теперь пожинай плоды!

Наше существование с Марией с самого начала и постоянно было отравлено незримым присутствием в нашей жизни тени Близнеца. Ах, если бы он не существовал вовсе!

Мы живём с Марией уже восемнадцать лет. Господи, во что выродилась наша любовь! Иногда я ненавижу Марию смертельно, готов убить её. Она донимает меня по любому пустяку: «Где был?.. Почему мало денег принёс?.. Почему опять пьян?.. Почему врешь?.. С кем дружишь?..» До всего ей дело. Она просачивается во все щели моей души. Свободно вздохнуть не могу — всюду её недремлющее око, ощущение постоянной погони за спиной. Кто бы мог подумать, что из неё получится такая надоедливая баба. Она уничтожила мою независимость, лишила свободы, которую я люблю больше всего на свете. Из-за неё я возненавидел всех женщин. Уж если «царицы» становятся такими склочными кухарками, значит, такая уж вредная у баб сущность. Неужели когда-то всё было по-другому? Ведь вначале мы мечтали о светлом будущем: она — о врачебной карьере, я — о шахматной и поэтической славе. Потом появились дети: сначала сын Близнеца, потом наши дочь и сын. Светлые мечты и планы сначала откладывались, потом рушились, превращались в несбыточный сон. Она навсегда осталась медсестрой, не осуществились и мои светлые мечты.

Не добившись успеха обходным путём, попытался поступить в Литинститут — не приняли. Словно клерк с папочкой под мышкой, годами таскался по редакциям — никто не хотел признавать меня поэтом, печатать под фамилией Близнеца. Попробовал взять псевдоним, но и это не помогло. В редакциях по поводу моих трудов корчили кислые мины и заявляли, что «сейчас это не пройдёт». А когда же пройдёт?

Вскоре выяснилось, что шахматами сыт не будешь сам и не прокормишь семью, которая всё разрасталась. Больше я не го-

дился ни на что: профессии никакой, из обоймы больших шахматистов выбыл окончательно. Стал пить: всё чаще, всё больше. Сторонился прежних друзей. Метался с места на место. Работал тренером у слепых и в жэках. Рабочим в типографии, ночным сторожем на полставки. Опускался всё ниже и ниже, пока, наконец, не выпал в осадок, в погреб магазина «Российские вина».

Близнец же покорял всё новые вершины, расцветал, гремел на всю стану, на весь мир: огребал литературные премии и новые дивиденды. Стал секретарём Союза писателей, депутатом Верховного Совета и чуть ли не почётным шахтёром Коми АССР. Его громкая слава изводила меня, не давала покоя. Всё больше укреплялись в душе отчаяние, зависть, злость на себя, на Близнеца, на судьбу, сыгравшую со мной такую подлую, несправедливую партию.

* * *

Где вы, мои великие несбывшиеся мечты? Мой гениальный мозг, память чекиста — гордость отца. Ведь ещё недавно я помнил все переигранные мною партии. Имена и фамилии всех, с кем хоть однажды встречался, все телефоны, все цифры, даты, любую дребедень, невзначай затесавшуюся в мой мозг, я мог повторить — разбуди меня ночью. Где знание всей своей жизни? Мне казалось, что я предчувствовал всю свою жизнь. Правда, она сложилась иначе, чем я ожидал. Может быть, я предчувствовал жизнь Близнеца? Оказалось, жизнь вовсе не бесконечное праздничное представление, а трагедия с неотвратимой смертью героя в финале весьма короткого спектакля. Теперь по крайней мере я знаю, когда скроюсь за занавесом. Господи, почему же так бездарно, так нелепо сложилась моя судьба? Почему я стал — ничто? Ведь мог-то я, действительно, бесконечно многое, даже гипнотизировать. Я мог усыплять людей. Во сне они отвечали на все мои вопросы, делали всё, что я им приказывал. Перед пробуждением я отключал им память, и они не могли вспомнить, что я с ними вытворял. Эти опыты я прекратил из жалости к очередной своей жертве. Однажды, в какой-то пьяной компании, я усыпил девушку, выведал все её скромные тайны. Приказал ей раздеться. Она долго,

нелепо стягивала с себя жалкие штопанные туалеты. Тощая, безгрудая, в розовом лифчике и синих трусах, она ответила на очередной мой вопрос: «У меня порок сердца...» Мне стало омерзительно моё подлое, циничное глумление. Пьяные, похотливые подонки жаждали продолжения... Я приказал девушке одеться и больше никогда не повторял этих экспериментов.

Где моя бывшая жажда всеобщей гармонии? Где мои гениальные задатки, добрые дела на благо человечества, мои открытия, нобелевские премии?.. Неужели всему этому суждено сгинуть в сырых подвалах магазина «Российских вин», пахнущих гнилым деревом, мочой и сивухой? А Близнец, увитый лаврами, будет блаженствовать на вершине Олимпа? Нет! Это несправедливо! Я не согласен! Я вам всем ещё покажу! Ах, если бы он перестал существовать!.. Так думал я, и душа моя стонала, жаждая возвышения или мести.

Мне казалось, что под моим именем живёт какой-то другой, чужой мне человек. Не я — он разгружает машины и товарные лифты, таскает ящики с алкоголем, тайно пьёт со всяким сбродом, ухмыляется с «почётной доски», обманывает, скандалит, спит с моей женой... Жалкое, закомплексованное, трусливое ничтожество с противной красной рожей. Он уверяет меня, будто он и есть настоящий я. Будто всегда я и был таким. «Врёшь!» — кричу я ему, хочу сбросить его цепкие, липкие объятия.

Я искал себя, истину о себе в вине. Пил всё подряд — от сивухи до «Солнцедара». Иногда я вновь обретал себя. Но этот «я» был тоже мне противен. Любимец Близнеца, Пастернак, сказал: «Но нужно ни единой долькой не отступаться от лица...» А как быть, если твоё лицо — такая гадкая красная пятнистая физиономия? Уже не овал, а сплошной обвал лица! И уже нет сил на отчаянный рывок в возрождение, туда, где царят «покой и воля».

Впрочем, зачем искать своё истинное лицо? Вдруг оно — ещё более дьявольская физиономия? Окончательно перепугаю окружающих: жену, детей, друзей, руководство. Все они уверены, что имеют надо мной власть. Зачем же мне обижать людей? Ломать их привычки и судьбы, приносить новые страдания? Не лучше ли оставить всё так, как оно случилось? Принять крест, который сам себе и вытесал. Так размышлял я в перерывах между запоями. Старых знакомых я сторонился, при встрече отворачивался, пя-

тился боком. Пусть уж мои мечты, думал я, останутся в моих снах. «Душа скорбит и в мыслях цепененье. Ни строчки не могу я написать. Ни озарений нет, ни вдохновенья, злость на себя, отчаянье, сомненья... Тетрадь закрою и отправлюсь спать... Быть может, сон подарит откровенье... Я разучился даже сны запоминать». Уже давно разучился. Пожалуй, с тех пор как женился на Марии. Я вытесняю их из сознания. Наверно, из чувства страха, вины перед женой. Ведь в этих снах я частенько изменяю ей с другими женщинами. Впрочем, не только во снах. Нечистая душа — нечистые мысли... Но это — моя душа! И мои мысли! Почему я должен скрывать их, таиться, бежать от себя? Как известно, от себя всё равно не убежишь. Я был уверен: чем больше я загоняю себя в тайник своей души, в подвал «Российских вин», тем с большей яростью, ожесточением вырвется мой джинн из этого проклятого сосуда. К солнцу или в бездну — всё равно!

Когда у нас было уже трое детей, я едва не оставил Марию. Чуть было не сбежал от её вечной неудовлетворённости мною и моим спонтанным, неосязаемым заработком, от нашего коммунального хаоса, от стирок и готовок по очереди, от пошатнувшейся веры в свои силы, от своей разрушающейся судьбы. Едва не ушёл к другой.

Везёт мне на великих... Она тоже была выдающейся шахматисткой, по крайней мере в моих глазах. И тоже писала красивые стихи. В те годы слава моя, не подкреплённая новыми победами, уже готова была заглотнуть совсем. Она же находилась на пике своего взлёта. Громкое имя, прославленное прессой и телевидением, куча поклонников. Ей было уже под сорок, мне — тридцать пять. Мы не виделись двадцать лет, с тех пор как я встретил эту двадцатилетнюю грузинскую красавицу на одном из турниров, где мы победили оба. «Горда, красива и чиста. Как белый мрамор лик. И я не нахожу слова, чтоб вас воспеть, и голова пьяна от вас, увы, так несказанны вы. Как золотистый перезвон, шелка волос звучат, как влаги водопад хмельной, искрятся, зыблются волной, богинь достойной красотой и музыкой пьянят. И губы, Грузии цветов, и носик ваш орлиный... В создании вашем Бог помог, а речь — серебристый ручеек, иль клёкот голубиный, из шеи лебединой. Яд иль живая влага замешаны в хрусталь? Я гибель или

благо от вас приму с отвагой. Своей судьбы не жаль — о вас моя печаль...» Я, подросток, влюбился в этого ангела до умопомрачения. Не смея выказать своих чувств, я, однако, понимал, что мы ещё встретимся. Потом мы, живя в разных городах, не виделись вовсе. Я вступил в пору своей суетной, бурной молодости, потом женился и долго был верен Марии. Но, оказывается, теплилась в глубине души искорка, хоронилась на дне сознания мысль: «Мы ещё встретимся!» Неисповедимы пути Господни и мужская душа. Через двадцать лет, желая выразить своё профессиональное восхищение её очередной победой, я позвонил ей.

— Интересно посмотреть, что стало с гениальным ребёнком, — сказала она, загадочно смеясь. Почему-то ей было очень весело.

Купив бутылку шампанского и цветы, я пришёл к ней.

«С крыш сбрасывают снег. Грядёт апрель. Так сказочно, как будто стало время. Наш первый, наш пречистый брачный день: поэтов двух, как взрыв, соединенье. Как уберечь, спасти, помочь, понять?.. Безмолвный диалог всеведающих глаз. И озареньем, будто истинное знать дано лишь нам, — улыбка на устах...»

С утра до сумерек мы сидели визави за столом. Смотрели друг другу в глаза, в души, улыбались и говорили, говорили... Я читал ей свои стихи. Крупнопанельный дом гудел, вздрагивал, свистел, бренчал расстроенным пианино, скандалил, звучал голосами, дверями, лифтами... Садилось, тускнело по стенам солнце. В квартире над нами непрестанно заводили танго военных лет. Шаркали по потолку ноги. Новостроечная фантасмагория, сон, который не хотелось прерывать.

Между нами ничего не было и было всё, могло быть всё. Это было ясно обоим. Про себя я готов был назвать её своей новой избранницей. И в то же время понимал, что нам не суждено быть вместе. С Марией наши отношения уже давно были нестерпимыми. Мысли о разрыве всё чаще жужжали в голове, как назойливые мухи над дерьмом. Мне казалось, что я способен оставить её и начать жизнь сначала, возродиться. До сердечной боли я осознавал, что гублю Марию, но так же я понимал и то, что без неё уже не проживу, как смертельно больной без морфия. И я сделал свой выбор: бросил новую избранницу, не вступив в серьёзные отношения. Я буквально бежал: выскочил из её дома, схватил первую

попавшуюся помойно-уборочную машину, добрался до трёх вокзалов, сел в поезд и уехал на очередные соревнования. Высунувшись в окно, вдыхал слоёный, тепло-хладный воздух, смотрел на убегающее, разноцветное железнодорожное полотно, на стога, словно стада, пасущиеся в сизом тумане... Запоминал, прощался, словно не надеясь вовсе возвратиться сюда. Бежал, но ещё долго не мог освободиться от присутствия в душе моей несостоявшейся избранницы.

Как тесен мир: в поезде я оказался в одном купе с её близким другом, её тренером. Сутки мы ехали вместе, пили, не пьянели и не умолкая, говорили о ней. Сутки она «сама третьей» пребывала с нами. Сколько раз говорил я себе: «Ни в ком не растворяйся, берегись! Не открывайся слишком — станешь уязвимым!» Но тут не удержался и вывалил тренеру всю историю нашего «пречистого брачного дня». Он был потрясён, умолял бросить всё и соединить свою жизнь с этой необыкновенной женщиной. Её верный друг пел ей гимны, убеждал, что с ней я вновь обрету себя и мы будем необыкновенно счастливы. Меня трогала его преданность моей избраннице.

«Уведите её!» — беспомощно просил он, и на наших глазах выступали хмельные слёзы любви. И я всё больше понимал, что не «уведу». Не возьму на душу новый грех, новый крест. Я вспоминал её пронзительные, откровенные, раскосые голубые глаза. Отважные и испуганные, они будоражили меня, призывали на новую супружескую голгофу. Испепеляющим огнём в них то и дело вспыхивал притаившийся свободолюбивый бесёнок. Мой бес! А может быть, и похлеще моего. В моих глазах эта женщина была настолько недосыгаемой, великой, принадлежащей истории, что я не отважился взять ответственность за её судьбу. К тому же и я сам не переставал мечтать о славе и боялся за себя, привыкшего растворяться в близких мне людях. А может быть, не увёл её потому, что она так же, как и я, обожала шампанское. Может, испугался, что вскоре мы, на пару, просто сопьёмся от счастья. А, может быть, я вовремя осознал, что нафантазировал себе невесть что. И никуда бы она за мной не пошла...

Господи, как быстро ты листаешь сроки нашей жизни: сегодня ей уже почти пятьдесят и на лице её всё более отчётливая пе-

чать любви к шампанскому. Хорошо бы мы смотрелись сегодня рядом.

Как бы там ни было на самом деле, но встреча с ней явилась ярким проблеском в моей непутёвой жизни. Ослеплённый ею, я даже на время проснулся, начал писать... «С твоим благословением в душе, начну писать легко, глубоко, просто. Вести за правдою сограждан и потомство. Открыв страницу новую в судьбе, страницу эту я дарю тебе. Любовь поэта разве бесполезна? Его любовь и вера мир спасает: живит, содержит, будит, возрождает. Любить всё сущее — закон его чудесный. А гений и злодейство — несовместны. Меня однажды не увидят мои стены: моя чужая плоть — подвластна тлену. Но бренное жильё своё покинув, успею ли открыть я тайну сыну, пред раствореньем в нём иль во вселенной. Быть может, смерти не бояться научу, любить гармонию вселенского движенья. Но ни его и ни себя не излечу от реквиемой грусти опьянения: божественная жизнь — подарок на мгновенье, чудесное, реальное явление...»

Я возвратился в лоно семьи. Начал завершающий акт своего падения. Правда, поначалу казалось, что я вернулся обновлённым, даже вновь начал что-то «творить». Но это продолжалось недолго. Передо мной маячил недосягаемый образ Близнеца. Он разрастался, лишал покоя и сна, угрожал стать великим, заполнить собою всё пространство, вытеснить меня. Я изо всех сил сопротивлялся, грезил дотянуться до него, победить, вырваться вперёд. Я начал новую «трёхлетнюю войну» с редакциями, битву за своё место в поэзии и вообще под солнцем. Жестоко и беспощадно были отбиты все мои атаки. Лишь завождем поэзии захудалой провинциальной газетёнки решился напечатать несколько моих стихов. Для этого я три дня и три ночи упивал и учитывал его вусмерть. Слабенький он был и честный, сдался и напечатал. Эта победа над провинциальным пьяницей была единственной. На главных фронтах я потерпел полное поражение. Я обегал все возможные редакции — нигде меня не желали печатать. Двери на Парнас наглухо и навсегда захлопнулись передо мной. Словно насмешку получил я по почте свой последний гонорар от того забулдыги, из мухосранска. Он составлял два рубля восемьдесят семь копеек. Ровно на бутылку водки. Не знаю, издевался надо

мною этот пропойца или доказывал свою порядочность и состоятельность своей туалетной газетёнки?..

Жена взбунтовалась против моего иждивенчества и окрестила в сердцах паразитом. Я понял, что моему инфантилизму наступил безвременный конец. Пора предать забвению свои несбывшиеся мечты и свою горемычную лиру. Пора подумать о семье, устраиваться на постоянную работу. Почему-то именно тогда, впервые за десять лет я дважды за один день столкнулся с Близнецом. Я заметил его издали, идущего мне навстречу по улице Горького, подле памятника Маяковскому. Я уже давно привык ходить с опаской, всегда начеку, готовый мгновенно ретироваться при встрече знакомого лица. Сначала я инстинктивно хотел укрыться в толпе, но вдруг передумал. Гордо распрямил плечи и открыто пошёл, глядя на него в упор. Он шёл, радуясь первому весеннему солнышку.словно мартовский кот, блаженно шурился под его лучами. Поди, тоже измёрз за зиму. Он надвигался на меня — крепкий, подтянутый, даже красивый: спокойное гладкое лицо, на щеках румянец. Он ни капельки не постарел, излучал здоровье и душевную силу. Он шёл свободной, раскованной походкой, словно прогуливаясь в компании близких друзей. Вглядывался в глаза прохожих, как бы ожидая положительного ответа, получал его и, довольный, благодарно улыбался. При взгляде на каждое лицо, проплывающее мимо него, он словно спрашивал себя:

— Люблю ли я его?

И отвечал себе:

— Да, люблю!

— Смогу ли я быть нужным, понятным ему?

— Да, смогу.

— Выделяю ли я себя из общей массы?

— Нет. Я такой же, как все.

Ещё мгновение и он заметит меня. Мне стало страшно, но отступать было некуда. И в это мгновение Близнец ушёл глубоко в свои мысли, взор его стал отсутствующим, скользнул по воздуху мимо меня, задел лишь по моим волосам и... мы разошлись. Я был рад, что мы не столкнулись. Я вполне обессилел от этого дуэльного схождения. Разбитый, добрёл до винного магазина, куда я и шёл в тот день устраиваться на работу. Оформив документы,

поплёлся домой в раздумьях о своей сломанной жизни. Скверные мысли лишили бдительности. Меня окликнули по имени. Я вздрогнул, оглянулся — передо мной стоял Близнец. Я растерялся, словно студент на экзамене. От сына он знал обо всём, что творится в нашем доме. Я почувствовал себя вором, пойманным за руку: жалким, голым, выставленным на обозрение толпы. Я заставил себя собраться, обрести достоинство. Близнец, казалось, был искренне рад нашей встрече, говорил, что давно хотел увидеться со мной, но всё не решался. Делал вид, что не помнит зла, думать о прошлом перестал, простил меня, похитителя его семьи и счастья.

«Как бы не так, — думал я. — Почему ж ты тогда до сих пор не женился? Почему постоянно выпрашиваешь у сына о Марии и обо мне?»

Близнец знал о моём бедственном положении. Осмелился предложить мне помочь устроиться на выгодное, достойное меня «творческое» место, не требующее высшего образования. Его всепрощение, великодушие победителя, его подачка — разъярили меня. В голову ударила кровь, заболела печень. Я почувствовал себя исхлётанным по щекам гордым колодником. Я, стиснув зубы, поблагодарил его за заботу, сказал, что уже устроился на весьма «творческое» место, сказал, что очень тороплюсь, и пошёл прочь не оглядываясь.

С этого дня я, униженный, возненавидел Близнеца ещё сильнее. Словно на зло ему и всем окружающим, с какой-то мазохистской последовательностью я начал скатываться всё ниже и ниже. Всё дальше и дальше от вершин Олимпа, на котором блаженствовал Близнец, от моих прежних друзей, прежней жизни. Наконец докатился до ливреи вышибалы в пивном баре. Лиру забросил, музу возненавидел лютой ненавистью. Слишком много горя и унижений я хлебнул из-за них. Но от шахмат отказаться не мог: по-прежнему промышлял в своей пивной, играя на деньги, с наслаждением раздевая алкоголиков игрою в блиц.

Свою встречу с Близнецом на улице я озаменовал своим последним опусом: «Ты хочешь, чтобы я забыл своё перо, своё земное назначенье? Ты хочешь поломать своим — моё крыло, чтоб наблюдать моё паденье. Нет, я не покорюсь ни жизни, ни тебе!

Никто из смертных уж не властен надо мною! Я сам распоряжусь своей судьбою: стихи — в огонь! Того, кто стал собою, остановить уж не под силу даже мне!»

В эту же ночь я сгрёб все свои стихи и предал их огню в мусорном баке, на помойке. С дьявольским наслаждением смотрел, как пламя пожирает мои рукописи, как корчится в этом пекле моя душа. Языки огня, дым, парящий пепел вырывались из помойного бака, освещая всё вокруг: наш дом, удивлённые лица соседей, застывшие в окнах. Я юродствовал, приплясывал, с упоением приговаривая: «Выходите погреться у моего костра!.. Вам светло?.. Я — Данко!.. Вот горит моё сердце!..

В нашем окне на третьем этаже увидел Марию: она как-то странно смотрела на меня, возможно, плакала — не знаю, не разглядел. Я был слишком пьян. С тех пор начал пить почти каждый день. Не гнушался любыми компаниями: алкашами в пивбаре, грузчиками в магазине... Они душевные ребята: гордятся дружбой со мной, уважают за мой ум и былые заслуги, можно сказать — боготворят, за честь почитают поить меня, голову за меня положат. День за днём я всё больше покрывался красными пятнами.

В этой жизни я находил свои преимущества: теперь я всегда был первым. Не было равных мне среди моих новых друзей. Они даже провозгласили меня королём нашей сивушной братии.

Зато в семье жизнь потекла из рук вон скверно. Дети начали сторониться меня. Стеснялись выйти со мною на люди, чистоплюи. Стыдились показывать своим друзьям, пионерам. Им, видите ли неудобно, что у папочки такое красное, одутловатое личико, что вид такой неряшливый, опустившийся. Что у папы работа, того... Сволочи! Вырастил дармоедов! В нашем советском обществе любая работа почётна! Чему их там в школе учат? Должен же кто-то ящики таскать? Всё же для блага человека! Прямо не дети, а расисты какие-то! Жена давно хотела расстаться со мной, но почему-то всё не решалась. Как говорит мой друг поэт Шурупов: «А Матрёна лишь горько вздохнёт: “Мой мужик без меня пропадёт”».

Каждое утро я с облегчением вырывался на свободу. Старался прошмыгнуть незамеченным, чтобы избежать занудных слов и неизменного вопроса: «Когда придёшь?» Эх, жизнь моя поцара-

панная! «В доме я живу чужой, верный истине одной. Наплевать мне на уют и на временный приют. Голыми все в мир пришли — голыми уйдут...» Возвращаться домой было постоянной мукой. Если бы не долг перед семьёй, перед детьми, наглыми пионерами — не возвращался бы вовсе. Впрочем, так ли уж я всем им нужен? Мария прекрасно справлялась с ними одна: вырастила отличников. Однако ежедневно по какому-то идиотскому заведённому правилу я вынужден, должен был возвращаться. Должен! Должен! Сколько себя помню, постоянно был кому-то что-то должен. Должен был отцу с матерью за то, что они обрекли меня на эти муки. Должен был школе, мимо которой до сих пор не могу пройти равнодушно: не могу не плюнуть в ворота. Этот коммунистический инкубатор и теперь ещё снится мне в кошмарных снах, в которых я никак не могу закончить десятый класс. Должен был «родному спорту», который нынче превосходно обходится без меня. Должен был друзьям, кассе взаимопомощи, жене...

А что, собственно, я ей должен? Любить? Я уже признался, что любил её смертельно. Но разве я виноват в том, что всё в природе имеет начало и конец, вернее, перерождение. Моя любовь превратилась в хроническую, вялотекущую привычку. Несмотря на все склоки, я по-прежнему ценю её верность и терпение. Должен приносить в дом больше денег? Ну нету их у меня в нужном количестве! Не было и никогда не будет! Я ненавижу деньги! Хотя я и не против, чтобы они у меня водились. Но как только заведётся в кармане лишний рубль, правда, рубль лишним не бывает, я не успокоюсь, пока его не уничтожу, точнее не пропью. Должен любить детей? Так разве я не любил своих крошек: дочку, младшего сына — своё бессмертие! Дышал над ними, горшки таскал, всю душу вкладывал. Чем отплатили, предатели? В тягость стал папа. Я мечтал расквитаться со всеми долгами разом. Быть таким, какой я есть, или не быть вовсе.

Ночами, лёжа рядом с Марией на бугристом, неудобном раскладном диване, я подолгу не мог уснуть. Ворочался, кряхтел. Непрестанно глубоко, страдальчески вздыхал ртом, нос у меня давно поломан в драке. Еле слышно, струйкой выдыхал в сторону, стараясь не травмировать жену винным перегаром. С отчаяньем думал о прожитом и настоящем. Негодовал, презирал и жалел себя

до слёз. Порой казалось, что душа вот-вот познает какую-то главную тайну и всё станет спасительно просто и ясно. Утром я проснусь и сотворю что-то великое и прекрасное. То, о чём мечтали все сгинувшие в бездну поколения, то, что будет принадлежать вечности, то, что не может сотворить ни Близнец, никто другой, но только — Я!

Так грезил я, пока беспощадное сознание с жестокостью палача не прекращало эти грёзы: «Ничего ты уже не сотворишь! Ты раздавлен, подчинён, безволен, не свободен, разрушен, бездарен, пуст... Любуйся своим братом и погибай...» Ах, если бы он не существовал вовсе!

Я проваливался в вязкий, мучительный сон. Среди ночи вскакивал от панического страха смерти. Выпучив глаза, не понимая, где я нахожусь, сидел на диване, бессмысленно вглядываясь в незнакомые предметы: чужие стены, чужие предметы, чужое женское лицо рядом, на подушке. Я склонялся над ним близко, близко... Вглядывался... Боже мой, это — она! Моя вторая избранница! Со всей нежностью и трепетом я прижимал её к себе, целовал глаза, губы, волосы, шептал о своей любви самыми невероятными словами, которые никогда бы не пришли мне в голову наяву. Она сквозь сон удивлённо спрашивала: «Что с тобой?» И я приходил в сознание, знал Марию, с трудом доигрывал роль пылкого любовника, отворачивался и снова проваливался в бездну изнурительного сна. А недремлющее сознание, эта ломовая лошадь, спящая на ходу, повторяло одни и те же слова, которые я никогда не произносил в яви: «Господи, помилуй мя, грешного!..»

Иногда мои ночные видения заканчивались пронзительным ощущением какой-то высшей правды и ошеломляющим открытием: «Ничего в жизни я так не люблю и ничему так не верен, как ей, этой Правде».

Как некогда мой горемычный отец, теперь я «сплю, репетируя небытие». Видно, всё, словно заведённая кем-то пластинка, повторяется из поколения в поколение. «Придёт, придёт и наше время, и наши внуки в добрый час из мира вытеснят и нас...» — как верно подметил Пушкин. Всё чаще мне стало сниться, будто я умираю. Бодрствуя, я спокойно отношусь к мыслям о своём физическом исчезновении, но во сне... Однажды днём при свете солн-

ца я перебирал пластинки любимых композиторов итальянского Возрождения. Сдул пыль с «концерта для гобоя с оркестром» Вивальди, включил проигрыватель, лёг на диван и прорепетировал акт прощания с моим бранным телом. При этом был совершенно трезв и спокоен. Мне вовсе не было страшно. Чистый, прозрачный, как ручеёк, гобой, словно последняя песня моей души, возносился всё выше и выше в божественное беспределье.

Я щедро предоставлял величественному бушующему огню земных струнных инструментов оркестра фон Караяна расправляться с моими ничтожными останками.

Внезапно я сделал озарившее меня открытие: всё, из чего состою я — чужое, взятое, так сказать, на прокат бытия. Неведомая никому сила призвала меня к жизни, одухотворила чужие, отцовские и материнские клетки, гены моих бесчисленных предков. Из этого соединения начала расти новая форма жизни, эмбрион. Он питался чужими, материнскими соками и рос. Из материнской утробы в кричащий хаос света и звуков вышел, родился ребёнок. Он пил чужое — материнское молоко, питался чужой энергией: водой, воздухом, мясом — и продолжал расти. Наконец это создание осознало себя и эгоистично назвало себя — Я! Оказывается, всё, из чего состою Я — ЧУЖОЕ?!. Так, какие же могут быть претензии к смерти? Зачем попусту печалиться и страшиться? Привык жить? Сам виноват: зачем было так привыкать? Тебе жалко расставаться с любимыми, друзьями, возможностью творить? Жаль потерять навсегда свои руки, ноги, голову? Ты полюбил всё привычное, устоявшееся... Но природа и смерть плевать хотели на твою склонность к привычке....

Смерть... Что это за трюк?.. Можно ли считать, что в бесконечном мире человеку приходит полная крышка?.. Вдруг я абсолютно ясно осознал, что всё — было, есть и будет всегда, бесконечно, из мгновения в мгновение; что всё — состоит из какой-то единой первоосновы... Может быть, физики когда-нибудь наткнутся на эту бесконечно малую и всё-таки делимую частицу, из которой состоит всё сущее: вода, воздух, деревья, моря, горы, планеты, космическая пыль, зёрнышко, произрастающее в колосок, человек... Эта первооснова принимает разнообразные формы, движется, течёт, изменяется, преобразуется... Индусы, перенявшие

своё знание от ещё более древней цивилизации, утверждают будто начало всех начал есть — Нечто, называемое понятием Это. У мудрых армян, у которых эпоха Возрождения наступила на четыре века раньше, чем в Европе, Это называется Бан. Евангелие от Иоанна начинается словами: «В начале было Слово». У армян: «В начале был Бан». Так, может быть, Слово, Бан, Это и есть та самая первооснова?.. Наиболее глубокий контакт возможен только в состоянии покоя. Поэтому во сне человек видит поразительные видения. Я говорил, что во сне я осознавал едва ли не суть бытия. Она была настолько ясна и понятна, что, кажется, её можно было записать в трёх словах. Не об этом ли рассказывал мне когда-то Близнец?.. Там человек осознаёт связи различных явлений, охватывает всё надмирным, сквозьпредметным полётом своей души. Всё тайное и непонятное наяву — Там становится понятным. Человек парит, пронзая время и пространство, охватывая всё — во всех направлениях. Он испытывает чувство, неопишемое никакими высокими словами. Оно вбирает в себя все слова, все связи, всю любовь, всю жизнь, ощущение всех времён и пространств, всей Вечности. Ему подвластно и понятно всё. И всё Это — Он! Значит, сон — это действительно преддверие, «репетиция небытия», смерти, состояния самого наивысшего покоя. Видимо, не так страшна смерть, как её малюют беспомощные люди. Как говорил поэт: «Ведь самый страшный час в бою — час ожидания атаки». Что за этим порогом? Как интересно путешествовать и познавать неизвестное... Поживём, точнее, помрём — увидим! «И сладок нам лишь узнаванья миг».

Это открытие подвигло меня к очередному экспромту, в котором я не выразил и миллионной доли того, что чувствовал: «Достиг в тридцатилетие я жизни перевала. Что там, внизу — бессмертие? Иль пустота провала? С восторгом чашу пью земного бытия. Пишу свой приговор — не жду пощады я. Плоть — не моя! И я — не собственность своя, а лишь подарок мне, зовущемуся «Я». И всё же, это — Я. Как жизнь грустна, я не хотел признать. Пел праздник бытия, крича всем смертным горлом. Жил под надзором истины суровой, вместившей флейту в грудь, чтобы потом отнять! Я жизни допою божественный подарок. Ах, сколько раз бокал мне суждено поднять?»

Бокал-то, быть может, ты поднимешь ещё не один раз, но истину в нём не найдёшь. Не суждено осуществиться твоим юношеским ожиданиям. Помню, как самонадеянно я думал в отрочестве: «Я приобрёл волшебное умение: из хаоса, вражды, разъединенья — творить любовь, гармонию, покой и, наконец, постичь — кто я такой. Коснуться света и неумиранья, нести живую воду мирозданию. Незащищённый и непобедимый, хочу я стать для вас необходимым».

Этого мне не удалось. Я стал лишним. Для всех, даже для своих чад, которым я был плохим примером. Близнец утверждает, что люди должны когда-нибудь, наконец, научиться не уродовать своё потомство с колыбели. Жить, сообразуясь с заповедями и истинным назначением человека: в мире, любви и согласии. Не подчинять и не мучить друг друга... Как бы не так, братец! Жалкие людишки всегда будут бояться, завидовать и терзать друг дружку.

Я не случайно избрал для прощания великую музыку Возрождения. Не согласен я с занудством, душераздиранием нашего института погребения. Эти кошмарные траурные марши... Тянут покойника за нос, выжимают из бедных провожающих последние силы. Зачем же так жестоко, товарищи, не гуманно? Гражданам и без того худо от безвозвратной утраты. Усопшему-то всё равно: чихал он на вашу музыку... Вы же у живых на нервах играете. Ни свинство ли это? Ведь нервные клеточки-то не восстанавливаются. А гражданам дальше существовать: идти к станкам, в поля и в винные магазины... Нет, товарищи, под моего Вивальди никто не заплачет. Не желаю бесполезных слёз. Лучше слушайте замечательного итальянца, размышляйте над историей моего громадного, всестороннего, не воплотившегося таланта, делайте выводы и позаботьтесь о себе. Удваивайте энергию созидания. Ведь жизнь — это миг. Пропустишь — пожнёшь пустоту, исчезнешь безо всякого следа. Успевайте наследить! Слушайте, граждане, моего Вивальди! Спасайтесь на моём скорбном примере и живите! И вообще, если верить Близнецу: «В природе смерти нет. Есть возрождение... Ты — сам себе сосуд с живой водою! Спасение и счастье с тобою!» Так размышлял я и приходил к окончательному решению, что моё «чужое» тело нужно непременно сжечь. И

лучше одним мощным электрическим ударом. Противно, когда тобою долго растапливают печь.

Я просыпался и, помочив водой опухшую красную физиономию, не делая зарядки, продолжал до невыносимости привычное существование. Серые будни скрашивал спонтанными застольями, где я на время воскресал, кричал до хрипоты о всеобщем празднике, любви и гармонии, потрясая собутыльников до слёз. Призывы к любви и гармонии я частенько завершал мордобоем. Не знаю, как относились к такому контрасту мои дружки. Возможно, думали: «Страдает... Дурак... Бог накажет!..» Плевать я хотел на них и на общественное мнение. Я выражал себя. Заставлял окружающих хотя бы на время выйти из оцепенения, проснуться, доводил их до пьяного экстаза. Я согревал их огнём... сжигающим меня. Устраивал столы и «праздники» где только мог. Это стало моей страстью, целью жизни. Я старался убедить себя и окружающих, что жизнь прекрасна, что я нужен людям.

В остальной же серой, бытовой быстротекучке я продолжал таиться и обманывать. Врал сто раз на дню. Врал всем: Марии, детям, собутыльникам, начальству, но, главное, врал себе. Такой уж я человек. Тысячеликое, противоречивое существо, вселенная в одном лице-с. Гений и бездарность, возвышенный и низкий, герой и трус, творец и приспособленец. Добряк и злодей... Как верно подметил Шекспир: «Два короля повенчаны на царство: добро и зло. Враждуя с давних пор, в сердцах людей ведут они свой спор...» Ты прав, старик Вильям! Наверное, этот спор происходит в каждом человеческом сердце, способном вместить всё. Самое главное — чему ты отдаёшь предпочтение в этом споре? Какой путь выбираешь? И, по-моему, спор этот не разрешим, по крайней мере, для меня. «Так буду падать и вставать попеременно. С восторгом и тоской всё в жизни принимать. Собою оставаясь неизменно...» Не помню, когда я это нацарапал. Наверное, тогда, когда ещё верил, что смогу подняться. Впрочем, если совсем откровенно — я верил в это до вчерашнего дня. А теперь всё кончено! Мои мечты о великой славе не сбудутся никогда. «И книга жизни подошла к странице, которая дороже всех святынь. Сейчас должно написанное сбыться. Пусть сбудется оно! Аминь!..» — как сказал Спаситель. И я тоже испью свою чашу до дна. Приму свой

иудин крест, который готовил себе день за днём всю свою жизнь. Я никого не спас, не осчастливил, никому не принёс добра... Я многих губил, приносил страдания... Я предал себя и вас.

Не могу унять озноба и дрожи, сотрясающих меня. Я подошёл к финалу своей трагедии, ведь пьеса с гибелью героя в финале называется трагедией. Рука отказывается повиноваться. Но я доведу эту исповедь до конца. И поставлю точку! Итак, всё по порядку.

* * *

Пять дней назад я случайно обнаружил в вещах Марии аккуратненький свёрточек. Не удержался, вскрыл его. Там были разные вырезки из газет и журналов с портретами Близнеца, письма, адресованные ей из армии... Значит, все эти годы Мария сохраняла, лелеяла память о нём. Значит, она не переставала его любить. Любит и теперь. Восемнадцать лет её сердце принадлежало Близнецу.

Во мне вдруг проснулись, задрожали обида, ревность, ярость. В аортах красным колоколом заклокотала кровь. К горлу подступил тошнотворный, горький привкус желчи. Я как-то драно задышал и заслезился. Острая боль взорвала печень, подступила к сердцу. Я не мог пошевелиться от боли. Так и сидел пред этим свёртком на грязном полу, привалясь к стене. Меня душила ненависть к Близнецу, но ещё больше к Марии. Я был противен сам себе: гадкий, раздавленный, подлый вор. Зачем я вклинился в их судьбу? Что я могу поделать, если любовь — чувство вечное? Может быть, последовать примеру Феди Протасова, уйти из их жизни? Вообще из жизни! Оставить их наконец в покое.

Я решил не говорить Марии о своей находке. Но получилось совсем наоборот. Правда, она сама спровоцировала этот скандал. Зачем ей снова понадобилось изводить меня упрёками? В приступе бешеной ярости я обвинил её в предательстве. Сказал, что мне известно всё. Я оскорблял её и не мог остановиться. В завершение ударил её по лицу, сказал, что ухожу навсегда, и покинул дом.

Утро было раскалённое, словно сковородка. Солнце нещадно поджаривало кожу, кипятило кровь, плавало асфальт и мозги. Москва изнемогала от удушающей гари, проклинала въедливый

дым лесных пожаров, прикладывала к аритмичным сердцам мокрые полотенца и молила природу о дожде.

Я бездумно брёл по улицам, нереальным в этом чаду. Всё, что я видел вокруг, словно раздваивалось и расслаивалось: плакаты, машины, подъёмные краны, люди — всё суетливо прыгало и текло в дрожащем сером мареве. Даже в этом озверелом пекле город продолжал своё обычное муравьиное копошение: куда-то торопился, строил, торговал пивом...

Боль во лбу и в затылке была такой нестерпимой, что я не мог сфокусировать взор. Печень мою словно поджаривали на углях, протыкали шампурами. Надвинув шляпу на самые глаза, я то и дело прислонялся посреди улицы к стенам, пыхтя и обливаясь потом, присаживался на скамейки и ящики. Чтоб переждать очередной приступ боли, а заодно поправить здоровье, пристроился к шеренге граждан у пивного ларька. Здесь я почувствовал себя в родной, сплоченной единым духом и недугом стихии. Сальные шуточки, живительный беззлобный мат. Меня толкали, пачкали спецовками, но я не обижался. Несмотря на зной, многих трудящихся сотрясал утренний колотун.

Я с большим наслаждением выхлебал большую кружку теплого пива. В который раз отметил его целебные свойства: оно словно заливало, успокаивало пылающую печень, притупляло головную боль.

Отдышавшись, я доплёлся до своих подвалов. Не подавая вида, принялся верно служить российскому Бахусу. С невиданным по такой погоде рвением, в одиночку разгрузил целую машину с «Хванчкарой», заслужив очередную похвалу директора Чавчавадзе. Еле переводя дыхание, поглощая валидол, я работал до изнеможения весь день. Не желал признаваться окружающим, просить их о помощи: зачем унижаться перед теми, кому на тебя наплевать?

Наконец, взмыленный, словно загнанная лошадь, багровый, со вздувшимися на лбу венами, задыхаясь, я присел отдохнуть в своём укромном уголке, на ящике, за товарным лифтом. Глаза от боли еле различали сумеречные, словно задрапированные очертания подземелья. Надвинув шляпу на самый нос, привалившись к стене, я пробовал унять, обуздать мозговой хаос. Я хотел всё обдумать, взвесить, чтобы прийти наконец к какому-то решению...

...Но меня снова окликнули. Недовольный, я поднял шляпу и... увидел Близнеца. Вокруг него суетились товароведы, руководство отмыкало погреба, стараясь угодить великому гостю. Близнец, вероятно, пришёл за вином для банкета в честь своей очередной победы. Поддавшись всеобщему уважению, я поднялся и вытянулся перед ним, словно младший по чину. Жалкий, краснорожий, в драной спецовке, я остолбенело пялил на него глаза. От растерянности, скованности пыжился, как индюк, не зная, как себя вести. Кажется, и Близнец был поражён не меньше меня: ещё бы — увидеть своего однородного здесь, «на дне», в эдаком затрапезном виде... Он попросил меня помочь ему поднести до машины ящик, едва не силой впихнул меня на сиденье, сел рядом и захлопнул дверь.

Он привёз меня на свою дачу. Вот и пришло время решительно объясниться. Мы сидели друг против друга у распахнутого в сад окна. Вид был поистине райский: в цветущих деревьях пели птицы, было свежо и душисто.

Мы долго говорили... О чём?.. Всего не вспомню... Злость душила меня... Помню лишь свой отчаянный крик: «Ты погубил меня!..»

Его спокойное лицо, внимательные, изучающие глаза, улыбка полная грусти, и его ответ:

— Каждый человек сам творит свою судьбу. Распоряжается своим выбором... Но я виню себя за то, что ничего не смог сделать для твоего спасения.

— Как ты великодушен! — Оскалился я, словно тигр, огретый палкой. — Ты похож на удава, беседующего перед ужином с кроликом!.. Знаешь, мне иногда хочется убить тебя!

— А ты сейчас очень похож на нашего отца, — улыбнулся Близнец, — знакомая склонность к сарказму... Гений и злодейство — несовместны.

— Блаженный! Видать, ты до сих пор не разобрался, кто я такой? Я вовсе не гений, я — мелкий злодей! Из зависти я отнял у тебя Марию! Я мстил тебе за свои неудачи, за её любовь к тебе! Я сломал ей жизнь! Мой гений — разрушение! Разрушение всего вокруг и себя в придачу! В этом я по-настоящему талантлив. Я ненавижу эту жизнь! Презираю людей: этих ничтожных эгоистов,

продажных трусов... Всё подчиняют они своему жалкому благу, созданию своего тёпленького, убогого гнёздышка, в котором не могут ужиться друг с другом. Грязные, похотливые приспособленцы! Кричат о любви к человечеству, готовые бить друг другу морды. Они любят лишь чужую любовь к себе, любимым. Исходят желчью, если их не оценили и мало любят. Они страстно желают нравиться самим себе, самооправдаться в своей мерзости, запрятанной в тайники души. Жаждают быть первыми во всём и страдают, если у кого-то получается лучше. Завидуют всему, что не умеют и не имеют сами. Доведённые до предела эмансипацией, глушат водку. Боятся всех и прежде всего — себя. Дрожат от страха, эротизма и тайных инстинктов, дать волю которым считается аморальным. Полудурки с пластмассовыми мозгами. Всю жизнь ожидают, что истинная мудрость, того и гляди, снизойдёт к ним. Только вот она чего-то медлит, не торопится к ним, хитрая: наверное, ожидает их глубокой старости... Дождётся ли?.. Неудовлетворённые, они постоянно намереваются начать жизнь заново... Как говорится: «Один грязнуля собирался: вот завтра — баньку истоплю! Сегодня же чуток посплю... Он так грязнулей и скончался...» Несвободные, комплексующие, больные продукты своего времени, они существуют из интереса: чем же всё это кончится? Согнанные в кучку лживыми вождями, они беззастенчиво лгут друг другу в очи. Да, собственно, какая разница: в добродетели или грехе ты живёшь? Ведь Бога-то нет! Страшный суд отменён! Спите спокойно, товарищи! Как ненавижу я их! Взорвать, разрушить этот лживый мир — мне не под силу.. Но я — один из них, и в моей полной власти разрушить хотя бы самого себя! Уж в этом-то я, слава Богу, волен! Зачем жить, творить, рожать и воспитывать потомство по своему образу и подобию? Зачем повторять всю эту мерзость изо дня в день, до скончания века? Когда Солнце догорит до праха, а Земля вспыхнет и превратится в Солнце... Господи! Как бессмысленно это всё! Не хочу жить! — Тут я даже, кажется, прослезился от жалости к себе.

Близнец был бледен.

— Я виноват перед тобою, — тихо произнёс он. — Я был слеп... проглядел тебя. Глупо было убеждать себя в том, что мы абсолютно похожи. В мире нет двух одинаковых людей, даже среди близ-

нецов. Судьба скроила тебя по-своему. Я видел начало этой беды давно, ещё в детстве... Мог ли я помешать этому? Я думал, что ты сам осознаешь себя, свои силы, удивительные способности, которыми наделил тебя Господь. Будешь достоин своего таланта, добьёшься невиданных результатов... Отбросишь всё, расслабляющее тебя физически и духовно. Поймёшь, что это губительно для твоего восхождения, что жизнь не в этом, истина, которую ты всегда так искал, — не в этом. Но ты не делал никаких усилий. Плыл по течению, брал лишь то, что само, без труда приходило в твои руки. А жизнь и творчество — это постоянный труд души и самоограничение. Да, нужно потрудиться, чтобы завоевать право быть нужным людям. Жизнь, оправдывающую твоё существование, твоё предназначение, не подносят на блюде. Её добиваются в упорной борьбе. Эта борьба, видимо, и есть суть нашей жизни.

Ты же хотел немедленного и полного признания. Негодовал, что этого не происходит, что тебя не понимают. Разочаровался, возненавидел людей, не оценивших твой дар. Всё с большей нетерпимостью относился к Марии, не желавшей поощрять твоё падение и твоё «право» не иметь никаких обязанностей перед ближними. Твои дети стали чужими тебе, потому что не унаследовали твоё отношение к миру. Ты гордо не признавал над собой воли Создателя, нарушал заповеди, охраняющие человеческую жизнь, отказывался верить в Того, Кто Единственный наполняет нашу жизнь высшим смыслом, без Которого невозможно жить чисто, мыслить чисто и чисто поступать.

Ты смеёшься... В твоих глазах всё это выглядит чересчур высокопарно... Но случайно ли на протяжении тысячелетий люди сохраняли уважение к этим прописным истинам: Бог, вера, Родина, любовь, самопожертвование, женщина, ребёнок, творчество?... Случайно ли всё это и есть то главное, что воспевали поэты и художники всех времён? А может быть, все они понимали, что это — живительный источник для души и разума, для выживания человека, что без этого жизнь станет невыносимым адом, Содомом и Гоморрой, саморазрушением...

Ты изуверился в том, что быть человеком — это великое чудо, счастье, выпавшее каждому однажды, что человеку подвластно всё! — Голос брата окреп. — По вере его ему будет дано. На что

он отважится, то и сотворит в своей жизни. Да, родившись, он знает, что умрёт, что когда-нибудь угаснет Солнце, перестанет существовать Земля. И, несмотря на это, он живёт и творит и чувства добрые пробуждает своей лирой. Творит для того, чтобы его потомки были счастливее и могущественнее в борьбе с вечно атакующей нас смертью. Чтобы они несли Божий разум в веках, чтобы не угасал огонёк жизни во Вселенной... Я знаю, что ты хочешь сказать: «Блаженный!.. Зачем всё это человеку, если он не доживёт до того светлого будущего... его прах истлеет в могиле... забудутся и имя и дела его? Да, он — всего лишь малое звено в бесконечной цепи человеческой любви, но он творит, потому что Господь наделил его даром веры, любви и надежды...»

Близнец говорил спокойно и просто, как само собой разумеющееся. В сумерках его глаза и сам он излучали какой-то особый свет. Он замолчал, открыто глядя на меня своими голубыми глазами.

— Я знаю, что ты не любишь высоких слов. А мне так много хочется сказать тебе. — Он взял со стола папку. — Вот.. Может быть, ради этого я и жил. Моя будущая книга. Если хочешь, посмотри. Ну, вот и дождь наконец.

Окна озарились ослепительной молнией, и следом, словно опоздав на несколько тактов, ударил гром. Ударил с такой мощностью, что казалось, будто небо раскололось пополам.

— Ладно, — Близнец отложил папку, — это потом, если захочешь. Пошли к реке? Помнишь, как в детстве? Мы с тобой любили грозу.

Под тёплым ливнем мы вышли к берегу. После изнурительного пекла это омовение казалось высшей наградой.

— Будет буря, мы поспорим и поборемся с ней! — Кричал Близнец, в упоении подставляя лицо полосующим каплям дождя. — Всё, всё, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья! Бессмертья может быть залог!.. Давай купаться — крикнул он мне, на ходу разделся и бросился в воду.

Я не тронулся с места. Заворожённо наблюдал, как Близнец под огненной небесной феерией плещется в реке. Видел, как он вдруг скрылся под водою, вынырнул, судорожно махнул мне рукой, что-то выкрикнул и снова скрылся. Я всматривался, ждал,

но Близнец больше не появлялся. Впившись взглядом в то место, где он исчез под водою, я в оцепенении стоял на берегу. Словно пушкинский бес, я, затаив дыхание, совершал свой дьявольский эксперимент... Наконец понял, что дальше ждать бесполезно. По телу пробежал леденящий страх. Я пошёл в воду. После долгих поисков, обессиленный, я выволок на берег отяжелевшее тело брата. Припал к его груди — сердце не билось.

Никогда в жизни я не рыдал, не стenal так, как в эту ночь, над телом мёртвого Близнеца, захлёбывался слезами, выл и корчился на песке. Ведь я мог его спасти, но я убил брата. Я понимал, что вместе с ним погиб и я, и оплакивал нас обоих. Я не мог отвести взгляд от его окаменевшего лица, на котором проступали красные пятна... Это было моё лицо! Молнией пронзила меня адская идея! Я огляделся — вокруг ни души. Свидетелем происходящего было лишь полыхание невиданного, как апокалипсис, урагана. От неба до земли в природе царствовала только гроза, огненными стрелами в ключья разрывающая фиолетовое пространство.

Я разделся. Положил свои вещи на берегу подле брата. Облачился в его холодные вымокшие одежды. Меня трясло, как в лихорадке. Душа наполнялась неизъяснимым отчаянным торжеством, словно я бросал вызов самому Создателю.

Сбылась моя потаённая мечта! Предо мною больше не маячит, словно призрак, недостижимый идеал! Я становлюсь — им, моим зеркальным отражением, моим близнецом!

Я издам его книгу. Я буду писать лучше, чем он: легко и свободно я буду творить за нас обоих. Пробил мой час. Я сбрасываю оковы, хороню себя. Я — возрождаюсь! К Марии я вернусь в образе её тайной любви. Но Мария, сын Близнеца... разве их сердце обманешь? Они вскоре обнаружат подлог. Меня выдаст моя красная рожа, мои тухлые, холодные глаза...

Эта мысль пронзила меня непереносимой острой болью от головы до печени. Я вскрикнул и проснулся...

...Я очнулся в своём подземелье, в укромном уголке, на ящике, за товарным лифтом. Скрючившись от боли пополам, вылупив глаза и хрипя, я повалился на пол.

Обезболивающий укол начал действовать лишь в больнице. Мне выдали застиранный серый халат. Долго возили на каталке

по разным дурно пахнущим кабинетам. Предо мною суетились озабоченные физиономии в белых халатах. Я всё яснее осознавал, что из этой переделки живым мне не выбраться. Да я и не хотел жить. Хотел, чтобы поскорее окончились мои мучения. В голой, словно камера, палате моё тело вывалили на скрипучую койку и наконец оставили одного. В моём равнодушном сознании едва пульсировал вялый вопрос: какая же зараза поселилась во мне и намеревается убить?..

Я выбрал самую хамоватую няньку, всунул ей последнюю трёшку, попросил заглянуть в мою историю болезни и сказать мне диагноз. Она исчезла. Вскоре возвратилась, начала набивать цену, подлая: мол, «запрещено, если узнают...» Я поклялся, что не узнает никто, посулил новое вознаграждение. Тогда эта змея подколотная, словно делая мне великое одолжение, прошипела в ухо: «Цирроз печени», — и выскользнула в щель.

Итак — конец.

Я разрушил себя окончательно, и равнодушная, беспощадная природа уже вполне готова привести приговор в исполнение. Но нет, дорогая моя природа, я человек гордый, не признаю над собой ничьей воли, кроме своей. Я сам распоряжусь своей судьбой до конца.

Я принялся за дело: всю ночь и весь день лихорадочно царапал эту исповедь, подводил итоги. Жизнь, некогда казавшаяся мне бесконечно долгой дорогой в будущее, вдруг оказалась каким-то мизерно коротким, гадким прошлым — упёрлась в тупик, за которым я ощущал приблизившееся вплотную холодное дыхание небытия.

Я тупо смотрел в больничное окно: прощально покачивалась ветка клёна, чёрное августовское небо было усыпано мириадами звёзд. Бесконечность леденила сознание... Как слаб и ничтожен пред Вечностью едва теплящийся огонёк моей души!.. Где он, этот Океан без волн и дуновений?..

В мозгу почему-то роились стихи Близнеца, они всплывали, словно мои собственные несбывшиеся мечты. Мы с братом прожили разные жизни, но идеал, похоже, у нас был один. Неужели прав Близнец, и этот идеал так высоко над всеми нами, что он — один для всех людей, как Солнце?..

Долго, в оцепенении, смотрел я в окно. Потом, словно пытаюсь убежать от протянутых ко мне ледяных рук Вечности, снова принимался за исповедь и никак не мог поставить точку. Я убеждал себя в том, что рождение и смерть — всего лишь две двери, за которыми — Это, тайное для всех смертных бессмертие или пустота, и не мог унять страха. В сознании всплыло изречение Близнеца: «Если смерть страшна, то причина этого не в ней, а в нас... Чем лучше человек, тем меньше он боится смерти». Легко ему говорить, ведь сам он не стоял у её порога. Или, может быть, я действительно просто плохой человек? Всю жизнь самообольщался и обманывал себя и окружающих? А как же быть с моим утверждением, будто единственный верный друг человека после смерти — это Правда? Какую правду оставляю я после себя? Каков итог?..

Никого, кто был бы привязан ко мне. Ни к кому не привязался сам. Под моим стремлением к первенству и славе таились честолюбие и гордыня. Под моими призывами к всеобщему празднику скрывался страх мелкого существа, под уверениями в любви — эгоизм и предательство.

За всё это я приговариваю себя к смерти. Очередной поступок мерзавца: мне ведь глубоко безразлично, что станет с моей семьёй. Обжалованью мой приговор не подлежит. Я не ищу ни оправдания, ни спасения. Если бы не смертельная болезнь, приблизившая развязку, я всё равно бы не смог жить. Никуда бы я не скрылся от своего внутреннего неподкупного палача, от затаившейся в глубине сознания совести. Она всё равно не дала бы мне жить спокойно. Слова, слова... Достаточно слов...

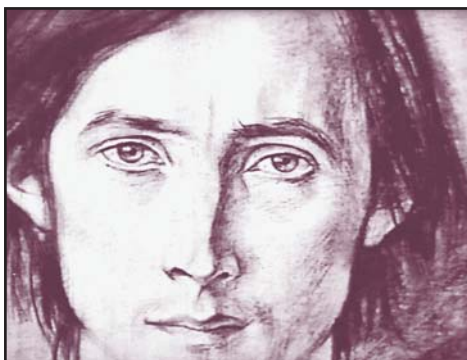
Утром, когда я уже готов был исполнить задуманное, вбежала нянька и сообщила, что ко мне «пришла пара». Я велел ей никого ко мне не впускать. Скрежеща от боли зубами, подполз к окну.. Господи, вся семейка в сборе! Близнец с Марией и детьми медленно удалялись по аллее. Это будет образцово-замечательная семья: их можно будет экспонировать на Выставке достижений народного хозяйства в павильоне «Советская семья». Близнец шёл спокойной раскованной походкой счастливого хозяина этой жизни, этого гигантского, ворочающегося за больничными воротами людского муравейника. Город скрежетал трамваями, гудел,

шипел, стонал, словно сказочное чудовище. Мне казалось, что Близнец совершенно не боится его, словно приручил или вступил с ним в тайный сговор. Он шёл, гордо распрямив плечи, уводя Марию и детей всё дальше от больницы, от моего окна, от меня.

Я никогда не понимал его, думал, что он просто притворяется, наигрывает свой блаженный оптимизм. И только теперь, когда Мария, дети и он сам, словно недостижимый проблеск, растворились в искрящейся, как море, толпе, став её неотделимой частью, только теперь я впервые осознал, что Близнец — такой и есть на самом деле. Он во всё это верит. Мне почудилось, будто я видел в его руке что-то живое, трепещущее голубым светом. Неужели он всё-таки нашёл свою Синюю Птицу?

Я знал, что Близнец, Мария, дети навсегда растворились в этом ослепительном океане жизни, знал, что больше не увижу их никогда. Никогда. Наконец я развяжу им руки. Губы мои сами прошептали: «Прощайте... — и как-то жалко прибавили: — Простите...» Только слёз мне не доставало... Боже мой, как душно!.. Душно!.. Нужно скорее распахнуть окно!.. Господи, помилуй мя, грешного!

11 июля 1979 — 7 января 2010



Николай Бурляев, Владимир Орлов

ПУШКИН

Киносценарий

При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте. Это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой же очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла. Сама жизнь его совершенно русская. Явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа.

Н.В. Гоголь

Таким, как Бог создал меня, хочу всегда казаться.

Из разговоров А.С. Пушкина

Утро 27 января 1837 года выдалось морозным, но невероятно щедрым на солнце. Шафрановые потоки света, падая из окон косыми столпами, высвечивали на паркете слепящие глаза островки. От этого неистового полыхания тени по всей квартире казались особенно глубокими.

Когда Данзас переступил порог столовой, часы бархатно звонили десяти раз.

— Барин у себя? — спросил он у горничной, прибиравшей со стола остатки недавнего завтрака.

— У себя... в кабинете, а барыня с сестрицей ихней, Александрой Николаевной, к Мещерским поехали, деток на смотрины

повезли. — Словоохотливая горничная, звеня приборами и тарелками, щебетала вдогонку гостю: — Гришенька всё плакал, не хотел ехать, не простившись с папенькой... Просто беда... Насилу собрались... Только-только перед вами уехали...

Ступая по мягкому ковру гостиной, Данзас услышал доносившийся из не притворенных дверей кабинета знакомый весёлый голос:

— Да здравствует солнце! — и плеск воды, и довольное пофыркивание. И снова: — Да здравствует солнце!.. — И снова плеск, фырканье и смех.

Постучав, Данзас вошёл. Вслед за ним в кабинет хлынул поток солнечного света.

— Да здравствует солнце! Да скроется тьма! — вместо приветствия воскликнул хозяин. Обнажённый по пояс, он вытирал мокрую голову, уши, шурился в солнечных лучах. — Ты, как всегда, по-немецки точен, душа моя. Проходи. — Бросив полотенце слуге Никите, собиравшему банные принадлежности; приказал ему: — Дай, Никита, мне одеться. Принеси всё чистое. Что жена? Уехала?

— Да уж с полчаса, — ответил Никита, протискиваясь с тазом в дверь.

— Оч-чень хорошо! Оч-чень хорошо! — напевал Пушкин, облачаясь в халат, и крикнув вдогонку слуге: — Ко мне никого не пускать! — Закрыл дверь на ключ.

— Неужели нельзя без дуэли? — спросил Данзас, едва затихли шаги Никиты.

Пушкин отрицательно помотал головой, усмехнулся:

— Эта дуэль второй месяц... точно еловая шишка в заднице: вошла хорошо, а выйти, так и шершаво... Я вызвал Дантеса ещё в ноябре, но эти подлецы, сынок с папенькой-педерастом, прибегли к хитрой уловке: женили Дантеса на Катрин, Наташиной сестре.

— Пойми меня, — начал было Данзас, поглаживая покоившуюся на перевязи раненую руку, — я...

— Так ты хочешь, чтобы противники мои меня зарезали, может быть, и не дравшись? — Пушкин положил свои руки на плечи Данзаса и внимательно посмотрел на него голубыми глазами. — Я не знаю, сколько их там, а я один...

— И никаких способов к примирению?.. — спросил Данзас. Пушкин покачал головой:

— Я не могу позволить им марать моё имя и должен следить за его неприкосновенностью всюду, где оно известно... Итак... Ты сможешь мне?

Поразмыслив немного, Данзас, глядя в глаза своего лицейского товарища, утвердительно кивнул.

— Оч-чень хорошо. — Пушкин радостно обнял Данзаса, потом подвёл к своему столу. — Вчера я послал барону Эккерну второе письмо; прочти его. — Протянув лист Данзасу, он отошёл к окну, принялся чистить пилочкой ногти, наблюдая за реакцией читающего. — Каково? — спросил он, когда Данзас оторвался от письма.

Тот ошарашенно смотрел на Пушкина, не зная, что ответить.

— Оставь список у себя. Если меня убьют, он должен попасть в руки Государю. Подробности затеянной против меня гнусной интриги — здесь, в моём дневнике. — Пушкин показал на лежащую на столе тетрадь в красном сафьяновом переплёте. — Пистолеты я выбрал. Возьмёшь в магазине Куракина. Встретимся в час на Невском, в кондитерской Вольфа.

Проводив Данзаса до двери, Пушкин вернулся к столу, раскрыл дневник на странице с надписью вверху «1837 год», пробежал глазами последнюю запись, помеченную «27 января», перевернул лист, обмакнул перо в чернильницу и после слов: «...интриги (Принц П. Нессельроде, кн. Суццо, бар. Эккерн). Меня вынудили к поединку. Д'Антес. Секундант...» — написал «Данзас» и поставил точку. Закрыл тетрадь, положил её в ящик стола, откинул голову к спинке кресла и застыл, задумавшись.

Со стены на него смотрели три изображения: Спаситель, Мадонна с младенцем Христом и под ними — его Наташа, портрет кисти Брюллова.

Строгая причёска, изящная бриллиантовая фероньерка посреди лба, бездонные опалы чуть раскосых глаз...

— Чистейшей прелести чистейший образец... — прошептал Пушкин и закрыл глаза.

Трепетные, тонкие, прохладные пальцы легли на его голову, пробежали по волнистым курчавым волосам. Пушкин перехватил руку жены, поцеловал ладонь.

— Не бойся, я сейчас уйду... не стану мешать тебе...

Она опустила на медвежью шкуру, лежавшую на полу, прижалась подбородком к его колену.

— Ну что ты, душа моя. — Пушкин нежно погладил жену по голове, коснулся кончиками пальцев фарфорово светящейся щеки. — Я очень рад тебе.

— Ты не любишь, когда тебя отвлекают, — в глазах Наташи была мольба, — но я... я не могу без тебя... Без тебя пусто... — Она прижалась губами к руке мужа, а когда подняла взор, в глазах её стояли слезы. — Пушкин, я люблю тебя.

— Царица моя... Ведь я не молод и не красив... Что ты нашла во мне, моя мадонна?..

— Твою душу, — прошептала Наташа, не стесняясь своих слёз.

Пушкин пальцами смахнул слезинки с её щёк, спросил:

— Почему же ты плачешь, душа моя?

— Последнее время мне очень тревожно.

— Не тревожься, мой ангел, — остановил её Пушкин, — я ведаю всё.

Замерев, Наталья Николаевна неотрывно, глубоко смотрела в глаза мужа, наконец выдохнула:

— Пушкин, ты... Ты — святой.

— Ну что ты, Наташа, Господь с тобой.

— Молчи, Пушкин, я знаю. Когда-нибудь это узнают все.

Закрыв глаза, Наталья Николаевна прижалась лицом к коленям Пушкина...

* * *

Пушкин издали заметил знакомую карету, мчащуюся по Дворцовой набережной навстречу его саням. Он до глаз зарылся в меховой воротник. Но Наталья Николаевна, печально глядевшая в окно кареты, была погружена в себя. Её близорукие глаза не смогли различить мужа в мутном пятне промчавшихся мимо саней. Дети, следовавшие с гувернанткой за каретой матери в крытом возке, были заняты игрой. И только маленький Гришенька, приплюснув к стеклу носик и щёчку, беззвучно прошептал: «Папа... папа...»

А сани Пушкина лихо, с заносом, вымахнули вправо, на мост и устремились в сторону Петропавловской крепости.

— Уж не в крепость ли ты везёшь меня? — спросил Пушкин. Не уловив иронии в этих словах, Данзас, занятый своими мыслями, серьёзно ответил:

— Через крепость на Чёрную речку ближайшая дорога.

— И на небо тоже, — скорей сам себе обронил Пушкин, зябко пожившись в своей широкой шубе.

Уж сколько лет, проезжая мимо Петропавловки, он чувствовал, как душа его больно сжималась, а в сознании всплывал один и тот же жуткий образ: кроваво-красное небо... и пятеро его товарищей, удушенных в мешках на тесовой перекладине...

* * *

— У нас в Дерпте многие уверены, что вы привлечены к следствию.

Выйдя из ласковых вод Сороти, Языков припал своим могучим мокрым телом к песку подле Пушкина.

— И немудрено. — Заломив руки за голову, Пушкин лежал, глядя в лазурное небо, украшенное редкими кучерявыми облаками. — Ведь я был в связи почти со всеми заговорщиками... со многими переписывался. Смотрите, Николай Михалыч, небо простоквашею... Если бы я был потребован комиссией, я бы, конечно, оправдался, но меня до сих пор не призвали. Может, решили, не заводя нового дела, продлить ссылку мою до бесконечности. Дурно, дурно, брат...

Пушкин прислушался: девки на берегу полоскали белье, пели протяжную, печальную песню. «Не женись ты, добрый молодец, а на те деньги коня купи...» — запевал необыкновенно красивый, проникающий в душу женский голос.

Послушав немного. Языков продолжил прерванный разговор:

— Говорят, все заговорщики состояли в тайном обществе?

— Нынче снова мода на масонов. Мне жаль друзей моих, которые дали себя обмануть и затащить в эту грязь.

— Но их призывы к свободе, братству, равенству...

— Сказки! — отрезал Александр Сергеевич. — Красивые сказки, коими и меня соблазнили. Разве вы не знаете, что все филантропические и гуманитарные общества, даже и самое масонство, получили от Адама Вейсгаупта направление, подозрительное и враждебное государственным порядкам? Их цель — разрушение государства Российского. Я всегда был противником тайных обществ и заговоров. Эти общества — крысоловки, а заговоры похожи на те скороспелые плоды, которые губят дерево, поглощая его соки.

Два мерных чугунных удара, раздавшись наверху, в усадьбе Тригорское, поплыли над Соротью. Пушкин блаженно улыбнулся, потягиваясь всем телом.

— Я голоден, а потому хандрив. А? Каково словечко? — Он засмеялся, хлопнул в ладоши. — Господа, пора обедать: в митрополии звонят.

Вскочил и, выделывая ногами кренделя, с разбегу плюхнулся в Сороть. Языков, насколько ему позволяла его комплекция, повторил эти кренделя и, взметая брызги, кувыркнулся в реку...

А потом наперегонки они галопировали на своих конях вверх по дороге, к Михайловскому, и Пушкин, легко держа повод левой рукой, жестикулировал правой, кричал что-то Языкову и окружающему миру.

У дома Языков осадил коня, спешил и вслед за Александром Сергеевичем вошёл в дверь.

В светлой горнице под присмотром Арины Родионовны несколько девушек занимались рукоделием, пели. Завидя гостя, которого барин ввёл в горницу, девушки сбились и замолчали.

— Пойте, девки, пойте, — ободрил их хозяин. — Знакомься, нянюшка: Николай Михайлович Языков — певец русской Музы, мой друг... и моя надежда.

Неуклюже помявшись, Языков широко улыбнулся и, склонившись, поцеловал руку Арине Родионовне.

— Что ты, свет-батюшка... что ты... — смутилась няня, пряча свои морщинистые руки.

— Девицы-красавицы! Нравится вам сей Добрыня Никитич?

Вопрос барина смутил девушек: кто захихикал, кто спрятался за рукоделием...

Потеряв Пушкина в толчее святогорской ярмарки, Языков пробирався сквозь пеструю толпу, ища глазами друга. Он нашел Александра Сергеевича у монастырских ворот, на паперти, сидящим среди нищих. Ворот его красной домотканой рубахи был расстегнут, глаза закрыты: он самозабвенно пел со старцами и убогими «Лазаря», а прохожие бросали монеты в шапку у ног Пушкина. Открыв глаза и увидев удивленного Языкова, Александр Сергеевич поднялся, бросил в шапку свою лепту и, поигрывая тяжелой железной палкой, направился к другу.

— Ого, какая тяжелая, — взвешивая палку в руке, сказал Языков.

— Для твердости руки: чтоб не дрогнула, если придется стреляться.

...В храме было многолюдно, торжественно. Слаженно пел хор. Среди молящихся — Языков. Пушкин протиснулся к нему и, поставив свою свечу перед иконой Спасителя, стал рядом. В это время люди стали опускаться на колени. Опустились и Пушкин с Языковым. И всё вокруг перестало разом существовать для них; были в храме только они, высокие голоса хора, скорбные глаза Богоматери, прижимающей к груди младенца, и молитва священника: «Господи и Владыко живота моего! Дух праздности, уныния, любоначалаия и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи Царю, даруй ми зрети мои прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь...»

Из банного пара в сенцы выплыла раскрасневшаяся, дымящаяся фигура Языкова в простыне, словно в тоге.

— Не угодно ли сбитня? Свежайший, — предложил Пушкин, лежавший на лавке и что-то записывавший в толстую тетрадь, разукрашенную таинственными знаками. — Вон кувшин принесли, угощайтесь.

— С наслаждением, Александр Сергеевич.

— Зачем нам чай, — сказал Пушкин, положив тетрадь на стол, — вот наш национальный напиток.

Опрокинув в себя кружку сбитня, Языков перевёл дух и, разглядывая тетрадь, усмехнулся:

— Какие знаки затейливые...

— Моё масонское наследство от кишинёвских «братьев»... Жаль выбрасывать: бумага хороша.

Постучавшись, в дверь просунулся Никита. Таинственно сообщил:

— Из Жадриц свояк приехал. Говорит, к барину его странный гость пожаловал из Петербурга. Про вас всё расспрашивал. А барин жаловался ему на вас, будто вы приказали человеку своему лошадь отпустить одну. Мол, всякое животное имеет право на свободу.

Языков рассмеялся, но, видя, что Пушкин даже не улыбнулся, спросил его:

— И кто же этот ваш сосед?

— Павел Сергеевич Пушин, начальник кишинёвской ложи. — Кивнув на тетрадь, Александр Сергеевич усмехнулся. — Это его подарок. Он и принимал меня тогда... Иуда... Прости меня, Господи.

* * *

...Ветер порывами вздымал позёмку, играл снежными вихрями. Солнце погрузилось в свинцовую мглу. Погода испортилась. Пушкин открыл глаза... Миновав чахлый, продувной лесок, сани вымахнули на просёлочную дорогу. Впереди показались другие сани, спешившие в том же направлении... Данзас, приоткрыв дуэльный ящик, проверил содержимое: пара «кухенройтеров», втиснутая в красную бархатную обивку, молоточки, шомпола, порох в коробочке, запасные пистоны, пули... Данзас захлопнул ящик, покосился на Пушкина, хотел заговорить с ним о чём-то важном, тревожащем его, но не решился: ему показалось, что Пушкин дремлет, что-то нашёптывая губами. Данзас прислушался, но смог разобрать только одно слово: «Иуда»...

* * *

Когда с его глаз сняли чёрную повязку, Пушкин, обнажённый по пояс, с интересом оглядел таинственное собрание. Дюжина господ, ряженных в чёрные плащи с капюшонами, скрывавшими

их лица... в руках факелы и шпаги, направленные в его грудь... Сквозь дым чадающих светильников едва виднелись стены зала, украшенного чёрными, красными, фиолетовыми драпировками, скрещёнными шпагами, иудейскими семисвечниками... Раскрытый гроб в центре зала. Прямо перед ним на троне восседал без маски магистр Ордена, в котором Пушкин с удивлением узнал своего недавнего знакомого, бывшего господаря Молдавии князя Михаила Суццо. Пушкин улыбнулся и кивнул ему, явно нарушая установленный церемониал. Магистр остался строг и непроницаем. Над его троном, на стене, в факельном отсвете мерцало огромное «всевидящее око» с ресницами лучей, обрамлённое позолоченным треугольником.

Всё происходящее весьма забавляло Пушкина, и, когда из дымящейся за тронем тьмы выплыл ещё один его знакомец, Павел Сергеевич Пуцин, в смешном, не по росту большом и широком, а потому сползающем с плеч одеянии, он едва не рассмеялся, кивнул, но, спохватившись, постарался придать лицу самое серьёзное выражение. Пуцин подал знак, и двое безликих подручных в чёрном стали укладывать Пушкина в гроб. Поместившись, Пушкин устроился поудобнее: заложил ногу на ногу и по-наполеоновски скрестил руки на груди. Подручные начали наволакивать на гроб долгий чёрный саван.

...По окончании церемонии Пушкин, сопровождаемый с двух сторон Суццо и Пуциным, принимал поздравления новых «родственников», которых ему поочередно, согласно иерархии, представлял магистр:

— Луи Самуэл Тардан — надзиратель... Бранкович — вития, тоже писатель... Яков Бароцци — мастер... Доктор Шулер... Доктор Майглер...

Отведя Пушкина в сторону, магистр сказал ему по-французски:

— Брат мой, жду тебя завтра у себя. — Лицо князя вдруг сделалось жестким. — Сюда, в Кишинёв, едет с инспекцией от Главного штаба полковник Пестель. Говорят, вы дружны? Мне необходимо встретиться с ним до моего отъезда в Италию. Приведешь его ко мне.

Последние слова прозвучали приказом. Пушкин удивлённо посмотрел на Суццо, но ничего не сказал.

— Прошу прощения, — вкрадчиво заговорил выплывший из дымящейся темноты Пущин, — надеюсь, брату Пушкину будет лестно узнать, что ложу нашу мы порешили назвать именем героя его кишиневских стансов — «Овидий»...

— Овидий мрачно дни влачил, — пробурчал Пушкин и потёр глаза: дым костра чадил в его сторону.

— Что? — не расслышал Языков.

— Люблю их игры. — Пушкин переменял положение у костра, глядя туда, где внизу, у реки, парни и девки хороводили, прыгали через огонь, пели:

*Ой, на речке, ой на речке
Девки цветы рвали... Купала-а...
На Ивана-а...*

Голос солирующей девушки, чарующий, завораживающий с первых звуков, заставил Языкова невольно выпрямиться, поднять взор от огня на певицу.

*Цветы рвали, вянки пляли,
На воду пускали... Купала-а...
На Ивана...
А все ж вянки, а все ж вянки
По воде да плыли... Купала-а...
На Ивана-а...
А мой вянок, а мой вянок
Да пошел ко дну... Купала-а...
На Ивана-а...
А все ж мужи, а все ж мужи
Да с войны вернулись... Купала-а...
На Ивана...*

Затаив дыхание, не отводя от девушки глаз, внимал ей и Пушкин. Голос певицы окреп, вырос.

*А мой муж, а мой муж...
Да и там остался... Купала-а...
На Ивана...*

Песня отлетала в ночь.

— Если бы я мог поехать завтра с тобой, вот было бы любо, а нельзя мне. Провожу тебя... и останусь я один-одинёшенек, — Пушкин горько вздохнул. — Эх, неволя наша, неволя... Не могу я так больше. — В глазах Пушкина была растерянность. — Мне отвратительна жизнь моя! Нет мочи моей более терпеть! Душа в комок сжалась, а сила в ней растёт невиданная: вот-вот разорвёт... Либо поднимет меня вверх, к свету, либо... Либо вниз бросит, в бездну тёмную.

Мощный раскат грома накатил издалека, разрывая сполохами ночь, прокатился над рекой и лесом, словно Илья-пророк на огненной колеснице. Порыв ветра взметнул ввысь пламя костра, озарив лицо Пушкина: глаза его, полные слез, были прекрасны, светились исходящим из души таинственным огнём.

...Наутро буря разошлась пуще прежнего: гром, молнии, ветер вершили в природе свой неистовый пир. Травы и высокий кустарник волнами стелились по земле. Деревья, размётывая листву, шатались, готовые сломиться, вырваться корнями из земли. Обессиленный бессонной ночью, потрясенный известием о пяти повешенных декабристах, опустошённый проводами милого сердцу человека, Пушкин, как во сне, добрел до порога баньки. Равнодушно, незряче смотрел он на скрипящую, мотающуюся от ветра дверь, пустые тёмные сени: всё мертво, одиноко, словно душа покинула эти некогда тёплые, солнечные стены. Ступил на порог — пусто. Только обронённая на пол тетрадь с замысловатыми знаками на обложке да придавленная чернильницей записка на столе, над которым покачивался под порывами залетающего в баньку ветра привязанный к ниточке соломенный «петрушка». Пушкин взглянул на куклу, еле слышно пробормотал: «И я бы мог.. как шут», взял со стола записку, прочёл:

*«Когда в тебе на подвиг всё готово,
В чём на земле небесный явен дар.
Могучей мысли свет и жар
И огнедышащее слово, —
Иди ты в мир — да слышит он пророка...*

*Да благословит Вас Господь!
Ваш Николай Языков».*

Пушкин поднял голову, посмотрел на икону Спасителя в углу сеней. Ветер перебирал страницы валяющейся на полу тетради. Пушкин опустился на пол, вырвал несколько страниц, скомкал их и бросил в печь. Туда же швырнул и саму тетрадь.

Пушкин шёл мимо потухшего костра, у которого ещё вчера пели девушки. Ветер вздымал пепел и уносил его прочь. Привязанная к дереву лошадь, охваченная страхом, вдруг сделав свечу, оборвала привязь и понесла, не разбирая дороги. Пушкин оглянулся... Там, где только что стояла банька, взметнулся к небу огромный огненный столп.

Опустившись на землю, он невидящим взором смотрел на пламя, потом медленно лёг навзничь в траву. Глаза Пушкина были покойны, светлы, бездонны.

*Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, —
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Перстами лёгкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он, —
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полёт,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замёрзшие мои
Вложил десницею кровавой.*

*И он мне грудь рассёк мечом,
И сердце трепетное вынул,
И уголь, пылающий огнём,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею Моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».*

* * *

...Златоглавые церкви Кремля встречали изгнанника согласным гимном колоколов, щедрый перезвон которых вливался в окна кабинета новопомазанного самодержца всея Руси.

— Bonjour, Pouchkine, — приветствовал император Пушкина, когда его, пропыленного дальней дорогой, привели пред очи Государя.

— Bonjour, Sire, — отвечал Пушкин, приближаясь к высокой фигуре в кавалергардском мундире, стоявшей у огромного окна.

Улыбка на лице Николая Павловича не могла скрыть следов усталости и тяжёлых размышлений.

— Ты очень переменялся за эти годы, — произнёс он, внимательно разглядывая Пушкина, — глаза смотрят добрее.

— И вас переменяло время, Ваше Величество... И немудрено...

— Доволен ли ты своим возвращением?

— Как не быть довольным узнику, возвращённому к жизни? — Пушкин благодарно склонил голову.

— Стихами твоими были заполнены все следственные дела... Многие указывали на тебя как на источник либеральных идей. Я приказал извлечь твои стихи из дел и уничтожить. — Николай внимательно посмотрел на Пушкина, ожидая от него какого-либо знака благодарности, но лицо его собеседника было бесстрастно. И тогда царь, повинаясь какому-то чувству, просто сказал, глядя Пушкину прямо в глаза: — Мне очень нелегко, Пушкин. Хотя, ты знаешь, я вовсе не слаб. Кровь заговорщиков, обagrившая престол, пачкает мантию монарха. Но иначе поступить я не мог...

Николай Павлович задумался, надеясь на понимание. И Пушкин, в некотором замешательстве от такой откровенности царя, произнёс:

— Что ж, Государь... Начало славных дел вашего великого прадеда тоже было омрачено мятежами и казнями...

Царь подошёл вплотную к Пушкину и, пристально глядя ему в глаза, спросил:

— Скажи мне, если бы ты был в Петербурге, принял ли бы ты участие в четырнадцатом декабре?

— Неизбежно, Государь, — не задумываясь и не отводя глаз, ответил Пушкин. — Все мои друзья были в заговоре, и мне было бы невозможно не участвовать в нём.

Николай Павлович не смог скрыть своего огорчения:

— Ты, которого Россия вырастила и покрыла славой... ты враг своего Государя? Пушкин, Пушкин!

Пушкин молчал, собираясь с мыслями.

— Что же ты не говоришь? Ведь я жду! — напомнил Николай.

— Я никогда не был врагом своего Государя, — произнёс наконец Пушкин, — но был противником абсолютной монархии.

— Республика? — Николай усмехнулся и, жестом пригласив Пушкина следовать за собой, направился по ковру в глубь кабинета. — Республика — утопия... потому что она — состояние переходное, ненормальное и, в конечном счёте, всегда ведущее к диктатуре. — Николай сел на диван, указывая Пушкину на место подле себя. — Сила страны в сосредоточении власти. Ибо где все правят — никто не правит. Где всякий — законодатель, там нет ни закона, ни единства политических целей, ни внутреннего лада. Каково следствие всего этого? Анархия!

Воспользовавшись паузой в монологе Государя, Пушкин сказал:

— Но кроме республиканской формы правления, которой препятствует огромность России и разнородность её населения, существует ещё одна форма — конституционная монархия.

— Она годится для государств, окончательно установившихся, — спокойно возразил Николай. — Россия ещё не вышла из периода борьбы за существование. Элементы, из которых состоит Россия, до сих пор друг с другом не согласованы. Их сближает и спасает

только самодержавие. Неужели ты думаешь, что, будучи ограничен конституцией, я мог бы сокрушить гидру революции, которую вы, сыны России, вскормили на гибель ей?

— Ваше Величество! Но подле Вас таится другая гидра... чудовище, не менее страшное и губительное для Отечества...

Николай недоуменно поднял брови:

— Выражайся яснее...

...С первым боем часов, возвещавших о наступлении полудня, в дверь кабинета всплыли лицо и полтуловища дежурного генерала.

— Осмелюсь напомнить, Ваше Величество: вызванные вами министры все собрались... полчаса назад...

Не получив ответа, генерал отступил в приёмную и развёл руками. Низкорослый горбун в расшитом серебряной нитью мундире, министр иностранных дел России Карл Роберт Нессельроде, семеня ножками по ковру между коротающими время сановниками и, закинув голову к правому плечу, словно вопрошал их: «Каково? Как вам это нравится?»

— Наш юный пиит уже заказал обед с шампанским по случаю своего возвращения, — с почти неуловимой иронией произнёс президент Академии наук Уваров, доставая из кармана сюртука, застёгнутого по-военному на все пуговицы, часы и сверяя их.

— Вряд ли этот безбожник оправдает милости, оказанные ему Государем, — прокартавил Нессельроде, остановившись подле новоиспечённого шефа Третьего отделения собственной его величества канцелярии графа Бенкендорфа.

— Да, он неисправим, — с напускным сожалением вздохнул в ответ Александр Христофорович. — Сегодня мне подали его новые пьесы, немыслимо дерзкие... Я назначил расследование...

— Россия стонет в тисках этой гидры! — Щёки Пушкина пылали; забыв об этикете, он ходил перед Николаем, жестикулируя руками. — Ничто не основано у них на действительных интересах России, а опирается лишь на соображения личного тщеславия, корысти, театрального эффекта. Справедливость в руках самоуправцев. Никто не уверен ни в своём достатке, ни в свободе, ни в жизни! Что ж удивительного, что нашлись люди, возмущённые зрелищем униженного и страдающего Отечества!

— Ты одобряешь мятеж?

— Нет, Государь, поэтому-то, наверное, и спасло меня Провидение от участия в возмущении.

— Хочу верить, что так, и верю, — серьёзно сказал Николай. — Мне, Пушкин, нужно твоё содействие. А для глубоких реформ, о которых ты говорил, нужно ещё и время. С чего бы начал ты?

— С воспитания, — отвечал Пушкин. — Влияние чужеземного идеологизма пагубно для нашего Отечества. Воспитание или, лучше сказать, отсутствие воспитания — корень всякого зла. Надлежит защитить новое, возрастающее поколение. Ведь оно входит в свет без всяких основательных познаний, без положительных правил: всякая мысль для него нова. Оно становится жалким повторителем первого, кто захочет сделать из него своё орудие.

— Вот ты и займись этим предметом, — прервал Государь, — и представь мне свои соображения запиской. Кстати, что ты теперь пишешь?

— Почти ничего, Ваше Величество: цензура строга.

— Ну так я сам буду твоим цензором. Присылай мне всё, что напишешь.

Николай протянул Пушкину руку и вместе с ним вышел в приёмную. Проводив взглядом покидавшего приёмную поэта, Государь внятно, во всеуслышание произнёс:

— Здесь только что был умнейший человек России...

Подобострастно заулыбалась светская чернь.

Благовестили кремлёвские колокола, и казалось, им вторили все сорок сороков церквей белокаменной Москвы...

Сколько лет грезил Пушкин об этой встрече с Нащокиным у уютного камина в его московском доме, где он чувствовал себя свободно и легко. И ещё одна радость ждала его в этих стенах — как снег на голову свалившийся в Москву Языков. Пушкин, рассказывая о своей встрече с новым помазанником Божиим, в возбуждении перемещался по комнате, и неправильные черты его лица, озарённого отсветом камина, были прекрасны.

— Простительно выходцу не любить ни русских, ни России, ни истории её, ни славы её. Но не похвально ему за русскую ласку марать грязью священные страницы наших летописей, поносить лучших сограждан и, не довольствуясь современниками,

издеваться над гробами праотцев. Всё это я высказал Государю, и кажется, он согласился со мной.

— Дай-то Бог, — отозвался мягкий баритон Языкова, — может, хоть он отметёт от престола этих картавых шептунов и шпионов, пока они не погубили Россию. Они не позволяют русскому жить своим умом, внушают ему: ты недоносок и ленивый дурак... За уши тянут в Европу. Словно карлики, они брезгливо пинают спящего великана. Пинают, а втайне страшатся: вдруг великан проснётся да вздумает обидеться, что его пинают.

Языков помолчал, глядя в камин, потом продолжал:

— Задумал я вещь небольшую в форме послания... «К ненашим». Несколько стрóf набросал.

— «К ненашим»? Bravo, душа моя! — воскликнул Пушкин и обнял Языкова. Знаешь, Войныч, — Пушкин присел к Нащокину на подлокотник кресла, — уж если кому завидовать, так вот кому! Он всех нас, стариков, за пояс заткнет. — Пушкин улыбнулся, кивнул Языкову. — Я надеюсь на вас, как на скалу.

— Ты желал отметить встречу: вот и вино! — воскликнул Нащокин, завидя посыльного из трактира с подносом, уставленным батареей золотоголовых бутылок.

— Кто платит за шампанское, ты или я? — поинтересовался Пушкин. — Жаль, если я.

— Давно ль ты стал скопидомом? — подмигнул Нащокин. — Аль жениться надумал?

— Только после тебя. Гадалка предсказала мне два изгнания, счастливую семейную жизнь и смерть от белого человека. До сих пор всё сбывается, например два изгнания. Теперь должно начаться счастье. — Пушкин вдохнул, поднял бокал. — Литературу состряпали мы, смертные, но дружбу сотворил Бог.

В звонко содвинутых бокалах искрилось, играло яркое полыхание камина...

Имбирно-красен был в эту осеннюю пору Царскосельский парк. Увядание природы было пышно, по-царски величаво: листья золотым дождём покрывали землю. В разлитой тишине вокруг слышался шелест ветра в листьях да крики ворон.

Наташа с наслаждением ела морошку с ладони мужа. Счастливая, с перепачканным соком ртом, она улыбалась, щурилась

от ласкового осеннего солнышка. Весело жуя морошку, она потянулась устами к губам Пушкина, поцеловала его. Зачерпнула из корзинки пригоршню жёлтых ягод, протянула свою ладонь мужу. Он слизнул с Наташиной ладони ягоды, поцеловал её руку и положил себе на сердце.

— Ой, как стучит! — испуганно прошептала Наташа.

— То так, то пятак, то денежка... — Пушкин потянулся к устам жены, но она внезапно уклонилась, вскочила и, словно приглашая догонять её, побежала.

Юная и резвая Наташа пряталась за деревьями, и настичь её было непросто. Увлечённые игрой, молодожёны не заметили, как едва не натолкнулись на прогуливающихся рука об руку по тенистой аллее графа Нессельроде с нидерландским посланником, сорокалетним рыжим бароном Луи Геккерном. Сановная чета оторопела, словно застигнутая врасплох, а Пушкин, извинившись и приняв степенный вид, повлёк жену на другую тропинку...

* * *

Подъезжая к Дантесу и д'Аршиаку, ожидающим их подле своих саней, Данзас вопросительно посмотрел на Пушкина, но тот, не открывая глаз, махнул рукой: вперёд... Когда их сани, замедлив бег, выровнялись с французами, Пушкин в упор посмотрел на Дантеса. И молодой самоуверенный кавалергард поспешил отвести глаза, спрятать от противника свои тайные мысли. Ветер закружил позёмку, хлестанул Дантеса по лицу, залепил глаза. Проклиная русскую зиму и своего новоиспеченного «приёмного папеньку», он зажмурился, а когда вновь открыл глаза, увидел остановившуюся в укрытии за поворотом знакомую карету нидерландского посла: «Ох уж этот «папенька», никуда от него не укроешься».

Рыжая каналья... В свои сорок пять лет он здоров и крепок, должен был сам стреляться с Пушкиным. Так нет — эта трусливая баба подставляет его, Жоржа, своего «обожаемого приёмного сына»... Что ж, пора платить за подаренный ему Луи Беверваардом Геккерном баронский титул...

— Мастер Брюммель славно потрудился. — Пухлые, женоподобные ручки нидерландского посланника вертят пистолет,

трогают пальцами мушку. Зажмутив один глаз, барон Луи Бевер-ваард прицелился в сторону стоящего у стены чучела с красной тряпицей на груди. — Если бить в левое колено — угодишь в сердце, — сообщил барон утопавшему в кресле миниатюрному графу Нессельроде.

Тот довольно моргнул в ответ. Ощупывая коротенькими пальцами массивные ордена на своей тщедушной груди, граф оглядел присутствовавших в зале нидерландского посольства: высокомерно восседавшего на почетном месте принца Прусского, приутившегося на скамеечке для собачки молодого кавалергарда, фаворита императрицы князя Александра Трубецкого и стоящего посреди зала словно в столбняке Жоржа-Шарля Дантеса.

— Увидев, что ты целишься в ноги, противник решит, что ты не хочешь его смерти, и не выстрелит первым. Ты успеешь опередить его. — Улыбаясь, рыжий барон протянул Жоржу пистолет.

Ощущая на себе взгляды присутствующих, тот эффектно, с разворота, не останавливая движения руки, почти не прицеливаясь, всадил пулю в чучело, разорвав красную тряпицу в клочья.

— Bravo, сын мой! — Не скрывая восторга, барон хлопнул в ладоши, гордо сказал собравшимся: — Это поистине лучший стрелок Европы, — Любовно погладив Жоржа по его белой шевелюре, барон продолжал: — Постарайтесь с месье д'Аршиаком уговорить секунданта Пушкина скрыть его участие в поединке. Желательно, чтобы на его месте оказался «Бархат»... Прошу прощения, князь Трубецкой, — поправился барон Геккерт, видя смущение фаворита императрицы...

— Александр Сергеевич! — Данзас, увязая в снегу, приближался к Пушкину. — Мы с д'Аршиаком нашли подходящую площадку. Там, за елочками. Будет ли вам удобно...

— Мне совершенно безразлично, — ответил Пушкин, глядя куда-то мимо стоящих поодаль противников. — Главное, постарайтесь сделать всё это как можно скорее.

Данзас хотел было что-то сказать ещё, но Пушкин отвернулся и отошел прочь...

Д'Аршиак и Данзас отмеряют шагами расстояние между барьерами. Вновь сойдясь, секунданты начинают заряжать пистолеты: молоточками вбивают в стволы круглые пули, при этом

что-то горячо доказывают друг другу. До слуха Пушкина долетают лишь обрывки их французской речи.

Д'Аршиак:

— Но ведь это господин Пушкин нанёс оскорбление месье Геккерну, и месье Геккерн имеет право стрелять из своих пистолетов...

Данзас:

— Однако после того, что я услышал сегодня при нашем разговоре, я почитаю оскорблённой стороной господина Пушкина, и пистолеты должны быть разыграны...

Д'Аршиак:

— Извините, господин полковник, но мне непонятна, даже сомнительна ваша настойчивость. Согласно нашему французскому дуэльному кодексу месье Геккерн имеет несомненное право пользоваться своим оружием, предложив второй из пары пистолетов господину Пушкину. Тот волен отказаться и стрелять из своего...

Видя, что Пушкин, теряя терпение, направился к своему барьеру, Данзас поспешил к нему.

— Ну что, кончили?

— Противники требуют стреляться их пистолетами. Это противоречит...

— Да не все ли равно? — Пушкин махнул рукой. — Пора завершать, а то простудишься...

— Дурно, брат Войныч, делить себя только между женой и Английским клубом... Тройка! — Пушкин с радостью открыл свою карту. — Эх, ещё бы семёрку да туза! Видите, Владимир Иванович, — обратился он к Далю, — Войныч опять нахмурился, видать, нездоров. Вы бы его полечили, право. Знаешь, Войныч, — он положил руку на плечо Нащокина, — если умрёшь скоро, так я подыскал тебе в Михайловском могилку сухую, песчаную, чтобы тебе и мёртвому было хорошо, а когда я умру — меня положат рядом с тобой. Только прежде я такой роман напишу, на который и чужие залюбуются. Я ещё много сделаю.

— А мы, Александр Сергеевич, частенько поминали вас в польском походе, — сказал Даль, собирая карты, — и ваши стихи. Вы открыли нам глаза на нашу миссию, отмели клевету на нашу армию, на Россию...

*Но вы, мучители палат,
Легкоязычные витии,
Вы, черни бедственный набат,
Клеветники, враги России!
Что взяли вы?.. Ещё ли росс
Больной, расслабленный колосс?
Куда отдвинем строй твердынь?
За Буг, до Ворсклы, до Лимана?
За кем останется Волянь?
За кем наследие Богдана?
Признав мятежные права,
От нас отторгнется ль Литва?
Наш Киев дряхлый, златоглавый,
Сей пращур русских городов,
Сроднит ли с буйною Варшавой
Святыню всех своих гробов?..*

Даль умолк, но подхватил Нащокин:

*О чём шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?..*

— Никогда не предполагал в своем друге талант декламатора.
— Пушкин отложил карты, поднялся. — Пора в дорогу. Жаль уезжать из Москвы, да в Петербург надо... Хочу Булгарина отлупить, а дубины в восемьсот вёрст длины в России нет, кроме графа Панина. — Он озорно подмигнул Нащокину. — Всё будет хорошо, Войныч. Мы будем старые хрычи, жёны наши будут старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, весёлые ребята; мальчишки начнут повесничать, а девчонки — сентиментальничать, а нам то и любо.

Нащокин протянул Пушкину коробочку, тот раскрыл её и увидел тоненькое кольцо с бирюзой.

— Это тебе талисман от нас с Верой... — Нащокин был смущён.
— От насильственной смерти... Носи, не снимай.

Пушкин надел кольцо на палец, задумчиво произнёс:

— Я смерти не боюсь, Войныч, ибо знаю великую тайну... Однако за подарок спасибо...

Дорожки, протоптанные секундантами, образовали чёткий крест, по концам которого замерли четверо участников поединка. Данзас подал сигнал сходиться. Пушкин посмотрел на свою руку: экая жалость, именно сегодня он оставил кольцо дома... Перекрестившись, он решительно двинулся вперёд, первым достиг своего барьера, встал вполоборота к противнику, поднял руку с пистолетом вверх. Он ожидал, когда Дантес приблизится к барьеру.

Фигура белоголового кавалергарда приближалась, наплывала медленно, лениво, словно во сне. На устах француза играла странная улыбка, пистолет в его вытянутой руке казался направленным долу.

Непогода к вечеру утомилась совсем. Солнце, достигнув горизонта, посылало прощальные лучи. Ветерок вздымал искрящуюся в закатных лучах поземку. Заиндевелые ветви деревьев были недвижны. Величественный покой, разлитый в природе, словно говорил: «Нет... Не здесь... Не сегодня...» В душе поднималось светлое чувство радости бытия, восторга от сопричастности великой гармонии, царящей вокруг. Пушкину казалось, что улыбка на устах идущего ему навстречу человека свидетельствует о том, что и он испытывает те же чувства. Он не поднимает своего пистолета выше уровня ног..

Раздался внезапно выстрел. Пушкин ничком повалился в снег.

Подбежавшие секунданты увидели, что подле поверженного Пушкина расплывается пятно алой, горячей, прожигающей белизну снега крови.

Он поднял голову, открыл глаза, залепленные слезами, попытался улыбнуться:

— Я думаю, что у меня раздроблено бедро.

Видя, что противник жив, Дантес в оцепенении начал приближаться к Пушкину... Но, сделав несколько шагов, он остановился, словно натолкнувшись на невидимую преграду. Собрав все свои силы, в упор глядя на Дантеса, Пушкин внятно произнёс по-французски:

— Вы здесь не для того, чтобы помогать мне, но чтобы убить меня... Станьте на место! У меня ещё достаточно сил, чтобы сделать мой выстрел...

* * *

На рауте у датского посланника графа Фикельмона, улучив момент, когда плечистая графиня Нессельроде отошла от своего щедедушного супруга, беседовавшего с бароном Геккерном и объявившимся в Петербурге постаревшим за прошедшие годы князем Суццо, Пушкин возник на её пути, громко произнёс:

— Я не хочу, графиня, чтоб жена моя ездила туда, где я сам не бываю.

— О чём вы, господин Пушкин? — спросила графиня по-французски, приняв невинно-удивлённый вид и стараясь ретироваться от бестактного пиита.

Но Пушкин повысил голос:

— Подождите, Марья Дмитриевна, я ещё не всё сказал.

Опасаясь скандала, графиня вынуждена была задержаться.

— Вы что, графиня, русского языка уже не понимаете? Я запрещаю вам играть в отношении моей жены роль сводни, которую только и могли дать вам в Аничковом дворце, и таскать её туда без моего ведома. — Пушкин, повернувшись к ней спиной, направился к Жуковскому, сказал ему, кивая на Нессельродиху: — Эта брюшистая, грудастая труперда превзошла своего папашу, взяточника Гурьева. Она не только сводничает, но и руководит интернациональным ареопагом.

— Здравствуйте, господин Пушкин. Не узнаете меня? — Из толчеи выплыло лицо поседевшего и потрёпанного бывшего молдавского господаря.

— Не имею чести, — сухо ответил Пушкин, хотя, конечно, признал эту незабываемую личность.

— Князь Суццо... Пятнадцать лет назад мы встречались в Кишинёве. Вы были у меня вместе...

— С полковником Пестелем! — подхватил Пушкин.

— Да-да, но прошу вас, тише, — смутился князь. — Видите ли, я теперь являюсь посланником Греции во Франции. И наши общие друзья в Париже...

— Вы знакомы с моими друзьями в Париже? — удивился Пушкин.

— Не только друзьями, братьями... Господа Шамбоно, Майглер, Миттергофер...

— Брат у меня один: штабс-капитан Лев Сергеевич Пушкин, других братьев никогда не имел.

Пушкин был резок, давая понять, что не намерен далее продолжать разговор, но Суццо не отставал:

— Однако вы с полковником Пестелем помогли нам тогда, и ваше правительство вряд ли похвалило бы вас, узнав об этом.

— Напрасные старания, князь. — Пушкин рассмеялся. — Ведь мы с полковником Пестелем вас тогда обманули. Он доложил императору Александру наше общее с ним мнение, что поднятое вами восстание в Молдавии играло на руку лишь туркам, дав им повод расправиться с истинно народным движением, с людьми, видевшими своего грядущего освободителя в русском народе, а не в вас, кого посадили на молдавский престол турки. Но и вы, князь, были лишь пешкой в игре европейской мрази.

Теряя самообладание, багровея, бывший господарь прошептал:

— Ваш Пестель уже поплатился за это головой. Берегитесь и вы...

* * *

— Станьте на место! — сказал Пушкин, собрав последние силы. Дантес попятился назад, переступил шубу, обозначавшую барьер, встал на свою позицию, потом, спохватившись и нарушая дуэльный кодекс, изменил положение, в котором он был в момент выстрела, повернулся боком, закрыл пистолетом голову.

Данзас вложил в протянутую Пушкиным руку другой пистолет и, подобрав оброненное им оружие с набившимся в дуло снегом, поспешил отойти в сторону.

Пушкин выстрелил.

Фигура противника рухнула в снег.

— Bravo! — сказал Пушкин, отбрасывая пистолет. — Убил ли я его?

— Нет, вы его ранили, — сказал Данзас, помогая Пушкину перевернуться на спину.

— Странно, — признался Пушкин, глядя в глаза своего лицейского товарища, — я думал, мне доставит удовольствие его убить, но я чувствую теперь, что нет... — Он поморщился от боли, потом начал терять сознание, падать, погружаться в бездонный чёрный колодец...

* * *

Верхние пуговицы мундира Государя были расстегнуты, что свидетельствовало о его особом расположении к гостю. Николай Павлович пил чай из своей любимой большой позолоченной чашки и продолжал доставлявшую ему явное удовольствие беседу:

— Между прочим, именно мой прадед Петр Великий первым привлек иностранцев к управлению державой, и они верно служили ему.

— К несчастью, он первый и уравнил их права с правами наших старинных дворян. — Пушкин шутливо улыбнулся. — Впрочем, все Романовы уравнители и... революционеры.

— Ты меня жалуешь в якобинцы! Благодарю.

— О нет, Ваше Величество. Я только хотел сказать, что дворянство должно быть ограждено и недоступно иначе, как по вашей монаршей воле. Вы должны стоять выше всех и даже выше самого закона, но лишь вы один. Государство без полномочного монарха — автомат: много-много, если оно достигнет того, чего достигли Соединенные Штаты. А что такое Соединенные Штаты? Мертвечина. Человек в них выветрился до того, что и выеденного яйца не стоит. Их просторы будут застроены торгашами, для которых власть денег будет превыше всего...

— Однако я вижу, что взгляды твои на монархию переменились.

— Так ведь одни глупцы не меняются, — Пушкин вздохнул, — да мои литературные недруги, кои находятся на содержании Третьего отделения.

Государь поднялся, начал застегивать пуговицы, что означало завершение беседы, внушительно произнёс:

— Служба сия отменно важна: она обеспечивает безопасность государства и следит за порядком в нём.

— Плохо следит, Ваше Величество, — возразил Пушкин. — Атакуют и грабят даже под вашими окнами на Дворцовой площади. Полиция, видно, занимается политикой, а не ворами и мостовую...

Когда Пушкин вышел от Государя, министры, топтавшиеся по ковру приемной, разом смолкли и оборотили на него свои взоры. Шествуя сквозь сановный строй, Пушкин отметил, что министры Нессельроде и Уваров поспешили сделать вид, будто не замечают его. Граф Бенкендорф, напротив, сам выступил навстречу поэту.

— Покорнейше благодарю, ваше сиятельство, за милостивое дозволение посещать особые архивы. — Пушкин поклонился.

— Благодарите Государя, Александр Сергеевич. — Граф улыбнулся и конфиденциально прошептал: — Вы видели, как на вас разобиделся министр Уваров?

— За что же он обиделся?

— А ваши стихи про «Лукулла»?.. «Жену обсчитывать не буду и воровать уже забуду казенные дрова», а? — Бенкендорф лукаво улыбнулся. — На кого это написано?

— На вас.

Александр Христофорович удивленно округлил глаза.

— Вот видите, — улыбнулся Пушкин, — вы не верите. Отчего же другой верит, что это на него?

В этот же день вице-канцлер Нессельроде, министр Уваров и граф Бенкендорф повели открытую атаку на Пушкина пред лицом Государя, обвинив его в том, что он является главой «демагогической партии», не уважает законы и установленные порядки, не является ко двору в положенном его чину мундире, дискредитирует в печати высших должностных лиц государства... Гнев министров поддержал и «случайно» оказавшийся тут принц Прусский...

Нагнав Данзаса, идущего рядом с санями, везущими раненого Пушкина, д'Аршиак негромко сказал:

— Месье Дантес предлагает вам скрыть ваше участие в дуэли.

— Нет, — ответил Данзас, — я не могу покинуть его. Уезжайте...

Уже совсем затемно добрались наконец до дома на Мойке. Напутствуя Данзаса, Пушкин задержал его руку, попросил:

— Если жена моя дома, предупреди её и скажи, что рана неопасна... Пришли людей, чтобы вынесли меня. — И уже вдогонку: — Постарайся не испугать жену.

Изнурённый кровавой дорогой и нестерпимой болью, Пушкин снова потерял сознание...

* * *

Русоволосый кавалергард Дантес танцует с царицей бала Натальей Николаевной Пушкиной. «Как они восхитительны...», «Как они подходят друг другу...», «Какой у них счастливый вид...» Их разглядывают, обсуждают, они в центре всеобщего внимания. Только Пушкин, кажется, совершенно безучастен к происходящему, зевая, прохаживается с Жуковским вдоль колонн, хотел взять с подноса лакея мороженое, но тот, мерзавец, обнёс его, пытаясь ублажить более сановных лиц. Видя это, Жуковский решительно остановил другого лакея и взял с его подноса пару вазочек.

— Эх, неволя, неволя, боярский двор, — вздохнул Пушкин, — стоя наешься, сидя напишься. Надо бы уехать из Петербурга в деревню. Сердце покоя просит. Поля, сад, крестьяне, книги, труды поэтические... Семья, любовь, религия... смерть... Да денег нет на переезд. Моего «Пугачева» публика бранит, а что ещё хуже — не покупает. Да и журнальные дела не пускают из Петербурга. У меня душа в пятки уходит, как вспомню, что я журналист. Ведь это всё равно, что золотарь: очищать русскую литературу — это чистить нужники и зависеть от полиции. Ни у кого нет столько цензоров, как у меня. Чёрт догадал меня родиться в России с душой и талантом.

Дантес танцевал ловко, элегантно вёл свою красивую партнёршу. Выпавший из её рук платочек кавалергард ухитрился подхватить на лету и вернуть даме.

— Уехать? Думаете ли вы об этом? — спросил Дантес, когда танец сблизил его с партнёршей. — Я этому не верю, — продолжал он при новом схождении. — Вы этого не намеревались сделать...

Наталья Николаевна ничего не отвечала, глядя своими милыми близорукими маслинами глаз куда-то вдаль, мимо кавалера...

— Чаадаев хочет напечатать свое философическое письмо. — Жуковский снял с проплывающего мимо подноса ещё пару вазо-

чек с мороженым, протянул одну Пушкину. — Но цензура вряд ли пропустит.

— Ворон ворону глаза не выклюет. — Пушкин с аппетитом принялся за вторую порцию. — Чаадаев лишь открыто сказал то, что думает о нас, о России вся эта иноземная стая. Разве наша история — лишь бледный, полузабытый сон? Я не согласен с Чаадаевым. Да, мы не принимали участия в событиях, потрясавших Европу. Но России было определено своё, высокое предназначение: её необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы. Варвары не осмелились оставить у себя в тылу поработленную Русь и возвратились на степи своего Востока.

...Очередной танец Наталья Николаевна танцевала с самим Государем, в почтительно образованном для них кругу.

...Пушкин поставил на поднос вазочку:

— Я тоже далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя, но клянусь честью, ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, как нам Бог её дал.

Дамы и господа, стоявшие впереди, расступились, и Государь подвел к Пушкину разбурмакившуюся Наталью Николаевну.

— Благодарю, Пушкин, — поклонился Николай Павлович. — Получай свою жену целой и невредимой.

Император отошёл, и любопытная публика снова сомкнула свои ряды, высматривая дальнейшие действия самодержца.

— Государь наш неотразим, — заметил Жуковский.

— Хорош-хорош, — поддержал его Пушкин, — а на тридцать лет в России дураков наготовил.

Александр Сергеевич с интересом наблюдал, как граф Нессельроде представлял Николаю Павловичу князя Суццо, как мило беседовали принц Прусский и посланник Луи Беверваард Геккерн...

Близ арки пушкинского дома на Мойке выходит странный незнакомец в чёрной шинели. Перейдя дорогу, он медленно бредёт вдоль парапета набережной, заглядывая в окна.

Пушкин с интересом наблюдает за ним: видит, как незнакомец садится в поджидавшие его сани и уезжает, но на его месте

оказывается другой, странным образом похожий на него человек. Он так же не спеша бредёт по набережной, поглядывая на окна. Пушкин задёргивает портьеры и склоняется над столом.

Господи, сколько же новых счетов доставила утренняя почта: от каретника, булочника, свечного торговца... К длинному столбику цифр, выписанных на отдельный лист, Пушкин добавил скрипучим пером ещё три, подвёл черту. Получив солидную пятизначную цифру, присвистнул и отбросил перо. Взяв в руки письмо без обратного адреса, взломал печать, вынул письмо и сложенный пополам лист: «Диплом на звание рогоносца». Пробегая глазами витиеватый лакейский почерк, он вслух повторял трудно разбираемые слова письма:

— «...Из уважения к вам...», «...компрометирует себя и вас...», «...неподобающе, светской даме...», «...ваша младшая дочь...» ...Какая мерзость! — Он в гневе отшвыривает письмо, переводит взгляд на висящий перед ним на стене портрет его нежной, красивой Наташи...

— Он безумно любит вас. — Настигнув Наталью Николаевну у дверей зала, рыжий нидерландский посланник преградил ей дорогу. — В порыве отчаяния он готов наложить на себя руки. Почему вы так холодны и бессердечны?

— Господин барон, я не понимаю... — Наталья Николаевна отступала, ища глазами мужа.

— Вы могли бы уехать за границу под моей дипломатической эгидой и там соединиться с ним. Вас ждет самая заманчивая будущность.

— Вы забываетесь, господин барон, я замужем...

— Этот развратный человек недостойн счастья иметь вас женой. — Геккерн упорно стоял на пути Наталии Николаевны, не давал ей пройти. — Откройте свои глаза: ведь он изменяет вам... с вашей сестрой, мадемуазель Александриной! Вы просто обязаны отомстить ему...

— О боже! Вы сошли с ума! Да пропустите же меня, барон! Меня ждёт муж.

Вывавшись из плена, Наталья Николаевна стремглав сбежала вниз по лестнице.

— Наконец-то, Наташа. Я уж хотел за тобой подниматься. — Пушкин, уже одетый в шубу, подал жене её накидку. — Правда, наш экипаж всё не подают. Верно, комендант Мартынов снова посадил нашего Ваньку на губвахту. Уж полвека комендантское место занято дураками, но такой скотины, каков Мартынов, мы ещё не видали.

Военная молодежь, стоящая вокруг, дружно загоготала. Слуга в ливрее громко прокричал:

— Карету господина Пушкина!

— Какого Пушкина? — раздалось в ответ.

— Сочинителя, — уточнил лакей.

Пушкин недовольно поморщился и повлёк жену с крыльца.

Стоящие невдалеке, за цепью жандармов, люди закричали:

— Пушкин! Пушкин! Браво, Пушкин!

Смущённый Александр Сергеевич, помахав толпе рукой, поклонился и последовал за Натальей Николаевной в экипаж.

Внебрачная дочь одного из знатных вельмож, Идалия Полетика, сидя в своей карете, видела, как мимо бежали люди, кричали: «Кто, кто там — император?» — «Нет — Пушкин! Пушкин!» Видела ненавистную чету, проплывшую мимо, в окне своего экипажа. Идалия отпрянула назад, в тень, чтобы не встречаться с ними глазами. Дверца открылась, и Дантес, воровато оглядываясь, впрыгнул, опустился на сиденье подле. Ни слова не говоря, он распахнул её шубу и запустил руку за вырез декольте.

— Мой любимый, — шептала Идалия, — потерпи до завтра... завтра...

— Завтра ты должна пригласить к себе мадам Пушкину.

— Опять эта кукла. — Идалия отстранилась. — Долго ещё мне терпеть её провинциальную русскую дурость?

— Завтра эта комедия должна закончиться. — Жорж привлёк к себе обидевшуюся Идалию, приласкал. — Ты проводишь её в свою спальню и удалишься. Большого я тебе сегодня сказать не могу. За все в этой жизни приходится платить. Пока мы, к сожалению, бедны... Но завтра я сорву мой банк! Слишком многое поставлено на карту. Завтра ты лишишься «соперницы», я — «любовницы», а месье сочинитель — своего сокровища...

Забавляясь с детьми, он забывал обо всем: ползал с ними по ковру, показывал фокусы, подбрасывал Гришеньку высоко к потолку. Сын смеялся, просил: «Ещё! Ещё!» Потом отец прятался, а дети искали его, и не было предела их радости, когда они находили отца. Убежав прятаться в спальню, стоя за портьерой, Пушкин поднял с пола обронённую ленту и какую-то скомканную записку, развернул её; записка была подписана именем «Жорж». В нижнем, незакрытом ящике секретера лежало ещё несколько записок, подписанных тем же именем, и несколько анонимных. В раздумье Пушкин прошёл в свой кабинет, развернул полученное накануне письмо с «дипломом рогоносца» и вдруг, вскочив, ринулся вон.

— Каким образом, господин барон, в моём доме оказались письма, написанные вашей рукой? — Пушкин был решителен, бледен, но говорил совершенно спокойным, холодным тоном.

Ординарец, проворонивший незваного гостя, виновато топтался в дверях. Александр Трубецкой поспешил ретироваться из комнаты и увести ординарца. Дантес явно не ожидал подобного поворота событий, растерянно глядел на Пушкина, протянувшего ему записки и письма. Овладев собою, Дантес взял их, посмотрел и наконец ответил:

— Они не должны задевать вас. Госпожа Пушкина соглашается получать их только для передачи своей сестре... на которой я намерен жениться.

Теперь настала очередь удивляться Пушкину. Он твердо сказал:

— Так исполните своё намерение.

— Семья моя не дала мне своего согласия...

Дантес хотел было сказать ещё что-то, но Пушкин резко произнёс:

— Так добейтесь его. — Поклонившись, он стремительно покинул комнату.

* * *

...Открыв глаза, Пушкин видит лицо своего старого, верного дядьки; в его глазах слёзы. Никита Тимофеевич вносит его на руках в прихожую, с укором и дрожью в голосе приговаривает:

— Как же, Александр Сергеевич... Как же вы...

— Грустно тебе нести меня?.. — Пушкин попытался улыбнуться. Он видит испуганные лица слуг, вбежавшую в прихожую растерянную Наталью Николаевну, опережая готовые сорваться с её уст слова, спокойно говорит ей:

— Рана моя вовсе не опасна. Ты иди к себе. Я потом позову тебя.

Остолбнев, она со страхом смотрит, как Пушкина несут вверх по лестнице, а губы её непроизвольно шепчут: «Нет!.. Нет!.. Нет!..»

...Утро выдалось скверным: дождик моросил вперемежку со снегом, и ветер заставил дам взяться за шляпы, едва они вышли из кареты и направились к дому. Идалия Полетика, держа под руку Наталью Николаевну, непрестанно щебетала, отвлекая её внимание от происходящего вокруг. Близорукая Пушкина не заметила ни дворцового экипажа, стоящего поодаль, ни странного человека в чёрной шинели, маячившего в беседке.

Войдя в дом и снимая у зеркала накидку, Наталья Николаевна спросила:

— Так зачем я тебе так спешно понадобилась?

— Поднимемся наверх, — Идалия явно нервничала, — за чашкой чая я всё тебе объясню...

Попросив гостью подождать в гостиной, Идалия вышла, приотворив за собой дверь. Не прошло и пяти минут, как разгневанная Пушкина выбежала из гостиной и, бросив на ходу: «Как это низко!» — устремилась вниз по лестнице.

Каково же было удивление Идалии, когда в гостиной, кроме Жоржа, она обнаружила ещё одного гостя — родственника императрицы принца Прусского, который гневно отчитывал Дантеса:

— Ты всё испортил! Ты должен был позвать меня!..

Пушкина, переодев во всё чистое, уложили на красном диване в кабинете. Когда приехавшие врач Задлер и акушер Шольц осмотрели рану и Задлер поспешил за нужными инструментами, Александр Сергеевич громко и ясно спросил:

— Что вы думаете о моей ране?

— Не могу вам скрывать, что рана ваша опасная. — Акушер Шольц не хотел обнадеживать страдальца.

— Скажите мне — смертельна?

Несколько смутившись, акушер огляделся и, видя, что в кабинете нет никого, кроме Данзаса, объявил приговор:

— Считаю долгом это не скрывать.

Пушкин потёр рукой лоб, закрыл глаза.

— Впрочем, я акушер, могу ошибаться... Услышим мнение Арендта и Саломона... За ними послали...

— Благодарю вас, — прервал его Пушкин, — вы поступили по отношению ко мне как... как честный человек. — Он снова потёр лоб рукой. — Мне надо привести в порядок мои дела...

Он заворожённо смотрел на танцующий перед ним на столике огонёк свечи и видел другой огонь — пламя щедрого нащокинского камина... Видел лица своих друзей... Войныча, Языкова... Даля... Жуковского... Пушкин перевёл взгляд на книжные полки над своей головой и, словно прощаясь с ними, сказал:

— Прощайте, друзья!

— Что? — переспросил Шольц, меняя компресс на ране.

— Мне кажется, что много крови идёт.

— Теперь крови мало. — Шольц поправил одеяло. — Вы желаете кого-нибудь видеть?

— Разве вы думаете, что я часу не проживу? — улыбнулся Пушкин.

— О нет, не потому, но я полагал...

— Позовите Данзаса, — попросил Пушкин.

— Я здесь. — Данзас склонился над другом.

— Возьми перо. Запиши все мои долги... Нет, погоди, — остановил его Пушкин. — Дай с полки вон ту шкатулочку. Открой... там кольцо с бирюзой... Талисман от насильственной смерти, подарок Нащокина. — Пушкин взял кольцо, посмотрел на него, грустно улыбнулся. — Экая беда! Сегодня я не надел его. Возьми. — Он протянул кольцо смутившемуся Данзасу. — Носи, не снимай... Я не хочу, чтобы ты мстил за меня... Они тебя тоже убьют...

В кабинет вместе с приехавшим доктором Арендтом ворвалась Наталья Николаевна. Она устремила к постели мужа, встала пред ним на колени, взяла его руку.

— Будь покойна, мой ангел, — нежно произнёс Пушкин, — ты невинна в этом... Это дело, которое касалось одного меня.

Он улыбнулся и поцеловал руку жены. Она в ответ прижалась губами к его руке, готовая разрыдаться.

— Ступай, душа моя, и не тревожься. — Александр Сергеевич глазами попросил Данзаса увести жену. — Я позову тебя потом.

Проводив Наталью Николаевну, Данзас впустил в кабинет возвратившегося Задлера и доктора Спасского. Новый осмотр причинил Пушкину новые муки, но снова он не проронил ни звука, поражая своим мужеством медиков, знающих о том, какую непереносимую боль должно причинять подобное ранение.

— Не стыдитесь своей боли, стоните, — советовали доктора. — Вам будет легче...

— Нет, не надо стонать, — улыбался Пушкин, — жена услышит... И смешно же, чтоб этот вздор меня пересилил... Не хочу...

Он стиснул зубы, закрыл глаза. Он терял сознание. Но и там его преследовали навязчивые тени: лица Дантеса и Луи Геккерна, князя Суццо и супругов Нессельроде, принца Прусского, странного незнакомца в чёрной шинели...

Он летел, плыл по коридору за массивной фигурой в генеральском мундире. У заветных, инкрустированных перламутровой мозаикой дверей генерал обернулся, оказавшись графом Бенкендорфом. Он улыбнулся и, отворив дверь, пригласил за собою...

— Мне доложили, что ты, Пушкин, вызвал на дуэль поручика-кавалергарда... — сухо произнёс император вместо приветствия, взглядом уточняя у Бенкендорфа фамилию.

— Барона Геккерна, — не замедлил с ответом Александр Христофорович. — Дантеса.

— Не скрою, Ваше Величество, я послал вызов этому субъекту с двумя именами... и тремя отчествами.

Государь не мог скрыть улыбки, но тут же принял строгий, холодный вид, произнёс:

— Разве ты не знаешь, что дуэли строжайше запрещены ещё со времён моего прадеда?

— Я дворянин, Ваше Величество. И для меня понятия чести святы.

— Если тебе жизнь не дорога, подумал бы о детях, о жене.

— О них я и думаю. Что, кроме честного имени, я могу им оставить? Распространяемая в свете клевета о жене моей марает

моё имя, принадлежащее не только мне, но всем моим славным предкам, моему Отечеству. Клевета — оружие низких людей, и вероятно, было бы разумнее не замечать их низость, но допустить, чтобы мою жену...

— Твоя жена добрая женщина, — прервал Государь, вставая и направляясь к Пушкину, — и я искренне люблю её. Как-то раз я разговаривал с нею о комеражах, которым её красота подвергает её в обществе. Советовал ей быть как можно осторожнее.

Пушкин почтительно склонил голову.

— Благодарю Вас, Ваше Величество, за добрые советы жене моей.

— Разве ты мог ожидать от меня другого?

— Не только мог, Государь, но, признаюсь откровенно... — Пушкин покосился на стоявшего рядом графа Бенкендорфа, присутствие которого его явно тяготило.

Уловив взгляд Пушкина, Николай Павлович решил сократить неловкую паузу.

— Александр Христофорович, — обратился он к шефу жандармов, — мы сейчас закончим. Распорядитесь, чтобы готовили мой выезд. Продолжай, — сказал Государь, едва за Бенкендорфом закрылась дверь.

— Признаюсь откровенно, Ваше Величество, я и вас самих подозревал в ухаживании за моею женою. До меня старательно доносили сплетни об этом. Видно, кто-то не на шутку захотел лишить меня Вашего доброго отношения и дружбы...

С первым же боем часов император заторопился.

— Прошу Вас, подождите, Ваше Величество. Я чувствую, что мы видимся в последний раз. Я хочу говорить с вами, не о жене моей — она ангел, и никакое подозрение коснуться её не может. Мои и Ваши враги хотят удалить меня от Вас, от престола, отлучить от жизни России.

— Опомнись, Пушкин. — Государь начинал терять терпение. — Какие твои и мои враги?

— Те, кому Отечество наше чуждо! — Убеждённость Александра Сергеевича, его решимость высказать всё до конца обезоруживали. — Те, кто печётся только о своей корысти, кто оттесняет и порочит преданное Вам и России дворянство, кто презирает наш народ,

вызывая его ответную ненависть, кто правит нашей страной, предавая её интересы, кто провоцирует новые возмущения...

— Ваше Величество, Ваш выезд приготовлен...

Только сейчас взволнованный Пушкин заметил стоящего в дверях графа Бенкендорфа, явно шокированного речью дерзкого пиита.

— Ты писал, что считаешь автором полученного тобою письма нидерландского министра, — сказал Государь, направляясь к выходу, но задержавшись подле Пушкина. — Дай мне это письмо, дабы я мог разобраться в этой истории и наказать виновного, кто бы он ни был. — Видя, что Пушкин не решается исполнить его просьбу, Николай Павлович, протянув руку, добавил: — Я верну тебе его.

Понимая, что отказ будет истолкован как неуважение к Государю и своеволие, Александр Сергеевич достал из кармана письмо и подал императору.

— Дай мне слово, что, если история возобновится, ты не вступишь к развязке, не дав знать мне наперед...

Закончив осмотр, Арендт сказал:

— По обязанности своей я должен доложить обо всем случившемся Государю.

— Скажите, что умираю и что прошу у него прощения за себя и за Данзаса, — попросил его Пушкин. — Оправданием поступка моего служит письмо, кое Государь обещал вернуть мне...

Выйдя из кабинета, Арендт сказал Спасскому:

— Очень плох, он умрет непременно. Я был в тридцати сражениях, видел много умирающих, но такого терпения, при таких страданиях никогда не встречал...

В передней собралось уже до десятка человек, среди них слуги, незнакомец в чёрной шинели. Взоры всех были обращены на лейб-медика.

— Константин, ты здесь? — позвал Александр Сергеевич Данзаса.

— Я не здесь, а на гауптвахте, — попытался сострить тот.

— Зажги лампаду.

Через проёмы книжной полки Пушкин внимательно наблюдал, как Данзас затеплил огонёк под иконой Спасителя, убережённой им в Михайловском от пожара.

— Я надеюсь прожить два дня, — словно приговор, произнёс он, задумчиво глядя на лик Христа. — Пожалуйста, не давайте больших надежд жене... Она не притворщица. Она должна всё знать, а то люди заедят её, думая, что она была в эти минуты равнодушною... Что Арендт, не возвратился из дворца?

— Пока нет. — Данзас поднес Пушкину стакан воды.

— Жду его с царским словом да с письмом, которое Государь должен возвратить мне... Тогда и умру спокойно. — Он приподнялся, преодолевая боль, зачерпнул в стакане ложечку воды, поднёс к губам. — Ну вот и хорошо, и прекрасно. Ты подсчитал долги... Сколько?

— Всего по счетам и распискам — сто двадцать тысяч.

— Боже! — горько усмехнулся Пушкин. — Бедная Наташа... дети... Надо послать за священником.

Данзас поспешил из комнаты, а Александр Сергеевич неотрывно смотрел через проём в книжной полке на икону Спасителя...

* * *

В белом платье с бархатным чёрным корсажем, переплетённом тесёмками, Наталья Николаевна занималась с детьми в их комнате, соседствующей с кабинетом мужа. Двери в кабинет были распахнуты, и дети, увлечённые забавой, то и дело забегали к отцу, который в своём неизменном красном архалуке с зелёными клеточками беседовал со слугою Никитой. И тогда старшая дочь, следившая за тем, чтобы отца не тревожили, выводила младших обратно в детскую.

— Сегодня на обед кое-как наскребли, — вздыхал Никита, — завтра и подать-то будет нечего. Продукты закончились, а в долг уж никто и давать не хочет.

Пушкин молчал. Покусывая перо, он задумчиво смотрел, как резвятся его дети, его Наташа... Вдруг, отбросив перо, он подхватил со стула баул и вышел из кабинета. Проходя через детскую, он приласкал жену и дочку и последовал в спальню, на ходу шутливо выговаривая Наташе:

— Говорят, душа моя, ты кого-то довела до такого отчаяния своим кокетством и жестокостью, что он завёл себе в утешение

гарем из театральных воспитанниц. Нехорошо, мой ангел, — сказал он, снова проходя через детскую, — скромность есть лучшее украшение вашего пола. — Он погрозил дочке пальцем. — По поднятию ресниц узнаётся расположенность женщины к шалости. Что брюхо твоё? — спросил он жену.

— Да всё слава Богу, — отвечала Наташа, с тревогой глядя на баул мужа.

— Ну вот и хорошо, и прекрасно, — отвечал он, устремляясь в гостиную и уже оттуда сообщая жене: — Эх, вижу, что непременно нужно иметь мне восемьдесят тысяч доходу... И буду их иметь!

...Он стремительно шёл по Невскому, то и дело раскланиваясь с прохожими. У дверей лавки ростовщика Шишкина замедлил шаг, огляделся и вошёл внутрь.

Присмотревшись к происходящему в лавке ростовщика, любопытный прохожий мог бы увидеть, как знаменитый Пушкин извлекает из баула различные предметы, а господин Шишкин, мгновенно прикинув их ценность, отсчитывает поэту ассигнации. Пушкину было явно не по себе, и он, не следя за отсчётом денег, озирался на витрину... Последними он извлёк из саквояжа несколько ложек, вилок и ножей.

* * *

...Отец Пётр, настоятель Конюшенной церкви, в полном облачении вышел из кабинета Пушкина. Глаза его были полны слез. Видя, что внимание присутствующих в комнате обращено на него, сказал:

— Исполнил долг христианский с благочестием...

— Раскаялся ли он в своём атеизме, батюшка? — раздался чей-то вопрос.

Священник поднял удивленный взор, оглядел собравшихся и, не найдя вопрошавшего, ответил:

— Для себя самого желал бы я такой кончины...

Возвратившийся доктор Арендт стремительно вошёл в комнату. Проходя мимо священника, поклонился и проследовал в кабинет.

Стоя над постелью Пушкина, Арендт мерил его пульс. Закончив, сказал, извлекая из кармана записку:

— Вот собственноручно написанное Государем...

— Читайте, — попросил Александр Сергеевич.

Арендт надел очки, развернул записку:

— «Если провидение решило, что мы не сможем больше увидеться, то заявляю вам, что я вас прощаю, и, если вы имеете желание показать мне вашу привязанность, вы последуете, умирая, заветам религии и доброго христианина, а я позабочусь о вашей жене и детях».

— А письмо?.. — Он протянул к Арендту руку. — Он вернул?

— О письме не было сказано ничего, — ответил Арендт.

Пушкин конвульсивно сжал руки, гримаса боли отразилась на его лице.

— Где письмо? — простонал он сквозь стиснутые зубы. — Отдайте мне письмо, я хочу умереть с ним! Письмо! Боже мой, Боже мой! Что это?! — Пушкин скорчился от непереносимой боли.

— Не волнуйтесь, Александр Сергеевич, прошу вас, — успокаивал его Арендт. — Я непременно испрошу у Государя письмо.

Боль начала отпускать. Пушкин выпрямился, тяжело вздохнул:

— Иван Тимофеевич, — обратился он к Спасскому, сидящему в кресле у стола, — откройте верхний ящик.

Спасский исполнил просьбу, выдвинул ящик.

— Видите сверху бумагу? — продолжал Пушкин. — Возьмите и сожгите её. Сейчас, при мне...

Домашний врач покорно поднёс бумагу к пламени свечи. Наблюдая, как огонь пожирает испещрённое плотными рядами букв письмо.

Александр Сергеевич произнёс:

— Моё последнее послание Государю... Теперь оно не нужно.

Сдувая со стола остатки пепла, Спасский спросил:

— Не угодно ли сделать ещё какие-либо распоряжения?

— Всё... Всё жене и детям... Принесите лёд... Внутри горит...

Слуга Никита побежал исполнять поручение, едва не столкнувшись в дверях с входящим в кабинет Жуковским.

По лицам людей, собравшихся в прихожей, пробежал страх ожидания, они шепотом спрашивали Никиту:

— Ну что? Как он?

— Плохо... плохо, — на ходу отвечал Никита.

В сенях он принялся судорожно колотить лёд, делая это так поспешно, словно именно от его действий сейчас зависела висевшая на волоске жизнь его хозяина. Никто не видел, как плачет над глыбой льда старый верный Никита...

А когда он с чашей, полной льда, возвращался в кабинет, оттуда уже стремительно выходил Жуковский...

К Государю его пропустили немедленно, сказав, что его величество ожидает.

— Извини, что я потревожил тебя в столь поздний час, — сказал император вошедшему Жуковскому.

— Государь, я сам спешил к Вашему Величеству в то время, когда встретился с посланным за мною.

— Ты от Пушкина? Как он?

— Он умирает. Только что он сказал мне: «Передай его величеству, что мне жаль умереть, был бы весь его».

Николай Павлович выслушал эту новость, посмотрел на Бенкендорфа и сказал:

— Он тревожится об участии Данзаса...

— Да, Ваше Величество, Пушкин просит за Данзаса, говорит: «Он невинен, я схватил его на улице...» Просит оставить его на свободе до совершения похорон...

— Я не могу переменить законного порядка, — прервал император. — Но сделаю всё возможное.

— Он очень тревожится о каком-то письме, переданном вашему величеству.

— Письмо на расследовании у Александра Христофоровича. Пусть не тревожится. Ведь я обещал ему разобраться в его деле и наказать виновных. — Государь решил переменить тему, улыбнулся. — Скажи ему, что я поздравляю его с исполнением христианского долга. О жене и детях он беспокоиться не должен: они мои. — Лицо Государя стало серьёзным, он подошёл к главной теме, ради которой так спешно ночью пригласил к себе Жуковского. — Тебе же поручаю, когда он умрёт, запечатать его бумаги. Ты после их сам рассмотришь. Предоставляю тебе самому сжечь всё, что

найдёшь предосудительного. — Император дал понять, что он более не задерживает гостя.

Жуковский поклонился и вышел. Когда дверь за ним закрылась, Николай Павлович сказал:

— Как же это вы, Александр Христофорович, недоглядели?..

— О дуэли я узнал слишком поздно, — невозмутимо произнёс граф Бенкендорф, — но тем не менее послал жандармов предупредить её.

— Только почему-то они поскакали в другую сторону. — Николай Павлович многозначительно и пристально посмотрел на шефа жандармов. — Вы нашли автора письма, которое Пушкин просит ему вернуть?

— Поиски внезапно осложнились. — Бенкендорф замялся, подыскивая слова. — Одним из лиц, прикосновенных к этой истории, оказался...

— Кто? — насторожился Государь.

— Родственник вашей супруги. Впрочем, его роль в этой истории известна немногим, и если вы прикажете...

Каким-то судорожным движением Пушкин поднял вверх руки, бессильно простонал:

— Вот как я утешен! Скажи Государю... — Он не договорил, безнадежно махнул рукой. Обратился к Далю, сидевшему подле него: — Даль, скажи мне правду, скоро ли я умру?

— Мы за тебя надеемся, Пушкин. Право, надеемся.

Александр Сергеевич крепко пожал его руку:

— Спасибо... Только мне здесь не житье... Я умру, да, видно, уж так и надо!.. Который час?

— Полночь, — сказал Данзас.

— Долго ли мне так мучиться! — горько усмехнулся Пушкин. — Пожалуйста, поскорее! — Он взял крупинку льда из стакана на полке, потёр им виски, приговаривая: — Вот и хорошо... и прекрасно... Кто у жены моей? Подите скажите ей, что всё слава богу, легко, а то ей там, пожалуй, наговорят... Ах, какая тоска... — Пушкин заложил руки за голову. — Сердце изнывает...

Закрыв глаза, он погрузился в забытие, очутился в комнате с тёмными стенами, на которых висели скрещенные шпаги. Обходя массивный круглый стол с сидящими за ним фигурами, он старался разглядеть хоровод проплывающих перед ним лиц: князь

Суццо... Павел Пущин... барон Луи Геккерн... Жорж Дантес... граф Нессельроде... Бенкендорф... дежурный генерал Клейнмихель... Их лица проплывали словно маски, и хоровод этот казался дьявольским наваждением...

Но вот стены чёрной комнаты исчезли, и пышное увядание осени в Царскосельском парке возникло как спасительное видение... Ягоды морошки в руках юной прекрасной Наташи... Пушкин ест с ладони жены, целует её перепачканные соком губы...

Вот он идёт, и вокруг та же величаява осень, только идёт он не по парку, а по погосту Святогорского монастыря. Вечернюю тишину кладбищенского покоя нарушают лишь звуки дальнего колокола да нежный женский голос, поющий знакомую песню. Вот родные могилы — дед, бабушка, мать... Как просторно душе среди этих вековых, покрытых жёлтым мхом камней, подле этих неукрашенных могил.

Пред ним проплывает его любимая Михайловская усадьба. Неужели он снова возвращается в этот дом?

Он плывёт по водам голубой Сороти... видит огни на берегу... хороводы... Песня звучит всё громче и отчётливей...

Пушкин открыл глаза, оглядел стены своего кабинета, словно не узнавая их, не узнавая людей, стоящих вокруг его постели.

— Что-то я не мог тебя узнать, — усмехнувшись, говорит он Далю. — Дай мне зеркало. — Поглядев на своё отражение и словно получив подтверждение своим чувствам, Александр Сергеевич махнул рукой. — Смерть идёт. Чувствую, как слабею. — И он снова закрыл глаза, погружаясь в полузабытьё.

Часы в кабинете ударили два раза. Пушкин раскрыл глаза, внятно произнёс:

— Принесите мочёной морошки... Позовите жену, пусть она меня покормит...

Опустившись у изголовья постели на колени, Наталья Николаевна поднесла к губам мужа ложечку ягод. Жуя ягоды, Пушкин неотрывно смотрел в глаза жены, словно спрашивал: «Ты помнишь?..»

— Помню... Я всё помню, — шептала Наталья Николаевна. — Ты будешь жить. — Она собирала ложечкой сок, текущий по его губам, потом приникла лицом к челу мужа.

Пушкин погладил её по голове, шепнул:

— Ну, ну, ничего, слава богу, всё хорошо.

Покидая комнату, она, радостная, говорила окружающим:

— Вот увидите, что он будет жить!

Пристально вглядываясь в лицо Пушкина, Даль шепнул:

— Отходит.

Данзас и Жуковский, стоявшие ближе остальных к постели умирающего, слышали это.

Вдруг, словно выплыв из дремотного забвения, Пушкин протянул Далю руку, попросил:

— Ну, подымай же меня... пойдём... да выше, выше... Ну, пойдём же, пожалуйста... да вместе!..

Он быстро раскрыл глаза. Лицо его совершенно прояснилось, он спокойно, с улыбкой произнёс:

— Кончена жизнь!

— Что кончено? — не расслышав, тихо спросил Даль.

— Жизнь кончена, — отвечал он внятно и положительно. — Тяжело дышать... Давит...

Отрывистое, частое дыхание переходило в более медленное, тихое, протяжное... Вот ещё один слабый, едва заметный вздох, и спокойствие разлилось по всему телу. И наступило то, последнее мгновение...

Долгожданный Великий Покой, несказанный Свет, некогда явившийся ему на берегу Сороти подле догорающего во прах остова деревянной постройки, из которой огненный столп возносился к небесам...

Сейчас снова появится прекрасный шестикрылый серафим, чтобы повлечь свободный дух к Божьему престолу... Как легко подниматься с одра, не чувствуя смертельной боли, парить над книжными полками кабинета... видеть на своём лице печать того беспредельного восторга, который вливается в душу, познающую тайну гармонии, восходящую к Богу... Видеть фигуры близких, склонившихся над телом...

— Аминь! — Даль останавливает маятник часов.

Стрелки показывали 2 часа 45 минут...

Крестятся собравшиеся в прихожей и в зале. Почему здесь так много жандармов? Они тоже крестятся...

Крестятся люди, стоящие в толпе на набережной Мойки...

Падают на окнах тёмные гардины...

Наталья Николаевна, стоя на коленях, склоняется лбом то к его губам, то к его груди, кричит:

— Я причину твоей смерти! Но Богом свидетельствую: я чиста душою и сердцем! Прости меня! Бедный Пушкин! Это жестоко! Нет-нет! Это не может быть правдой! — Она трясёт его тело, словно требуя ответа.

...Словно маски, проплывают лица, сидящие за большим круглым столом в таинственной комнате нидерландского посольства: граф Нессельроде, князь Суццо, принц Прусский, человек в чёрном...

— Жоржу не в чем себя упрекнуть, — говорит барон Луи Беверваард Геккерн, — его противником был безумец, решившийся на самоубийство и избравший руку Жоржа орудием для своего переселения в иной мир.

— Дорогой Жорж, — обращается к Дантесу вошедший в зал Трубецкой, — приходили от господина Пушкина, сказали, что, умирая, великий поэт простил тебя...

— Великий? — Дантес снисходительно усмехнулся. — Таких версификаторов, каким был Пушкин, в Париже — десятки... Впрочем, я тоже ему прощаю.

... Идя по дворцовой анфиладе, Государь на ходу отдавал Жуковскому распоряжения:

— Долги Пушкина заплатить. Заложенное имение отца очистить от долга. Вдове пенсия и дочерям — по замужеству. Сыновей — в пажи и по 1500 рублей на воспитание каждого по вступлении на службу. Сочинения издать на казённый счёт в пользу вдовы и детей. Выдать единовременно десять тысяч...

...В длинный, узкий деревянный ящик опускают очередную рукопись.

— Это тоже новое, — говорит Жуковский, — нужно непременно издать.

Дубельт не отвечает; он берёт в руки последний дневник Пушкина, в красном сафьяновом переплёте, и, заинтересовавшись содержанием дневника, откладывает его в отдельный баул, стоящий подле него.

— Запечатывай! — приказывает он жандарму.

Крышка ящика с грохотом затворилась. Жандарм покапал на дерево чёрного сургуча, и Дубельт приложил свою печать.

Такая же печать вмяла чёрный сургуч на закрытых дверях кабинета Пушкина.

...Жандармский капитан приказал трогаться и поскакал вперёд. За ним двинулись простые деревянные сани, на которых в сене, обернутый рогожами, подрагивал засмоленный гроб. Верный дядька Никита не давал сильно трясти тело хозяина, придерживал гроб обеими руками. Следом за ними тянулся экипаж с единственным сопровождающим. Предписание псковскому гражданскому губернатору гласило:

«Милостивый государь Алексей Никитич! Тело Пушкина везут в Псковскую губернию для предания земле в имении его отца. Имею честь сообщить Вашему превосходительству волю Государя императора, чтобы вы воспретили всякое особое изъявление, всякую встречу, одним словом, всякую церемонию, кроме того, что обыкновенно по нашему церковному обряду исполняется при погребении тела дворянина...»

Жуковский, Даль, слуги долго смотрели вослед скромному траурному обозу, удалявшемуся в снежную ночную мглу.

Поскрипывая и мотаясь в ледяных колеях, похоронные дроги волокли гроб через ночной Петербург. По набережным и мостам, по улицам и площадям, помнящим лёгкую поступь гения, пролегал его последний, прощальный путь. Мимо спящих зданий и дворцов, чугунных оград и памятников, воспетых его дивной лирой. Редкие тусклые фонари, впалые, чёрные глазницы окон... Город казался безразличным и холодным, безжизненным, словно привидение, окутанное невиданным снегопадом, обрушившимся в эту ночь на Петербург.

* * *

...Как странно, сиротливо выглядит в царящем вокруг оцепенении и беспамятстве слабый свет, льющийся из окна одного из петербургских домов. Там не спят...

Там юный корнет лейб-гвардии гусарского полка Михаил Юрьевич Лермонтов, с воспалёнными от бессонных ночей глазами, о чём-то страстно говорит собравшимся в комнате людям...

«Я буду каждый вздох и миг, пока живу, благословлять...»

ИВАН ВОЛЬНОВ

Поэма

Чтоб в наши дни писать поэмы
Наивность нужно сохранять:
В стихи, возвышенные темы
Кому теперь досуг вникать?
К тому же эрудит-читатель
Заметит: «Автор — подражатель,
Он графоман или нахал,
Размер «Онегина» украл».
Но не спеши бранить сурово,
В грехе я сам признаться рад:
Здесь — только формы плагиат.
А содержание будет ново.
Я никогда, признаюсь, прежде
Поэм пространных не писал,
И строй классический в надежде,
Что он поможет мне, избрал.
Но, взором внутренним окинув
Поэму, всё в уме прикинув,
Увидел, что не удержусь —
Не раз размером поступлюсь.
Скажи, возможно ль в наше время
Покой душевный сохранять?..
Нет! Мыслию не бунтовать
Не может суетное племя.

Итак, поэмы план готов.
Название — «ИВАН ВОЛЬНОВ».

1

Начнем с Иванова рожденья.
Вольнов открыл мне свой секрет,
Что будто помнит он явление
В пронзительный, кричащий свет.
Как потекли перед глазами,
Размыты первыми слезами
Тазы, халаты и столы,
Кружились стены и полы,
Мелькали лица, руки, стёкла:
Предметов хаос бушевал
И новым гулом удивлял:
За окнами Россия мокла...
Лечила раны вся страна:
Год, как закончилась война.

2

Назвали в честь отца Иваном.
Поскольку он четвёртым стал
Ребёнком, в общем-то, неожиданным,
«Поскребышем» отец прозвал.
Семья и так недоедала.
«Поскребышу» и горя мало:
Ел богатырски, был здоров
Иван Иванович Вольнов.
Семья на лето поселялась
В старинный загородный дом
С туманным полем и прудом.
Здесь сердце Вани пробуждалось.
Кто с первых дней природой жил,
Навечно сердце ей открыл.

3

Хотя спроси теперь Ивана:
«Ты помнишь детство?» Скажет: «Сон...
Мне память, полная тумана,
Детали открывает в нём:
Как босиком по глине топал,
Как брата-забияку шлепал,
С соседкой ползал нагишом
В сарае, от отца тайком...
И тайну охранял обманом...
А там, когда постарше стал,
Вино из рюмок допивал...
Но вряд ли был я хулиганом...
Я с одноклассником не дружил,
Но дружбой старших дорожил.

4

В пять лет, казалось, я — частица
Всего-всего большого дня...
Я должен в Мире раствориться,
Чтоб Вечность вновь вошла в меня...
Где сон, где явь ещё не видя,
Но, мнилось мне, судьбу предвидя,
Я вдумывался, вспоминал,
Бессмертье жизни понимал.
Себя считал я Богом или
Некоронованным царем,
Который вступит в бой со злом —
И победит! Чтоб люди жили
В согласье, мире и любви —
Ведь нет спасенья на крови...»

5

В Москве, в квартире коммунальной
Вольновы жили целый век.
То мирно жили, то скандально
Соседи — двадцать человек.
Обобществленная квартира:
Чреда у ванной и сортира,
Брань и смешение полов
На кухне у пяти столов...
Исчадь стирок в свете тусклом,
Застолия по вечерам,
Симфонья звуков — шум и гам
Армян, цыган, евреев, русских...
Смеялся, плакал, правил бал
И жил «интернационал».

6

Огромным замком в центре бойком
До революции владел
Богатый человек — Ханжонков,
Российский первый кинодел.
Многоэтажная громада
Украшенная вдоль фасада
Аркадой, башнями, резьбой
И керамической плитой.
Когда-то здесь подворье было
Древнейшего монастыря.
Изгнав монахов и царя,
Власть коммуналку заселила.
Но в этом доме каждый знал,
Что здесь Распутин проживал.

7

В разноплеменном хороводе
Иван уж начинал взрослеть,
Когда узнал он, что в природе
Есть странное понятие — «смерть».
Внезапно бабушки не стало,
Той, что Ивана целовала,
Ласкала больше всех внучат;
И вот — уста её молчат.
Кругом все плачут, а Ивану
Обряд трагический смешон,
Он думал: «Прах лишь погребён,
А бабушка незримой станет!
И если помнить и любить,
То будет она вечно жить!»

8

А вот в толпе, в Колонном зале,
Куда с отцом с трудом попал,
Иван, поскольку все рыдали,
Над гробом Сталина рыдал.
Пришла и радость вслед за горем:
Отцовский брат вернулся вскоре.
Седой, худющий, как скелет, —
Он дома не был десять лет.
Иван же справил семилетие.
Тянулись в школе без труда
Пятидесятые года —
Зигзаг двадцатого столетия.
Здесь бег рассказа замедлю.
Не бойтесь — вас не утомлю.

9

Уже развитие сюжета
Диктует, что руке писать.
Как сладко, несказанно это,
Художник сможет лишь понять.
Уходит робость начинанья.
Приходит радость созиданья.
Душа парит, забыв про сон.
Поймёшь, коль был и ты влюблён.
Теперь, я это твёрдо знаю,
Свою поэму сотворю!
Я вкус почувствовал, парю,
План вдохновеньем уточняю.
Поверьте — не отвлекся я.
Итак, Иванова семья:

10

Иван Вольнов — отец Ивана,
Князей потомок и купцов,
Дитя российских балаганов
И запорожских удалцов.
Дед с бабушкой служили сцене
И при царе, и в наше время:
Отец отца был комик, мать
Могла в трагическом блистать.
Наследник русского артиста
В душе о творчестве мечтал,
О музыке, но нарожал
Детей... И стал экономистом:
Он нарукавники надел,
Век за конторкой проскрипел.

11

Всю жизнь трудилась мать Ивана,
Российская святая мать:
Смогла пятнадцать душ сверх плана
Детей и внуков воспитать.
Мужик и красный комиссар,
Её отец низвергнул бар,
Цыганку вольную познал,
Украл её и в жены взял...
И появилась мать Ивана.
Россию стала возрождать:
Любить творить, терпеть, рожать —
И верить! Вот — Вольнова мама...
Однажды мне признался он,
Что матерью своей силен.

12

Ивана старший брат талантом
Уже в младенчестве блистал:
Был вундеркиндом-музыкантом,
С большим оркестром выступал.
Здесь перечень семьи вольновской
Закончим шуткою отцовской:
«Мой средний был — и так, и сяк,
А младший вовсе был дурак...»
Пред музыкой и скрипкой нежной
«Поскребыш» наш благоговел.
На людях взять смычка не смел,
Но при okazji прилежно
Со скрипкой брата на чердак
Влезал тайком «Иван-дурак».

13

И там в безмолвном упоенье
Он экзерсисы вспоминал:
Не зная устали и лени,
С восторгом брата повторял,
Обнявши скрипку, с антресоли
Он уносился ввысь, на волю
И суету не различал,
Коснувшись вечности начал.
Однажды дирижер услышал
Пассаж, посильный Паганини,
Который отродясь доныне
У итальянца только вышел.
Маэстро Ваню вниз спустил
И в свой оркестр пригласил.

14

С тех пор Иван уж всенародно
Искусством души ворожил.
В консерваторию свободно
Он без экзаменов вступил.
Яд лести лился в уши Вани:
«Ты гений! Баловень! Избранник!
Ты Божьей искрой одарён!
Не писан гениям закон!..»
Испивши яд хвалы бесплодной,
Художник гибнет иногда.
Ах, если б знали то всегда
Творцы гармонии свободной!..
Благодарю: прочли главу,
Кто не устал — вперёд зову.

15

Художник, если ты поэму
До этих пор не отшвырнешь,
То над главой про жизнь богемы,
Я обещаю: не уснешь.
Да, впрочем, только ли художник.
Сапожник... железнодорожник...
Да кто ж из нас не отдал дань
Вину, красавицам, «друзьям»?
В богеме многие тонули:
Пьянит и манит глубина,
И нежно сладострастье дна...
Со дна не многие вернулись.
И я там был. Мед-пиво пил,
Но, право, я ещё не всплыл.

16

Но я — не в счёт. Речь о Вольнове.
Для многих он кумиром стал.
Нужды не ведал в «добром слове»
И к «дружбе» льстивой привыкал.
Один музыковед-приятель,
Услужливый банкетодатель
Вольнова в гости затащил,
Флейтистку также пригласил.
Спасаться поздно было бегством:
Иван с флейтисткой сел юнцом...
Поднялся — бравым молодцом
И навсегда простился с детством.
Текли в познание без труда
Шестидесятые года.

17

Ивану часто говорили:
«Гляди-ка — Лермонтов живой!»
Похожестью Ивану льстили:
Поэта он любил душой.
Надменным, колким, озлобимым,
С душой ранимой, нелюбимым,
Себя он гордым почитал
И чуть не «Демоном» считал.
В любом пиру был нелюдимым.
Он только Правду признавал.
Лгунов на дух не принимал,
За что прозвался «нетерпимым».
Иван не признавал лишь месть.
И было Ване — двадцать шесть.

18

Пустое времяпровожденье
С «элитой» в дымных кабаках:
До тошноты ночные бденья,
Застолья в «творческих домах».
Компаний пошлое веселье,
Постель чужая, боль похмелья,
Но обожали пикники
Советских классиков сынки.
Один любитель куропаток
Легко доступных чредовал,
Легко и Родину сменял,
Как пару папиных перчаток.
Один ли он удрал «пожить»,
Не Родине — себе служить.

19

Где вы, собразники-ребята,
Володя... Гена... где Олег?..
История шестидесятых...
Хмельной, гитарный человек...
Петлю и раннюю могилу
Судьба Геннадию судила.
И гневный бард под землю лёг,
Блокаду тьмы прорвать не смог.
Отряд на марше расчленился.
Кто крикнул: «Зло не одолеть!»
Кто слабостью упился в смерть,
Кто дезертировал, кто сдался,
Кто подкрепления не ждал,
Но верил в Свет и наступал.

20

Плетя интригу разрушенья,
Уже который век подряд,
Враги спасенья, дети тленья
«Ин вина веритас!» кричат.
Чтоб богатырь не смел подняться,
С нечистой силой расквитаться
И с мировым сразиться злом,
Россию залили вином.
И там, где прежде медовуху
Вкушали в праздные деньки,
Пришелец насаждал шинки
И убивал мозги сивухой.
Так Бахус, грязный винодел,
Без боя Русью овладел.

21

С рожденья знают даже дети,
Что в мире есть добро и зло,
Но всем ли взрослым на планете
Понять различье повезло?..
Ах, если б в школе нас учили,
Мол, так и так — вот злая сила:
Хаос, вражда, безверие,
Разъединенье, тление...
Зло безысходностью пугает,
Твердит, что счастье лишь в деньгах,
Во власти, низменных страстях,
Усладой плоти развращает.
Коснёмся и добра примет:
Любовь и вера, радость. Свет.

22

Ночь проведя в божьем блюде,
Кто сможет чистоте служить?
И в мрачной комнате Иуды
О светлом Спасе говорить?
Обжорство, пьянство и похмелье,
Греха нечистое веселье...
Связь расторгая с Красотой,
Художник платит немотой.
Он звуки неба забывает —
И крылья в путах суеты
Не достигают высоты.
Гармония в душе смолкает...
И в сердце тления печать
Вольнов уж начал примечать.

23

Иван мечтал остановиться,
Унять бесовский жизни круг:
Или долой с него свалиться,
Или душой проснуться вдруг.
Неотменим закон Вселенной:
Иль к Свету, ввысь — иль в бездну тлена,
И каждый должен выбирать:
Добру иль злему присягать.
Но, к счастью, можем мы послушать
Что в эти дни Иван писал:
Бедняга тоже сочинял,
Оберегал стихами душу.
Вот исповедь его, друзья.
Размер сменить грозился я.

24

«Простите, что я слаб, несовершенен,
Что ни себя, ни вас я не спасу,
Что вас так мало я люблю,
Что ни оков не разорву,
Не встану на колени.
Что, видно, так и проживу —
Покуда не сгорю в геенне,
Или предчувствие души осуществлю:
Когда начнет без плоти длиться время
В Пространстве, в то последнее мгновенье.
Простите мне, что я уже старею,
Дерзаю мало и ленив душой,
Что больше благ других люблю покой,
Что Это, тайное, открыть вам не умею,
Что, как и вы, я — умерщвляю плоть,
Что не бегу греха и полного паденья,
Но пью за праздник, за гармонию, любовь,

Что за паденьем жду я возрожденья,
Что эту исповедь пред зеркалом писал,
Но отраженья так и не познал.
Я крал, прелюбодействовал и лгал,
Я пил вино, и я творил кумиров.
Отца и мать я мало почитал,
И я, быть может, многих убивал,
Хотя, поверьте, всем добра желал.
Познать паденье человека в мире,
Испить до дна... и заплатить собой.
Простите, если вас я обманул.
Я верен был лишь Истине одной».

25

Не раз я слышал от Вольнова:
«Поверь мне, в жизни я любил
Лишь мать, Россию, Правды слово...»
Он Истину боготворил.
Поди проверь... Легко ль занятье...
Туманно Истины понятие.
Быть может, Истин — миллион,
И в каждом сердце свой закон?..
Я лично — неуч в этой теме:
По мне, Светило далеко...
А так как Солнце высоко,
Вдруг Истина — одна над всеми?
Кто скажет правду нам, друзья,
Быть может, Вечный Судия?..

26

Иван дивился жизни в свете,
Так как с оркестром «выезжал»,
И мир — в трагическом балете

Он с болью в сердце познавал:
Потеря веры, культ наживы,
Гоненье Правды, буйство лживых,
Души забвенье, войны, стон,
Паденье, ад — со всех сторон.
Мир приближал свое крушение.
Однажды с корабля на бал
В курортный город он попал.
Но чтобы описать смятенье,
В котором пребывал Вольнов,
Приложим лист его же слов:

27

«Манят женские шафраны.
Сняты лифчики для страсти.
Дев заезжих караваны
Взором знойным ищут счастья.
Ницца — Мекка сладострастья,
Шанс последний на везенье,
Женский вопль о несчастье
И не-у-до-вле-тво-ренье.
Разнобой магнитофонов,
Шлягер пошлый, ресторанный,
Жернова аттракционов,
Чад агоньи полупьяной.
Взоры алчущие беса
Жалят встречного собрата.
Насыщает поднебесье
Смрад всемирного разврата.
Где единство и родство?..
Ненаглядный идеал?..
В лицах — плоти торжество,
Сатана в них правит бал!
И вершит грехопаденье
В откровенный взор блудниц,

Позабывших, что спасенье —
Стыд опущенных ресниц.
В погибающем Содоме,
В восхитительной Помпее,
У вулкана на ладони
Люди так же сатанели...»

Теперь нам не унять Вольнова —
Назрело откровенья слова!
От исповеди грех бежать...
Вот что он хочет нам сказать:

28

«...Я несправедливо живу:
Мясо ем, курю и пью,
Обольстительниц люблю,
Рамок — не терплю.
Недозволенно живу:
В празднике тону,
И не знаю — я всплыву
Иль пойду ко дну.
Независимо живу:
Изредка творю,
Гнёт судьбы — не признаю,
Свою песнь пою.
Возмутительно живу:
Лживым не служу,
Нетерпимым я слыву,
Брата не щажу.
Но зато, как я живу,
Сотню раз на дню
Сам себя в душе распну,
Горестно вздохну..
И — наполню светом грудь,
Разгоняя тьму:

Все грехи свои сожгу
Я когда-нибудь!
Несказанно заживу,
Сердце утолю,
Не обижу, не пролью
Я слезу ничью.
Верю я в свою звезду.
Жизнь благодарю.
Чистоту боготворю.
Возрожденья жду...»

29

Не ожиданье, а усилие
Помощник истине, дружок:
Положишь камень — и бессилен
Преодолеть его поток.
Но час потехе — делу время:
Пора бы, братец, сбросить бремя,
Всем сердцем светлому служить,
Когда во тьме несносно жить.
Один ленивец собирался:
«Вот завтра — баньку истоплю!
Сегодня же чуток посплю!...»
Он так грязнулей и скончался.
И чтоб пример не повторить,
Пора бы баньку истопить.

30

Глава падения Ивана
Даётся мне не без труда:
Ведь нужно избежать обмана,
Для чистых сердцем без вреда.
Двадцатый век плодит «поэтов»,

Которым наплевать на это,
Что будут дети их читать
И грязь их к сердцу приобщать.
Пусть каждый в меру развращения,
Припомнит все грехи свои
И облегчит труды мои
По описанию паденья.
Быть может, лишний раз вздохнёшь
Раскаешься — и жизнь спасёшь.

31

Как блудный сын Иван являлся
В старинный загородный дом.
Здесь мать жила. Здесь исцелялся
Вольнов родительским теплом.
Здесь всё ему напоминало
Рождение — дивное начало...
Когда себя осознавал,
Бессмертной жизнь свою считал.
Здесь мама пела ночью длинной...
Черёмухой он пачкал рот...
Лес... соловьи... и огород...
И шишки в самоваре дымном...
Пруды... туманы... и поля...
Россия... Родина моя.

32

Стоял... смотрел... припоминая,
Один среди голубых полей.
Недвижим, сердцем замирая,
Вникал в слова души своей.
Освобожденное сознание
Готово было мирозданье

Всё-всё до капельки вместить
И всё вокруг он мог — ЛЮБИТЬ!
И был он лёгок и свободен,
И голос сердца воскрешал
Слова возвышенных начал;
Вновь был он чист и благороден.
С тех пор прогулки принял он,
Как ежедневный моцион.

33

В Москве, в Коломенском старинном
И вдоль Москвы-реки бродил...
Герой тут в кооперативном,
Крупнопанельном доме жил.
Гудел шестиподъездный улей
Ветрами, сотнями кастрюлей,
Дрожал, дивил контрастом он:
То — лифта гром, то — страстный стон.
И дом, раскрашенный огнями,
Смеялся, пил, аккорды брал,
Скандалил и детей качал...
Плыл, как корабль в океане.
Корабль Иван увидеть мог,
Нырнув за борт, через порог.

34

Свои прогулки-монологи
Он год уже не пропускал:
Смирял волненья и тревоги,
Под звездным небом размышлял,
Беседовал с восторгом тайным
С самим собой и мирозданием...
Учился рифы проплывать,

Свой челн волнам не дать швырять,
Срывал с пороков покрывало
И с беспощадностью судьи
Казнил провинности свои,
Чтоб Правда лишь торжествовала.
А дома, выпив чай, вздыхал
И, улыбнувшись, засыпал...

35

...И снился дивный сон Ивану:
Он свой корабль оставлял...
И Золотому Океану
Спокойно душу доверял...
Струились радужные блики...
Всплывали солнечные лики...
Здесь были все, кого он знал...
А знал он — всех!.. Всё понимал!..
Сиянием восторг разлился...
И в нём торжествовал Иван,
Безмерный, словно Океан!..
...Он, полный Света, пробудился
И радостным назвал тот Сон.
Та радость и поныне в нём.

36

С тех пор герой наш изменился,
И это каждый отмечал.
Он и лицом преобразился —
В глазах его огонь сиял.
По лестнице метро однажды
Он ехал, а куда — неважно,
В чреде сограждан вниз он плыл,
За вверх плывущими следил:

...Скользили, проплывали лица...
Задумчивая череда...
Спросил себя: «Люблю их?.. Да...
И я цепи этой частица...
И все мы — целое, одно
И те, кто вверх, и кто на дно.

37

В счастливый миг Вольнов родился.
Счастливей «Демона» поэта:
Он возродился. Он — влюбился!
И речь теперь пойдет об этом.
В концертном зале это было:
Ивану сердце защемило,
Когда её увидел он.
Взгляд!.. Вспышка!.. И уже влюблен!
Иван во все глаза из зала
За новым божеством следил.
Он слёз восторга полон был —
Так она Моцарта играла!
Иван, не зная, кто она,
Сказал в душе: «Моя жена!»

38

И даже, коль она другому
Принадлежит, и тёща-мать
Не думает о зяте новом,
Вольнов не мыслил отступать.
В крови бродили гены дедов,
Цыганокрадов и поэтов.
Уж гороскоп-то знает всяк:
Иван был «Лев» — то царский знак.
Кто скажет, случай свёл Ивана

С Марией в парке у пруда
Иль это Божьего труда
Благословенная программа?..
Гулял он с ней, взглянуть не смев,
За руку взять боялся «лев».

39

И вот они спустились к пруду.
Случилось это в третий день.
Ночь, звёзды, тишина повсюду...
Присели у воды на пенёк...
Касались спинами... Дрожали...
Признанья вспышки ожидали...
Луна струилась, бушевал
Вокруг лягушечий хорал...
И наконец «храбрец» решился:
Ведь раньше, позже — всё равно,
Уж всё судьбою решено.
Сказал, как в бездну повалился:
«Должны мы быть с тобой всегда».
Мария отвечала: «Да».

40

Москва в тот год изнемогала:
(Ты помнишь — семьдесят второй?..)
Жару и дым превозмогала;
Леса горели под Москвой.
Медовый месяц нашу пару
Унёс далеко от пожара.
В Кижях, на островах Онеги
Они испили чашу неги.
В избе друзей жилось им просто.
Дом плотнику принадлежал.

Искусно резал, воскрешал
Он церкви Кижского погоста.
Кто в том краю из вас бывал,
Тот, верно, Елупова знал.

41

Под скрипы вёсел открывали
Места, которых нету краше.
Два ближних острова назвали:
Тот — «остров Вани», этот — «Маши».
Они с порожка бани ярой
В Онегу кувыркались парой
И плавали на острова,
Где гнулась сочная трава.
Жизнь нам полна, когда вдвоём!
Тогда и вечность не страшна,
Возня крысиная смешна.
Как сладко потонуть в родном...
Ночь со свечою коротать,
Обнявшись крепко, засыпать.

42

И знали оба, не пугаясь,
Что жить — не поле перейти,
Но что плечом к плечу сражаясь,
Сумеют свой союз спасти.
И сколько б там враги ни злились,
Плоды бессмертья появились:
Сначала сын, а следом — дочь:
Иван да Мария точь-в-точь.
Мне, право, тяжкий труд достался:
Любовь их в слове воплотить.
Шекспира мне не повторить,

И как бы я тут ни старался,
А лучше сам Иван сказал,
Вот что герой в стихах писал:

43

«...Сгорело лето
В лесу так тихо.
Бредём тропею.
Немного солнца.
Вороны... Ветер...
Да мы с тобою.
Вечерний вызвезд
Пленён до срока
Голубизною.
Вдыхаю запах
Смолы и хвой
С твоих ладоней.
Лесной орешек
Разгрыз зубами —
Какой упругий!
Две белых дольки
Жуём, губами
Прильнув друг к другу
Печная магия...
Стол сосновый...
Дымится ужин...
Вино из солнца...
И нам на свете
Никто не нужен.
Два карих глаза —
Два бирюзовых...
В лесу ненастье...
Покой меж нами
И каждый день нам
Приносит счастье».

44

И чередуясь тьмой и светом,
Стезёй духовного труда,
Текли двадцатого столетья
Семидесятые года.
Крепчал Иван. Росли детишки.
Злодеи набивали шишки,
Пытаясь разорвать союз.
Врагов бесила крепость уз.
Дуэт Ивана и Марии
Восторгом души окрылял,
К добру и Свету призывал.
За что в народе их любили.
Иван да Марья и в быту
Являли ту же красоту.

45

По мелочам бывали ссоры —
Без диалектики нельзя.
Себя крепит цементом спора
Лихая русская семья.
У нас все мужики — гусары,
У нас все бабы — комиссары.
Но лишь согласие штабов
Сметёт с дороги всех врагов,
Разъединяющих супругов.
А если в «штабе» брань, содом,
Гусары тешутся вином
В компании «гусара-друга».
Построже быть к себе умей —
Потомство будет здоровей.

46

Иван однажды в откровенье
Признался, что без Марьи он
Не дожил бы до возрожденья,
Увял бы во пиру чумном.
Он попросил меня героем
Его не делать. Значит, скроем,
Как он не раз людей спасал
И втайне ближним помогал,
Любил, творил, боролся, верил,
Что будет по делам дано
Подняться ввысь иль пасть на дно
И долю вечности отмерить.
Вот строки из его труда
В восьмидесятые года:

47

Очнуться вновь среди синих гор,
Над горным озером проснуться.
Своей виной вчерашний спор
Признать — и сердцем улыбнуться.
Вдохнуть лаванды фиолет
И жёлтый зверобой пьянящий
И не дослушать, сколько лет
Приговорит мне птица в чаще.
Вздохнуть... Ведь углублённый вздох —
Причастие Творящим Светом...
Ах, если б в горе горьком мог,
Вдыхая, не забыть об этом!..
Покой среди молний сохранять,
Огонь отеческих заветов,
Смерть постигая, сознавать

Нетленность сущности предметов.
Средь боя зоркость не терять
В клубящемся чаду распада,
И в сердце радость сохранять —
А больше ничего не надо.
Ведь даже если триста лет
Мой век стремительный продлится,
Мне не допеть про Белый Свет,
Не долюбить, не утолиться.
Я буду каждый вздох и миг,
Пока живу, благословлять
И ткать из сердца Света нить,
И не устану повторять:
«Люблю... Спасибо... Хорошо...»
Минуй меня дурные чувства.
Всё, что пришло и отошло,—
Фрагменты Божьего Искусства.

48

Вот и конец поэмы видно.
Я не любитель докучать.
Хотя не скрою, мне обидно
Весёлый труд свой завершать.
Я слышу, кое-кто зевает
И умудрённо упрекает:
«А где ж измены, страсти, кровь?
Где безысходная любовь
И гибель вашего героя,
Не одолевшего судьбу..?»
Утешить вас я не могу.
Поэмы суть — иного строя:
Век безысходности угас,
И время — тьме, и Свету — час!

49

Настало время возрожденья
И веры в светлый идеал.
А если ты иного мненья,
Мне жаль тебя, но ты отстал.
Тогда воспользуйся советом:
Дерзай и наполняйся Светом.
На злобу злом не отвечай,
С улыбкой пей, и лучше — чай,
И перечитывай «Вольнова».
Отвечу вам, кого смутил,
Тем, что героя не убил:
Мир и без этого суровый.
Живи, твори и будь здоров
Иван Иванович Вольнов.

P.S.

Мой труд с онегинским размером
Стал наслажденьем для меня.
Я, вдохновлён его примером,
Скроил поэму за три дня.
При этом трижды в день питался,
С женой и сыном занимался,
Играл с собакою, читал
И сотни вёдер натаскал
Для поливанья огорода.
В закате по полям блуждал,
За лес светило провожал
И любовался на природу.
Теперь готов на сто поэм
И, право, мне достанет тем,
Но нету времени совсем.

2—5 июня 1983

Б Е М Б И

Лесная сказка

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Он в лесном тайнике появился на свет,
Удивлённо глядел на счастливую мать:
Он глазами большими — не видел небес,
Его мягкие уши не слышали — лес,
Но он — жить торопился и пробовал встать.



Мать лизала его: волосок к волоску,
Влажно-красную, в крапинках шубку;
Он же в сладкой истоме застыл на боку:
Он источник нашёл и прильнул к молоку,
И — уснул, он устал не на шутку..
Материнский язык был сейчас для него:
Ванна, ласка, массаж и тепло...

Мать на сына с улыбкой смотрела
И, баюкая, песенку пела:

— «О, милый мой, глаза закрой
Прильни к моей груди..
Ты станешь сильный и большой,
Но это — впереди...

Не знаешь, милый принц, малыш,
Что будешь королём
Ты много доброго свершишь,
Но это всё потом...

Любое зло осилишь ты
Улыбкою любви,
И край свободы, красоты,
Всё это там — вдали.

О милый мой, глаза закрой,
Спи у моей груди.
И мужество, и правый бой,
Всё это — впереди.

Клёны, буки, дубы сквозь листочки шатра
Пропускали свечения блики,
И струились дождейки от неба-костра,
Полыхали в цветах земляники...

СЦЕНА ВТОРАЯ

Вот и миг первой в жизни прогулки настал.
Бемби шёл, удивлялся — как жизнь высока.
Уступая дорогу, густая листва
Мягко гладили Бемби бока.

Бемби сыпал вопросами, всё хотел знать,
Словно гость чужеземного пира.
Понимал, что не всё говорит ему мать,
И счастливым сердечком он мог замирать
Пред величьем и тайною мира.



Бемби: Кто сделал тропку для меня?

Мать: Мы проложить сумели.

Бемби: Мы, это значит — ты и я?

Мать: Мы, это — мы, олени.

Бемби: А, что такое есть олень?

Мать: Мы — олени, милый.
Ты — олень и я олень.

Бемби: Как это красиво!



Понял! Понял! Ты — большая...
А я буду сильный..?
Чья там тропка голубая?..

Мать: Тех, кто любит крылья.

Бемби: Mam, олени ещё есть кроме нас с тобою?

Мать: Ну, конечно... Всех не счесть.

Бемби: Где ж они?

Мать: Повсюду... Здесь...
Скоро всех откроешь...

Бемби: «Скоро» — значит, когда-то потом,
А потом может быть и не скоро...

*Вдруг трава прощуришила незримым броском
Тень метнулась, осыпав цветенье;
Что-то пискнуло тонким, как нить голоском
И зачавкало с громким сопеньем.*

Бемби: Что это было?

Мать: Ничего, сынок...



Бемби: Но я же видел, мама?! Я же слышал?!

Мать: Не бойся... Всего-навсего хорёк

Убил мгновенно маленькую мышку.

Бемби: Зачем он это сделал?.. Ты молчишь?..

Мать: Не бойся, милый и пойдём скорее.

Бемби: И мы с тобой убьём когда-то мышь?..

Мать: Нет. Убивать олени не умеют.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

*Бемби с матерью шли под лохматым гнездом.
Ястреб с ястребом ссорились в нём.*

Первый Ястреб: Какая подлость! Дерзкий негодяй!

Второй Ястреб: Молчи, болван! Не очень задавайся!

Первый Ястреб: Вон из гнезда! Разбойник! Хулиган!

Второй Ястреб: Чего орёшь!.. На клюв не нарывайся!

(Пролетая мимо Бемби) А тебе чего, морда, здесь надо?
Тут гостям не особенно рады!

Бемби: Мама, что такое подлость?

Мать: Я не знаю.

Бемби: Почему же они оба злились?

Мать: Кто же любит, когда пищу отнимают?
Ястребы из-за еды бранились.

Бемби: А олени тоже все задиры?

Мать: Пищи вдоволь... Мы пасёмся мирно.

Бемби: А олень, оленя обижает?

Мать: Нет, родной, такого не бывает.

СЦЕНА ЧЕТВЁРТАЯ

Вдруг тропа пред ними пресеклась
И слепяще-светлое сиянье,

Солнечная лава разлилась
Беспредельным морем полыханья.

Бемби: Мама, что это такое, там — сверкает!?!..

Мать: Там — поляна.

Бемби: Да? А, что это — «поляна»?

Мать: Не спеши, сыночек. Скоро сам узнаешь.

Бемби: «Скоро, скоро»... Ну, пойдём скорее, мама...

*Бемби прыгнул вперёд, что есть силы.
Мать дорогу ему преградила.*

Мать: Жди, когда я тебя позову. И — постой.
Там, быть может, опасно и страшно.
Со вниманьем послушай меня, дорогой,
И запомни... Пойми, это важно!
Я сначала одна выйду в солнечный лаз.
Ты же стой, не спускай с меня глаз.
Коль увидишь, что снова я в лес поспешу,
Возвращайся, лети со всех ног!
Если я упаду и бежать не смогу,
Что бы ты ни увидел, ни слышал, прошу:
Прочь отсюда, немедленно, сынок!
Обещай же мне это и будь на виду!



Бемби: Хорошо...

Мать: А теперь я пойду...

*Ноздрями воздух втягивая нервно,
Производя внимательный обзор,
И выступая осторожно, мерно,
Мать поплыла в сияющий простор.*

*Лишь убедившись, что вокруг — покой,
Мать позвала и Бемби за собой.
И он сорвался с места и помчал,
Волшебной силой радости объятый.
Он раньше столько солнца не встречал,
Не знал, что поднебесье неохватно.*

Мать: А ну, ищи меня! Поляна не опасна!

Бемби: Ты где..? Ты где..? Нашёл! Простите, здравствуй.

*Он за ухо в траве поймал зайчишку.
Раскосого, дрожащего малышку.*

Заяц: А, что вам надо... Здравствуйте... Простите...
А, что вы кушаете..., извините..?

Бемби: Я молоко пью мамино пока...

Заяц: И я хочу немного молока...
Велела мама посидеть мне здесь...
Она придёт ко мне и даст поесть.
Я от опасности здесь прятаюсь пока,
Сидю и ожидаю молока...
Сказала мама, что не все в лесу
Пьют молоко и на цветах росу...
Велела мама мне укрыться здесь,
Что бы меня никто не мог поесть.



СЦЕНА ПЯТАЯ

Мать: Поздоровайся.

Бемби: С кем..?

Мать: С этим Дубом, сынок.

Повидал он не мало на свете.

Дольше всех он на нашей поляне живёт.

Его знает и любит здесь каждый зверёк,
И Мудрейший, и старцы, и дети.

Бемби: Здра-вствуй-те...

Дуб: Здравствуй, здравствуй, мой принц.
Очень ждал, когда ты посетишь мою крону.

Бемби: Почему ты меня «своим принцем» назвал?

Дуб: Скоро ты облачишься в корону.

Бемби: Смотри-ка, мама, — полетел цветочек!..

Мать: То — не цветок. То — бабочка, дружок.
Всего один лишь день она живёт,
И целый день о радости поёт.

Бемби (бабочке): Посидите ещё, хоть чуть-чуть!

Вы прекрасны, как лучший цветок!

Бабочка: Вы любезны. Нас просто спугнуть...

Угощайтесь — душистейший сок!

Как тепло!.. Как светло!.. Как чудесно!..

Мне так весело!.. Ах, как тут мило!..

Ах, неправда ли, жизнь интересна!..

Ах, подольше бы солнце светило!..



Дуб: Ах, бедняжка. Вся жизнь перед ней
Только миг перед вечным забвением.

Бабочка: Вы живёте моих тыщу дней,

Я же — тыщу счастливых мгновений!

Вы добры, милый друг, и прекрасны,

Но меня пожалели напрасно.

Мы живём одинаково долго,

Только счёт у нас разный немного.

Как тепло! Как душисто! Чудесно!

Мне так весело! Ах, как тут мило!

Бемби: Ах, неправда ли, жизнь интересна!
Ах, подольше бы солнце светило!

СЦЕНА ШЕСТАЯ

*Мать из озера пила и Бемби попил.
Поплыла — следом Бемби поплыл.
Он нырнул и увидел впервые
Рыбы рты и усища большие.*

Бемби: Мама! Глянь-ка! Там — такой?!.
Что там за улыбки?..

Мать: И в воде живут, родной.

Те улыбки — рыбки.

Да, не только на земле,

И на небе, и в воде,

В капле, дереве, в траве...

Жизнь — она везде!

Всё вокруг тебя живёт,

Радуетя свету,

Дышит, любит и поёт...



Бемби: Как чудесно это!

Мать и Бемби: Всё живёт и всё поёт!

Как прекрасно это!

СЦЕНА СЕДЬМАЯ

Мать: Теперь догоняй! Я тебе помогу

Обучиться полёту — прыжку!

На миг лишь только до земли касайся!

Вперёд и ввысь небесную стремись!

Теплу земли и солнца открывайся!

Горенье сердца и полёт — вот жизнь!

Тебе легко..?

Бемби: Да, мама, мне легко..!

Мать: За этой горкой сделаем прыжок!
Ты оттолкнись и прыгни высоко!
Вздохни всей грудью, милый мой сынок!
Наполнись светом солнца и земли!
Теперь — лети..!

Бемби: Лечу!!! Лечу!!!

Мать: Лети!!!

*Неведомая сила окрыляла
И возносила к солнцу, ослепляя...
Глаза, пронзая светом, закрывала,
Навстречу свету — сердце открывая.
Всё радуется солнцу: и зверёк,
И стебельком прикованный цветок,
Всё ввысь стремится, что земля родила,
Одно над нами общее светило.*

*В свой тайник мама с Бемби вернулись,
И, счастливые, сладко уснули.*

Бабочка: Как тепло! Как душисто! Чудесно!
Было весело! Было так мило!
Ах, неправда ли, жизнь интересна?!
Жаль не долго мне солнце светило.
Не простившись, уснуть не могла...
Вы мне сделали столько добра...
Будьте радостны! — Будет удача!
Я люблю вас, мой друг, мне пора...
Ну, прощайте, а то я заплачу...

Бемби: Посидите ещё, хоть чуть-чуть!
Вы прекрасны, как лучший цветок!
Бабочка: Вы любезны, но мне пора в путь,
Меня манит пленительный сон!..

*С этим бабочка ринулась прочь,
Бемби вышел за бабочкой в ночь.*

СЦЕНА ВОСЬМАЯ

Лес. Ночь

Бемби: До свидания, милый мой друг!..
Ах, какое сиянье вокруг!..

*Под безбрежным ночным небосводом
Светлячки разошлись хороводом.*

Хор светлячков: Мы — светлячки. Мы вам поём,
Когда темно кругом.
Горим и огненным крылом
Во мраке свет несём.
Не страшно нам в ночи парить.
Пусть — мало нам гореть,
Но нам дано про радость петь,
И вам огнём светить.
Мы славим огненный полёт!
Сгореть, но песню спеть!
Что лучше — тлеть из года в год,
Иль, вспыхнув, ночь согреть?



Светлячок (простуженный): Пусть лишь миг,
Но горю, а не тлею!
Вспыхну, песню спою,
Ночь согрею!
Апчхи! Апчхи! Апчхи!

Бемби: Будь здоров...

Светлячок: На болоте схватил...
Хор лягушек растрогал до слёз.

Я заслушался их и простыл,
Заложило мне дасморком дос...

Бемби: «Дос»..? А где у тебя этот «дос»?

Светлячок: Там же, где у тебя он отрос.
Ну, прощай! Заразить не хочу.
Полечу и зверям посвечу!
Апчхи! Апчхи! Апчхи!



СЦЕНА ДЕВЯТАЯ

Лесной тайник, день

*За мраком тайника застыл стеною
Полдневный мир, обьятый тишиною.
Лишь слышно было знойное гуденье
И марева воздушного кипенье.*

Бемби (просыпаясь): Мама! Мама! Пойдём на поляну!

Мать: На поляну сейчас нам нельзя.

Бемби: Ну, пойдём, я теперь не отстану..

Мать: Днём не все на поляне — друзья.
Много тех, кто ушёл среди дня,
Не вернулись с опасной поляны.
Только утром рано,
Поздним вечером,
Можем на поляну
Выйти не тайком.
А пока отдыхай, мой родной.
В безопасности здесь мы с тобой.



Бемби: Почему «в безопасности»?.. Мама, скажи.

Мать: Берегут нас опавшие листья.
Их ковёр золотой, словно друг сторожит,
Сохраняет нам жизнь бескорыстно.
Громким шёпотом скажет: «Опасность!»,
Если кто-то со злом к нам стремится...

Бемби: Хорошо, но не очень мне ясно,
Кто такие — «опавшие листья»?

Мать: Ну, тогда посиди и послушай.
Не всегда будет тёплое лето.
Зной листву пожелтит и осушит,
Осень листья укроет от света,
И начнётся плавный листопад:
Золотым дождём листва...
Лес обронит пышный свой наряд.
Листопад — преображение листьев.
Хоровод рожденья и конца.
На ладони — уговор Природы:
Жёлтая иссушённость листа,
Чёрные веснушки перехода.
Душа в душу лист с берёзой жил,
Был частицей мудрого единства.
Вечный холод листик остудил,
От души отторгнул материнской.
А когда берёза отцветёт
И уродливо замрёт в печали, -
В землю из корней душа уйдёт,
С ней они — единство составляли...

Бемби: А этот листок — навеки умолк?
Что, мамочка, с ним случится?

Мать: Вот этот росток даст новый листок
И снова всё повторится.



Бемби: А этот лесной ковёр золотой...
Во что же он превратится?

Мать: Он станет землёй, пробьётся — травой,
И снова всё повторится.

Бемби: И, значит, тогда — жизнь будет всегда?
И снова всё повторится?

Мать: Всегда, всегда, жизнь будет всегда,
И снова всё повторится!

Мать и Бемби: Всегда!.. Всегда!.. Всегда!..



СЦЕНА ДЕСЯТАЯ

Поляна

Бемби: Там — «опасность»! Спасаемся, мама, скорей!

Мать: Ах, трусишка, не бойся, там наши друзья:
«Это — Энна, кузина, с ней двое детей.
Наконец-то компания есть для тебя.

*Бемби рад был вперёд, что есть мочи бежать.
Мать же медленно, гордо ступала.
И ему приходилось себя придерживать.
Ах, как он торопился друзей увидеть.
Любопытством душа изнывала.*

Энна: Вот — Фалина, Гобо... Полно пнями стоять.

Мать: Бемби... Можете вместе играть.
Ну, же... Сами они разберутся теперь.
Поздравляю, прелестная двойня...

Энна: Бемби твой изумителен, Агни, проверь:
Крепкий, сильный, красивый и стройный.

*Вот, Фалине без слов надоело стоять,
Сорвалась, и игра — закружилась.
А когда порезвились, устали скакать,
Их знакомство уже совершилось.*



Фалина: А ты с майским жуком говорил..? Не встречал..?

Бемби: Нет, с жуком я ещё не знаком,
На меня серый ястреб уже накричал.
Обозвал меня «мордой» и даже прогнал...

Гобо: Меня ёжик прям в нос уколол...

Бемби: Что за «ёжик»?

Фалина: В иголках, фыркучий такой...

Гобо: Я его ненароком спугнул.
Ёжик сам не обидит. Он вовсе не злой
И меня он не больно кольнул.

Бемби: Что такое — «опасность»? Какая она?

Гобо: Мама нам обещала сказать...

Фалина: А я знаю: «опасность», ну, это..., когда...,
Когда нужно скорей удирать!..

*Не по нраву Фалине стоять и дрожать,
Неизвестно чего опасаться.
Ах, не лучше ль скакать, убегать, догонять,
В шёлк душистой травы зарываться.
Вскоре их беспокоить не стало,
Что секунду назад устрашало.*

*Но, вдруг случилось то, важней всего,
Что Бемби пережил до этих пор:
Как ураган по лесу пронесло.
Загрохотал, заволновался бор.*

*Звонко-гремящим, рыцарским галопом
Олени на поляну вышли слёта,
И — замерли. И грохот стих мгновенно.
С короной царственной стояли три оленя:
Один из них — могучий, вдохновенный.
Величественно-гордое виденье.*



*Не удостоив взглядом, не спеша,
Перед детьми проследовали дальше.
Боялись дети двинуться, дышать,
Пока видение не скрылось в чаще.*

Бемби: Кто это был..?

Гобо: Кто это был..?

Фалина: Не знаю...

Энна: Вожак. И с ним отцы, моя родная.

Бемби: Они нас видели?

Мать: Олени видят всё.

Бемби: Они ушли и не остались с нами...
Не улыбнулись, не сказали ничего...

Мать: Отцы всегда, повсюду будут с вами.

Бемби: А мой отец заговорит со мной?

Мать: Заговорит, и вы пойдёте рядом.

Бемби: А кто из тех олений папа мой?

Мать: Он первым шёл. Красивый. С гордым взглядом.

Бемби: Как он прекрасен!

Мать: Он подобен грому.
Ты обретёшь такую же корону.

(Конец первого действия)



Второе действие

*А время шло. Учился Бемби слушать.
От близкого стремился слухом — дальше.
Все звуки леса различали уши,
Ему стал ведом каждый шорох чащи.
День ото дня росли его познания.
Он понял — в жизни главное — внимание.*

СЦЕНА ОДИННАДЦАТАЯ

Лесной тайник

Бемби: Мама, кто со мной играет..?
Кто щекочет мне глаза..?

Мать: Озорница-стрекоза,
На поляну приглашает.
Миг веселья наступает.
Все поднимутся из нор.
Даже толстячок бобёр
На поляну поспешает.
Для рысят и волчат, олени и зайчат,
Мир для всех на поляне настанет.

Будут вместе играть. Им не ведом разлад
На единой, цветущей поляне.
Лишних нет. Все важны, все добры и ровны
На единой цветущей поляне.

СЦЕНА ДВЕНАДЦАТАЯ

Поляна.

*К утру, на встречу доброго светила
Сошлись из леса множество зверей,
И появление света возвестила
Им пара любящих, прекрасных лебедей.
Закружились в едином движении,
В танце солнечном — взрослые, дети,
Звери, птицы, стрекозы, растенья...
Всё слилось, озарённое светом.*

*Рождённые под общим небосводом
Цветы, олени, люди, реки, горы,
Былинка малая и целые народы,
Всё — часть Оркестра, многозвучье Хора.
И нету лишнего для Матери-Природы,
Гармонии Великой Дирижёра.
Всё радуется свету: и зверёк,
И стебельком прикованный цветок,
Всё — ввысь стремится, что земля родила.
Одно над нами общее светило.
Любовь даёт начало жизни каждой.
Жить в добром единенье — вот, что важно.
Злых сердцем Мать-Природа не рождает.
Жизнь — есть Любовь. Пусть это дети знают.*

*Внезапно гром веселие прервал.
На лес обрушилась весенняя гроза.
И молний грохот, треск и ветра шквал,
Впервые зрели детские глаза.*



Мать: Домой, малыш! Немедленно — домой!
Это — гроза. Не бойся, мой родной!

*Вдруг молния у Бемби на глазах,
Ударила в сосну, воспламенила,
В мгновение превратила в тёмный прах,
И поветру останки распылила.*



СЦЕНА ТРИНАДЦАТАЯ

Лесной тайник

Бемби: А куда огонь унёс,
Мамочка, сосну..?

Мать: Ох, не лёгок твой вопрос...
В тайную страну..
Может, в огненный стон...
Может, в радужный сон...
Впрочем, может, та страна
Не имеет сна...
Может, это — пустота...
Может, это — красота...
И куда ушла сосна,
Знает лишь она.
Может, в огненный стон...
Может, в радужный сон...



*Проснувшись, Бемби, не увидел мать.
Стал звать её. Он очень испугался.
Он бросился в лесу её искать,
И вдруг с друзьями в чаще повстречался.*

СЦЕНА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Лес

Бемби: Мама!?. Мама!?. Мама!?.

Фалина: Мама!?.

Гобо: Мама!?.

Бемби: Моя мама ушла...

Фалина: Наша тоже...

Бемби: Я искал... Ну, а лес без концов...
Где ж они?

Гобо: Я не знаю...

Фалина: Похоже...
Может, мамы у наших отцов..?

Бемби: Вы пойдёте?

Фалина: Мы дома должны её ждать.

Бемби: Как хотите... Я буду искать.
Мама!?. Мама!?. Мама!?. Мама!?. Мама!?.



Отец: Что ты кричишь? Один боишься быть?
Стыдись, малыш. Ты должен страх забыть.

*Отец исчез внезапно, как возник.
В раздумье Бемби вышел на поляну.
Вдруг — незнакомое виденье перед ним:
На Бемби шёл охотник из тумана.
Олень оцепенел, не мог бежать.
Охотник начал дуло поднимать.*



И снова неожиданно возник
Отец. И Бемби следом побежал.
Ружейный выстрел грянул в тот же миг,
И лес, пронзённый эхом, простонал.

Отец вёл сына, чашу рассекая,
Величественно-царственной короной.
И вновь Отец, как будто дым растаял,
Оставив Бемби матери, у дома.

СЦЕНА ПЯТНАДЦАТАЯ

Лесной тайник

Мать: Ты видел? Видел?

Бемби: Да! И слышал гром!
Кто это был? Скажи мне, мама...

Мать: ОН!

ОН мог убить тебя, но спас Отец.

Бемби: Ты, знаешь, папа говорил со мной!

И посмотрел два раза, наконец...

Скажи ещё: какой он — папа мой?..

Мать: Он — самый добрый, благородный среди нас.

Ему нет равного ни силой, ни умом.

Не раз от смерти братьев наших спас.

Где есть опасность — там поможет он!

Он исходил до дальних далей лес.

Не ведомы для нас его пути.

Нередко думают, что он совсем исчез,

Но он приходит, чтоб помочь, спасти.

Всегда он нам незримо помогает,

Он наш покой дозором охраняет.

СЦЕНА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Озеро

Фалина: А ну, поймай, поймай меня скорей!

Ой, осторожнее..! Не больно..?

Бемби: Что ты! Ладно!
Смотри-ка! Наша пара лебедей..!

Фалина: Ах, как они прекрасны,
Бемби, правда..?

*В воде, танцуя, лебеди кружили,
И белоснежные сплетали крылья.*

Мать: И как прекрасна их любовь, друзья.
Не расстаются ни за что на свете,
Летают вместе в дальние края,
Детей растят, всегда и всюду вместе.
Двух сердец — сердце общее бьётся,
Если кто-то из них погибает,
То другой одинок остаётся.
Иногда без любви умирает.

Бемби: Что такое — любовь? Ты не знаешь?

Мать: Знаю, милый. И ты испытаешь.

Верь, любовь — это чувство святое.

Несказанное чудо земное.

В этом счастье участвуют двое.

Чашу сердца живую водою,

Друг до края наполнит собою.

Нас любовь превращает в героев.

Без любви наше сердце пустое.

Любовь — соединение навсегда.

Полёт сердец. Единая звезда.

Любовь нам душу красотой наполняет,

И вечен свет любви. Пусть это дети знают.

Жестокий выстрел оборвал движенье.

Одна из птиц протяжно закричала,

Взлетела ввысь, но совершив паденье,

Прощаясь, другу-лебедю сказала:



Лебедь: Лети, любимый, оставайся жить!..
Один отныне ты — у маленьких детей!..
Прошу тебя! Ты должен сохранить
Себя и малышей!.. Лети скорее!..



Мать: Куда ты, Бемби..?

Бемби: Нужно им помочь!..

Мать: Их не спасти!
Скорее, Бемби, прочь!



СЦЕНА СЕМНАДЦАТАЯ

Лес

Отец: Ты видел это?

Бемби: Да.

Отец: А где же мать?

Бемби: Она исчезла здесь среди осин.

Отец: Ты не кричишь? Не хочешь её звать?

Бемби: Нет. Я уже умею быть один.

Скажи, что это было? Кто есть ОН?

Кого в лесу боится каждый зверь?



Отец: Умей смотреть и слушать, вот — закон.

И сам познаешь, что такое — ОН.

Ты только и чутью, и сердцу верь.

Бемби: Я знаю — жизнь трудна,
но буду я сильнее.

Я жизни не боюсь. Я всё преодолею.



СЦЕНА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Осенний лес

*Землю устилает листопад.
Золотым дождём листва струится.
Голый лес утратил свой наряд.
На ветру о чём-то шелестят
Пара уцелевших жёлтых листьев.*

Она: Лес изменился. Многие ушли.
Мы, кажется, последние остались.
И солнца мало... И всё меньше сил...
Надолго ль мы с тобою задержались..?

Он: Не знать нам — близок ли конец, далёк...
Ты вспомни, когда солнышко светило,
Дождями, ветром молодых сносило...
И хорошо, что нам не ведом срок.
Ты знаешь, что, когда мы опадём,
Другие прорастут на месте нашем.
За ними — новые придут в наш светлый дом.
Мир без конца цветением украшен.

Она: Но почему же мы должны опасть?

Он: Таков закон. Томит лишь ожиданье.

Она: Там чувства есть? Мы будем сознавать?

Он: И жизнь, и вечность ценны — узнаваньем.
Не трепещи так... Не дрожи, дружок...

Она: Я лишь чуть-чуть подрагиваю только...
И сил — всё меньше... Видно, близок срок...

Он: Ты вспомни лучше — солнца было сколько?

Она: А, правда, я ужасно изменилась?

Он: Нисколько. Ты прекрасно сохранилась.
И в первый день красива, и теперь...
А эти маленькие, жёлтые веснушки
Еле заметны, и к лицу, поверь...
Зато я сморщился, как лапка у лягушки.

Она: Ты добрым был ко мне всегда, спасибо.
Мне стало это ясно лишь сейчас,
Какой ты добрый, сильный и красивый...
Ах, вот оно!.. Я... покидаю вас!..

*Те листья были свиты паутиной.
Их вместе повлекло в простор небесный.
Опавших листьев хоровод единый,
Парил под солнцем над опавшим лесом.*

Хор листьев: Нам дан полёт! И мы — летим!
Сияньем зачарованы!
Какая радость! Мы парим!
Мы больше не прикованы!
Как прекрасно Это!
Мы теперь — едины!
Красотой и светом
Дышим и парим мы!

СЦЕНА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Зимняя поляна

*За осенью ненастной с лютым холодом,
Пришла зима и подружилась с голодом.
Не вечно беззаботное кружение,
Весёлый праздник детского незнания.*

*Но не страшись, когда придут лишенья.
Выковыывают мужество страданья.
Когда нам холодно и очень тяжело,
Нас согревает матери тепло.*

*Лесные малыши в снегу резвились,
С горы катались, славно веселились.*

Бемби: Ой! Это — ты..? Я думал — куча снега...

Заяц: Малюсенькими зайчиками с неба
Меня засыпало... Вы озеро видали..?

Фалина: Мы? Нет ещё...

Заяц: Ой, что вы!.. Побежали!..
Оно застыло, словно неживое...
Падучее и склизкое такое!..

СЦЕНА ДВАДЦАТАЯ

Озеро

*На льду копыта стали разъезжаться.
Один лишь заяц мог, на зависть всем, кататься.
Друзья резвились, падали, играли,
Снежки друг в дружку весело бросали.
С горы сосульки серебристые свисали,
Стеною вход в пещеру прикрывали.*

Заяц: Какая вкусная, хрустящая морковка..?
Смотрите — вырос целый огород!..



Бемби: Там, за стеною лебедь!..

Фалина: Он, наверно, мёртвый...

Бемби: Нет, он — живой! Скорей сломаем лёд!

*Друзья разрушили сосулек стену
И вызволили лебедя из плена.*

Фалина: Пойдёмте, лебедь, вы свободны ото льда...

Лебедь: Спасибо вам, но я останусь здесь.

Бемби: Вы не должны замёрзнуть навсегда.
Ведь жизнь — прекрасна! Да и дети у вас есть!..

Лебедь: Я осенью их поднял на крыло,
И проводил в далёкие края.
Я вижу их во сне и мне тепло...
Во сне живёт любимая моя...

Заяц: Простите..., но я... папу потерял...
Попал весною он лисице в лапы...
Мне жаль, что папу я совсем не знал...
Я так хочу, чтоб у меня был папа...

Лебедь: Чему же я зайчишку научу?
Ведь ты летать не можешь, мой дружок...

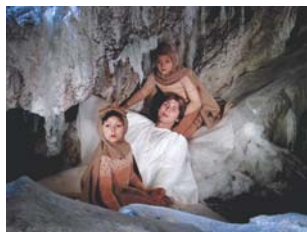
Заяц: Но я во сне летаю! Я хочу
Подняться в небо! Хоть один разок!
Пожалуйста, прошу вас, хоть чуть-чуть...

Лебедь: Не плачь, малыш!

Заяц: Ой, мамочка, лечу!..

*Зайчишку Лебедь слёта подхватил,
И вместе с ним в просторы неба взмыл.*

*Лес встрепенулся. Всех зверей спугнул
Далёкий гром и нараставший гул.*



СЦЕНА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Поляна

Дуб: Неужто вновь я обречён
Увидеть смерть, услышать стон?
Опять идёт облава!
Жизнь руку подняла — на жизнь!
Загнать и слабого добить!
Жестокая забава!

Да, неужель кровавый гон —
Природой созданный закон?
Закон — давить, губить?
Неправда! Зло вернётся — злом!
Природы истинный закон —
Спаси! Помочь! Любить!
Окружены!.. Везде, повсюду — ОН!..

Мать: Спокойно, Бемби!.. А теперь — идём!
Как увидишь, что я побегу —
Ты, немедля — за мной! Со всех ног!
Если я упаду и бежать не смогу —
Прочь — немедля! Немедля, сынок!

*Бежали все. Казалось, даже лес,
Спасая жизнь, куда-то устремился.
Гром в клочья рвал нахмуренность небес,
Кольцо огня охватывало лес...
В снег то и дело мёртвый зверь валился.
Увидел Бемби, как Гобо упал,
Но мать звала, и он — не отставал.
Стена огня всё ближе подступала.
Внезапно мать сражённая упала.*

Отец: Ты можешь встать?



Мать: Нет! Сына выручай!

Бемби: Вставай же, мамочка!..
Уйдём мы лишь с тобой!..

Отец: Я возвращусь!..

Мать: Спасайтесь же!.. Прощай!..

Отец: За мною, сын! Немедленно — за мной!

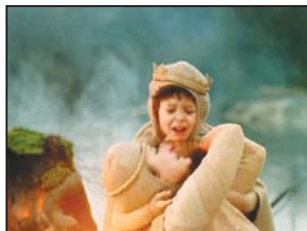
Дуб: Рождённые под общим небосводом:
Цветы, олени, люди, реки, горы,
Былинка малая и целые народы —
Всё — часть Оркестра, многозвучье Хора.
И нету лишнего для Матери-Природы,
Гармонии Великой Дирижёра.

Знай: связи единения губя,
Зло бумерангом в сердце возвращаешь.
И разрушая жизнь вокруг себя,
В себе самом ты душу разрушаешь.
Для развлечения убить, поверь,
Себе не позволяет даже зверь.
Лишь человек «венец» и «царь природы»,
Стал вне закона над лесным народом.

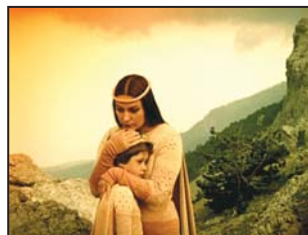
Любовь даёт начало жизни каждой.
Жить в добром единенье — вот что важно.
Злых сердцем Мать-Природа не рождает.
Жизнь — есть Любовь! Пусть это дети знают!

*С той поры часто Бемби по лесу блуждал,
Только матери он не встречал...*

Голос Бемби: А куда огонь унёс,
Мамочка, сосну..?



Голос Матери: Ох, не лёгок твой вопрос...
В тайную страну..
Может, это пустота...
Может, это красота...
И куда ушла сосна,
Знает лишь она.
Может, в огненный стон...
Может, в радужный сон...



Дуб: Какие б нас невзгоды не встречали,
Не верь, что не забудутся печали.
Тьма не выносит солнечного света.
Целебна радость — не забудьте это!

Но время шло, и Бемби подрастал.
Из детства в юность он переступал.

Две половинки целого в смятенье
Друг друга ищут, по лесу блуждая.
И вдруг, любовь встречая, понимают,
Что счастье — двух сердец соединенье.

И случается чудо земное:
Чашу сердца живую водою
Друг до края наполнит собою,
Без любви сердце будет пустое.



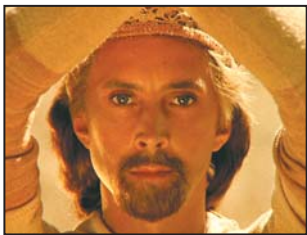
Бемби: Фалина!?.
Фалина: Бемби?!.. Это — ты?!.
Бемби: Фалина?!.
Что за чудо со мною случилось?..
Ты в душе моей вся поместилась...
Словно пламя неведомой силы
Ты вошла в меня и — осветила!..
Я хочу с тобою рядом быть всегда!
Я люблю тебя! А ты, родная..?
Фалина: Да!



Что за чудо случилось со мною?..
Чашу сердца живою водою
Ты до края наполнил собою!
Без тебя оно станет — пустое.
Мы должны с тобою рядом быть всегда!
Я люблю тебя!.. А ты, мой милый?..
Бемби: Да!
Фалина и Бемби: Всегда!.. Всегда!.. Всегда!..



Дуб: Если чуткими будут сердца и добры
Ваши мысли, дела справедливы —
Никогда не расстанетесь с этой поры
С миром сказочным, светлым, красивым.
Любовь даёт начало жизни каждой.
Жить в добром единенье — вот, что важно!
Злых сердцем Мать-Природа не рождает.
Жизнь — есть любовь!
Пусть это дети знают.
О том, как Бемби победит,
Не дрогнет перед злом,
Как много доброго свершит,
Я расскажу потом.
Как будет жертвовать собой,
Храня огонь в груди...
И мужество, и правый бой,
Всё это — впереди!



Ялта, 5 февраля 1984 года

«Я СМЕРТИ НЕ БОЮСЬ, Я ВИДЕЛ СВЕТ...»

ПЕРВЫЕ СТИХИ

* * *

Пра-пра-пра-прадедов моих
В крови топили, убивали,
В петле давили, распинали,
На кол сажали, засыпали,
Четвертовали, обрубали,
Колесовали, муровали,
Глаза кололи, кости мяли,
Морозили, в грязи топтали,
Деревья надвое их рвали,
Привязывали в след коня!..
Какая участь ждет меня?..

1967 г.

ЗЕРКАЛО

Отражение моё
Белое, худое,
Бирюзовые глаза,
Созданье молодое.
Познаю тебя — не знаю.
Ты меня не знаешь.
Бок о бок со мной по жизни
Двадцать лет шагаешь.

Заострённый и холодный
Ты стоишь в стекле:
Буен, горд, жесток, свободен —
Ты на зависть мне.

Я же мягкий, добрый, глупый,
Я застенчив, скован.
Нам бы слиться воедино,
Сбросить бы оковы.

1967 г.

КИНОРЕЖИССЁРУ

Друг, столкнулись мы случайно
Создавать Искусство,
Ты — за славу, я — за деньги...
Нам обоим грустно.

Поиграли, поснимали,
Не создав Искусства.
Ты — без славы, я — без денег,
Нам обоим грустно.

1967 г.

В ГОРОДЕ ПУХ

(песня)

В городе пух
И тишина,
Вальс белых мух.
Снова весна.
Пух в окна:
«Тут — Двое живут..?»
Стук глух.
Дом пуст.
Встречи — свидетель
Нашей любви.

Молит ответа:
«Как год провели?»
Год провели
В жаркой любви:
Прах на полу,
Стены в крови,
Стон по щелям,
Соль по стеклу,
Боль да печаль
Стыннут в углу.
Жизнь поломал —
Белое сальто.
Кро-во-то-чу
В ватном асфальте.
Пух заметает
В прошлое путь:
Мстит за тебя,
Трудно вздохнуть.
Мстит, плачет
Весь день,
Белые слёзы
Льёт на людей.

Дальше нам жить,
Надо, так пусть —
Грусти прибавится
Новая грусть.
В городе пух
И тишина,
Вальс белых мух...
Снова весна.
Пух в окна:
«Пусть Двое живут!...»
Стук глух.
Дом пуст.

1969 г.

* * *

Заповедано мне петь весь свой век:
На Руси рождён счастливый человек.
Сердцем петь про радость, правду и Свет,
На земле прекрасней участи нет.

В горле Русь клокочет — вены отворю,
Захлебнусь любовью-болью, но спою:
«Смерть — не в землю нисхождение и не тление,
Бесконечное движенье, возрождение».

Кровь кипит, пылает мозг — я пою!
Я разжёл в душе пожар, в нём сгорю.
Под конец я — жизнь до смерти полюблю,
Под душою, как под ношей, упаду.

В горле Русь клокочет — сердце отворю,
Захлебнусь любовью-болью, допою:
«Смерть — не в землю нисхождение и не тление,
Бесконечное движенье, возрождение».

ЗАПОВЕДЬ СЫНУ

Один из всех. Противу всех. За всех...
Душа скорбит светло, почти смертельно.
Костер любви — судьбы самосожженье...
Люби всё сущее. Не верь, что это — грех.
В единоборстве с хаосом и тьмою
Я принял бой, чтоб стал и ты — собою.
Пой праздник бытия. Не бойся смертной доли.
На свете счастье есть! И есть покой и воля!

13.08.1978

* * *

С крыш сбрасывают снег... грядёт апрель...
Так сказочно, как будто — встало время.
Наш первый, наш пречистый брачный день —
Поэтов двух, как взрыв, соединенье.

Как уберечь..? спасти..? помочь..? понять..?
Безмолвный диалог всеведающих глаз...
И озареньем, будто истинное знать
Дано лишь нам, — улыбка на устах.

Апрель, 1978

* * *

С твоим благословением в душе
Начну писать легко, глубоко, просто,
Вести за правдою сограждан и потомство,
Открыв страницу новую в судьбе,
Страницу эту я дарю тебе.

Любовь поэта разве бесполезна?
Его любовь и вера мир спасает:
Живит, содержит, будит, возрождает.
Любить всё сущее — закон его чудесный,
А гений и злодейство — не совместны.

Меня однажды не увидят мои стены:
Моя чужая плоть — подвластна тлену,
Но прежде, чем жильё своё покину,
Успею ли открыть я тайну сыну,
Пред раствореньем в нём иль во вселенной..?

Быть может, смерти не бояться научу,
Любить гармонию вселенского движения,
Но ни его и ни себя не излечу

От реквиемной грустью опьянения:
Ведь наша жизнь — подарок на мгновение,
Чудесное, реальное явление.

Апрель, 1978

* * *

Зачем печали сердце предаёшь
И мнительностью мучаешь себя?
Ты дольше проживёшь, когда — любя,
С весёлым сердцем, с радостью живёшь.

Люби и внимли ты душе своей,
И сердце утешай, печаль гони скорей:
Она сгубила множество людей.
Смертельная болезнь таится в ней.

Нам гнев и ревность сокращают дни.
Груз мыслей злых старением опасен.
Я говорю слова вам не свои,
Я в книге их читал и с ней согласен.

1978

* * *

Что такое — стать собой?
Жизнь свою перелистать...
До беспамятства страдать,
Ужаснувшись вдруг душой
Злом, содеянным тобой.

Скольким боль ты причинял,
И любя, и не любя..?
Своё счастье разрушал
И оправдывал себя..?

Рухнул храм, что возводил
Ты в душе своей.
Бродишь ты, как тень один,
Худший из людей.

«По делам воздастся вашим»
Суд не отменить:
Чем наполнил свою чашу —
То тебе испить.

Декабрь, 1980

* * *

Когда не признан и гоним,
Останешься один —
Не призирай и не кляни,
Но веру сохрани.

Не виноват надменный брат
И ты не виноват,
Что мира вам не обрести
И душу не спасти.

С рожденья сердцу суждена
Добра со злом война.
Другого нет у нас пути
Лицо своё найти.

Найдя его — не отступить.
Самим собою быть.
Покой хранить, добро творить,
Всё сущее любить.

Но даже те, кем обретён
Свет Истины простой,

Ввысь подвигаются трудом
И каждый миг их — бой.

Но тот, кто жил, тот сделал шаг
Под солнцем в небесах,
И Свет, за краткий жизни миг,
Лучом во всех проник.

Апрель, 1981

* * *

Я смерти не боюсь.
Я видел Свет:
Добра сиянье...
Бесконечность...
Открылось мне,
Что дух и Вечность —
Неразделимы.
Смерти — нет!

Умрут лишь только
Зло и плоть.
Добро —
Единый Царь Вселенной,
Непобедимый
И нетленный —
Души пречистая любовь
Я смерти не боюсь,
Но жизнь люблю.
И жить хочу
Как можно доле!
Зло побеждая
Доброй волей,
Все претерплю
И устою!

09.5 — 01.11. 1981

ЛИСТОПАД

Голову ласкает листопад:
День и ночь потоком золотистым
Лес роняет пышный свой наряд,
Листопад — преображенье листьев.

Хоровод рожденья и конца.
На ладони приговор природы:
Жёлтая иссушенность листа,
Чёрные веснушки перехода.

Душа в душу лист с берёзой жил,
Был частицей мудрого единства,
Ветер тленья листик остудил,
От души отторгнул материнской.

А когда берёза отживёт,
И замрёт уродливо, в печали,
В землю из корней душа уйдёт,
С ней они единство составляли.
Душа в душу, с чем живёшь свой век?..
Проследи за устремленьем мысли,
Помолчи, подумай человек,
С Чем — твоё бессмертное единство?..

* * *

Разум — ристалище Света и тьмы:
Бой с переменным успехом.
С мыслимой выси в силки сатаны
Вечно ль порхать человеку?

Сети размётаны слугами зла:
Пьянство, стяжанье и похоть.
Молодость на постиженье ушла,
Что — хорошо и что — плохо.

Рвётся душа из упругих сетей,
Пару узлов разрубил:
Тёмная воля в сознание слабей,
Бдительней светлая сила.

Впрочем, вчера, полетав в вышине,
Мыслью за сеть зацепился.
И насладившись запретным в уме,
Сам на себя разозлился.

Разум ристалище
Света и тьмы:
Бой с переменным успехом.
С мыслимой выси в силки сатаны
Вечно ль порхать человеку..?

ДЕТСКИЕ СТИШКИ

Цени мгновения, дружок,
Душевного покоя,
Вдруг отольётся он в стишок
Возвышенного строя;

Вдруг выйдет мудрым тот стишок,
Дружком твоим детишкам,
Поднимет к Свету на вершок,
Поможет жить малышам;

Отгонит зло и черноту,
Не страшны станут черти;
Научит верить в красоту
И не бояться смерти.

Цени мгновения, дружок,
Душевного покоя,
Твори, вдруг выйдет твой стишок
Бессмертия достоин.

СИБИРЬ

Мороз России сохранил
Сибири душу первозданной
И чуждый дух заледенил
Удел «сто-тысячи Иванов».

Здесь выпадает чистый снег,
Природа красотой богата,
Здесь сохраняет человек
Расположение к собрату.

Когда России угрожали
Несметной силою полки,
Мы за Уралом мощь собрали:
Вступили в бой сибиряки.

Когда больные города
Грехом и злобой утомятся,
Почуют свой конец, тогда
Придут Сибирью исцеляться.

Сибирь — Российская миссия,
Святая Русская страна,
Сибирь у нас — лицо России,
Кулак, надёжная стена.

НОЧЬ НА ЕНИСЕЕ

Постою над Енисеем,
На Саяны погляжу,
Помолчу и, как сумею,
Чудо опишу:

Эту ночь и воздух пряный,
Укращённый всхлип реки,

Лесоснежные Саяны
Помещу в стихи.

Новогоднюю природу
Снежной пудрой замели,
Подмосковная погода
На краю земли.

ПЕСНЯ О РАДОСТИ

О радости спою для вас.
На свет рождаются друзьями:
Одна на всех Земля под нами
И небо общее у нас.

Живите, радостью дыша,
Да будут радостны деянья,
Светлы и встречи, и прощанья,
Благожелательна душа.

Да охраняет радость вас,
Не покидает вас удача.
У всех людей одна задача,
И вечность общая у нас.

МОЗАИКА

Открыв лицо — пора начать борьбу.
Где сил, отваги взять на дальнюю дорогу?..
Вступить за Правду иль остаться у порога?..
Но поздно думать, уж шагнул, иду...

* * *

В авангарде Поэт перед строем.
Сердце вырвав, он держит мишенью.
Черноту прорубая собою,
Себя губит он вам во спасенье.

* * *

Как сладко жить, фильтруя горечь,
Мрак — Светом сердца растопляя,
Разноголосье, хаос, горе
В гармонию переплавляя.

* * *

И если вдруг судьба распорядится
Вам потерять покой, гореть, стихи слагать,
То дружески скажу: «Хлеб солон этот,
Умри — непоправим удел поэта,
Своими тайнами и болью торговать.

* * *

Я стихами продираюсь в жизни,
Подвожу черту и горе унимаю,
Над своею болью насмехаюсь,
Катастрофы, словом измеряя.

* * *

Вопль материнства и безволие отцов,
Безверие, апатия, забвенье,
Падение пресыщенных юнцов...
Печально я гляжу на наше поколение.

* * *

В доме я живу чужой,
Верный Истине одной.
Наплевать мне на уют
И на временный приют.
Голыми все в мир пришли —
Голыми уйдут.

* * *

Я хочу читать тебе стихи.
Всё, что я пишу, до строчки.
Зная, что поймёшь мои грехи,
Не осудишь даже многоточье...

* * *

И ничто мне тебя не заменит.
Всё умрёт в поединке с тобой.
Тело, волосы, вкус поцелуя,
Душу страстную, нежную, злую
Не восполнит внезапность другой.

* * *

Журчит вода на кухне в кране.
Свеча по стенам тени тянет.
Хотел страданья? — Вот оно.
Смешно... зевнул... допил вино.

* * *

У меня сегодня праздник:
Муза вновь ко мне явилась,
Как ребёнок — доброй фее,
Несказанно я ей рад,

А ещё поел я супа
И в пакетике малину,
На платформе Балагое,
По пути на Ленинград.

* * *

Нет мысли — акварель свою пристроить...
На дне стола художника печаль,
И лишь надеешься быть понятым тобою,
Когда садишься для себя писать.

* * *

Бог явился во плоти.
Оправдал Себя в Духе.
Проповедан в народе.
Принят верою в мире.
И во славе вознесся.

* * *

Дары внезапных встреч, людей и откровений,
Переплавляются в законченность строки.
Благословляю всех своим прикосновеньем
Исторгших из моей души стихи.

* * *

Душа грустна, спокойна и светла,
Весной дышу впервые без страданья
И пью росу из чашечки листа...
Мне хорошо. Я не загадывал желанья.

* * *

Я осознал свой путь:
Неотвратимо ясный,

Прямой, как солнца луч,
Мучительно — прекрасный,
Лишь Истине подвластный,
Благословенный путь.

* * *

Сон с молитвою приятней,
Нежели с проклятьем.
Лучше встать с благоволеньем,
Чем с ожесточеньем.
Радостью начать творенье,
Лучше, чем с сомненьем.

* * *

Туман и пряный подмосковный воздух...
Лежу в саду, на даче, не здоров.
Под птичий гомон, цветопад черёмух,
Я предаюсь мечтам, глаза на коров
И отбиваясь от голодных комаров.

ВЕСНА В ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ РАЗ

Всё — неспроста и свой всему черёд,
И тайну, кажется, душа вот-вот познает.
Норвежская весна снегами с гор стекает
И над фиордом белой ночью небосвод
В эфирном пепле белой розой расцветает,
И древний раскалённый красный шар
Мои глаза усталые встречают.

* * *

Родства не помню. Позабыл рождение.
Корней не знаю — подо мной паркет...

Смысл творчества и жизни — возрождение,
Сквозь слёзы, муки, боль — преображение.
Других путей для человека нет.

* * *

Грудь теснят несвобода, грехи,
Вздохи — временное облегчение...
И закат, и морское свечение,
Ну, никак не ложатся в стихи.

* * *

Шагая, шелестя в зелёных листьях,
Из тёплой дали дождь пришёл, пролился
И капель на ладонь упало солнце...
Припав губами к золотому сердцу,
Я пью его, не утоляя жажды.

* * *

Спокойно жизни хаос наблюдать
И постигать — аскетам лишь дано.
Мне хладнокровным быть не суждено.
Так буду падать и вставать попеременно,
С восторгом и тоской всё в жизни принимать,
Собою оставаясь непременно.

* * *

Теперь — не покорюсь ни жизни, ни судьбе.
Никто из смертных уж не властен надо мною.
Благословляю каждый миг своей душой:
Вперёд стремлюсь. Того, кто стал собою,
Остановить уж не под силу даже мне.

ПЕСНЯ О МАТЕРИ

В беспредельном, звёздном,
Солнцеликом Море,
На земле волшебной,
В пресвятой России,

Жизни Свет пронзительный
Подарила Мать:
Здесь мне петь и верить,
И полёт познать.

То взлетал, то падал я,
Разбивался в кровь,
Открывал Россию —
Волю без оков;

Неуёмно-буйную,
Нежно-терпеливую,
Щедрую, надёжную,
Статную, красивую,

Гордую и смелую,
Любящую, сильную,
Верную, пречистую,
Матушку Россию.

Горем и лишением
Ты — непобедима.
Злою, тёмной силою
Ты — неистребима.

Верить и надеяться,
И любить сквозь мрак
Можешь ты с улыбкою
Доброй на устах.

Ту улыбку, облик тот
Я с рожденья знал...
Кто ты?.. Вдруг в улыбке той —
Мать я увидал!

В лицах двух — единая
Мне явилась Мать...
Вглядываясь в Русь мою —
Мать я смог понять.

Ведь недаром «Матушкой»
Русь отцами названа.
Я давно известному,
Как открытию радуюсь.

Посвящая Матери
Жизни песнь мою,
Русь в обличье Матери
Я благодарю:

Что дала мне веру
В Свет и непокорство,
Что дала мне силы
В бой со злом вступить,

Что дала мне крылья —
Вольное упорство,
Честь мне оказала —
Твоим сыном быть.

20.12.1980—01.01.1981

* * *

Едва расставшись, снова к Вам стремлюсь,
Живу надеждой вновь увидеть Вас,
Рукой к руке пленительной прильнуть,

Глазами пить голубизну, тонуть
И замирать в безбрежье Ваших глаз.

Один, как прежде, на путях своих
Взлетаю, падаю, страдаю и ликую...
Не равен бой, но хватит сил моих:
Я всё стерплю. Не надо благ земных,
Лишь видеть Вас всегда — судьбу молю я.

Молю не прерывать мой дивный сон.
Не разрушать души моей виденье.
Тот дивный свет, который обретён,
Пречистый храм, что мною возведён
И веру, и надежду на спасенье.

* * *

Горда, красива и чиста,
Как белый мрамор лик,
И я не нахожу слова,
Чтоб Вас воспеть, и голова
Пьяна от Вас, увы...
Так несказанны Вы.

Смиренье ангельское глаз,
Бесёнок озорной
Одoleвает лишь на час,
Святое охраняет Вас
И светит чистотой
Глаз голубой покой.

И золотистою струёй
Шелка волос манят,
Как влаги водопад хмельной,
Искрятся, зыблются волной,
Богинь достойной красотой
И музыкой пьянят.

И губы — алый лепесток,
Румянец щёк невинный...
В создание Вашем Бог помог,
А речь — серебристый ручеёк,
Иль клёкот голубиный,
Из шеи лебединой.

Обворожительная статья,
Рук царственнее нет...
Должны себе Вы цену знать,
Но чтоб не сгинуть, повторять:
«Нет, я не краше всех, Я смертный человек».

Волшебное создание
Поют мои стихи,
Не дожидаясь знания:
В награду ль за страдания,
Иль карой за грехи —
Ниспосланы мне Вы...

Простите мне уверенность.
Быть может, Вас не стою...
И вера, и растерянность,
Как в вечности потерянность...
И нет душе покоя:
«Достоен?.. Не достоин?..»

Яд иль живая влага
Наполнили хрусталь?..
Я гибель или благо
От Вас приму с отвагой:
Своей судьбы не жаль.
О Вас моя печаль.

Не зря природа создала
Такой прекрасной Вас.
Пусть жизнь одарит Вас сполна!

Всё счастье мира Вам до дна!
Я помолюсь за Вас,
Чтоб Вас Всевышний спас.

ПРОГУЛКА В ГОРАХ КАХЕТИИ

Алаверды не пропадал из глаз,
Пока мы мчались Кахетинскою тропею...
Вдруг — Иколто обрушился на нас
Над мирною, соборной тишиною.

Кавкасион — Алазанский страж,
Ограда вольной Сакартвело,
Оцепенел в тумане, как мираж,
Храня свободные уделы.

* * *

Тебя я за руку возьму
И к солнцу подниму.
Увидишь моря тишину
И гор голубизну.

И тайну воскресения,
И ясность бытия,
Полёта ощущение
Вдохнёт душа твоя.

И сердце переполнится
Свободой, красотой...
Что ты ждала — исполнится,
Взлетев над суетой.

Пьянящий истины глоток...
Душе легко, светло...
Здесь льётся золотой поток
В просветы облаков.

Свободный холст кичится белизной,
Вступая в поединок с живописцем.
Хранит художник волю и покой:
Он в силах сотворить Мадонну кистью.

Бог женщины начало создаёт.
Мужчина созиданье — завершает:
Он женщину в бессмертие несёт
И красотой души вознаграждает.

* * *

Судьбы моей печали
Остались за спиной,
И сердце зазвучало
Гармонией земной,
И обрело покой.

Пришло освобождение.
Дух крылья развернёт,
Свершит предназначение...
Какое упоение —
Над бурями полёт!

* * *

Отныне, Грузия, тебе
Часть сердца отдаю.
Я душу и судьбу навек
С тобой соединю.

За справедливость, доброту,
За мудрость, красоту,
За чувств тепло и глубину,
За всё благодарю.

За вольность дивную твою —
Живой воды струю,

Склоняю голову свою,
Как брат тебя люблю.

* * *

Один я к морю приходил...
Там, где сидели мы,
Стихами полными любви
Я с Вами говорил.

Не забывал Вас ни на миг.
Судьбу благодарил...
Но сколько б чувств не принял стих —
Я полон Вами был.

ЯЛТА

I

Пройтись по набережной Ялты,
Парад заезжих нимф принять...
Спуститься в винные подвалы —
Мысль одержимую унять...

И на случайный, лотерейный,
Последний рубль купить вина.
За общий стол самозабвений
Присесть и пить... не до пьяна...

И наблюдать чужие страсти...
И укрывать стихи рукой...
Те, что нисходят средь напасти...
И гордый сохранять покой.

Вдруг вдохновение обрести,
Запить его глотком вина.

Всех полюбить и снизойти
Из подземелия до дна.

На этом дне освобождённом,
Где воскрешают суть сердец,
Вдруг золотник молодожёнам
Напомнит пробу их колец.

Потом в гостиницу подняться,
К окошку с видом на «Парнас»,
В свой «Крым», 412,
Чтоб вдохновенья луч не гас.

Ведь от излишества вина
Душа тупеет, помни это...
Благословляю города
Шальные, как судьба поэта.

Стихи закончу. Стану грустным —
Счастливей жизни мне не надо!
И преклонюсь перед Искусством —
Самозащитой от распада.

Возьму стихи и побегу
Сквозь строй томительный опять
К тебе. Ведь лишь тебе могу
Я откровенья доверять.

II

Ялта праздна. Ялта ярка —
Гринов Зурбаган:
Разноцветные корветы
Тянут в ночь полосы света,
Игры, страсти лунопарка,
Головы дурман.

Вдоль по берегу брожение:
Статных тел литьё,
Нимфы, фурии, богини,
Манят в туники бикини...
Плоти светопреставление,
Духа забытьё.

Ночью гневом вспыхнут горы,
Ливень смоем грязь...
Неба молниевы взоры
Говорят, что под надзором —
Дьявола напасть.

13.07.1982

III

На властный не ответив крик,
Я тихо удалюсь.
Неволе — год, свободе — миг.
Я за перо возьмусь.

Свой голос вновь я обрету,
Прислушаюсь к нему,
Души нарушу немоту,
Бумаги белизну.

На море шторм. Мне хорошо:
Друг... стол... огонь... покой...
Подольше б этот дождик шёл —
Я не хочу домой.

Есть у мужчин своё зерно,
Свои слова и суть.
Любить «богиню» суждено,
Но Бога не забудь.

Ни слова фальши нет меж нас —
Мужицкий разговор...
Мужчину Бог от фальши спас.
Ему не нужен спор.

Играет Океан пловцом,
Но сильный — доплывёт.
Не забывай своё лицо —
И час души придёт.

Пока «богиня» не пришла —
Нектару нацедим:
Ты год те капли создавал,
Они — глоток один.

V

Кого за жизнь благодарить?
Отца и мать, иль Проведенье?
Грех... Покаянье... Очищенье...
Какое наслажденье жить!

И пробиваться к Свету вновь,
Вставая в рост над кучей хлама.
Жизнь в хламе — человечья драма,
А песня воли — из оков.

И неожиданность любить —
Источник радости познания,
И тесноту времён страдания
В душе своей благословить.

ОКНО В ЯЛТУ

VI

Всё лето предо мной
В распахнутом окне —

Пейзаж с голубизной,
Бальзам на душу мне:

Туманный Магаби —
Прогноз моим глазам,
Фаникулёра нить
До «Горки» — в ресторан,

И церкви купола,
Ракеты золотой,
Хранят в колоколах
Сторожевой покой.

А выйдешь на балкон
В морской, вечерний мрак,
Там — ветро-свето-стон,
Звереет «Лунопарк».

«Крымчанин» без труда
Затаскивает в порт
Разгульные суда
Цветастые, как торт.

Светопреставление,
Праздное житьё,
Плоти насыщение,
Духа забытьё.

И взоры горожан
Нашествием больны:
Вползает в дом дурман
Пришельца — «Князя тьмы».
Да сбудется мечта: И город будет — ваш,
И моря красота, И синих гор пейзаж...

10.08.1982

VII

Любить, растить детей и верить
В высокий смысл бытия:
В то, что и жизнь, и смерть твоя —
Лишь часть пути из двери в двери.
И сколько смог ты на пути
Любви и доброты найти,
И в Божий Промысел поверить.
И будет по делам дано:
Подняться ввысь иль пасть на дно,
И долю Вечности отмерить.

VIII

Для глаз моих нет выше наслажденья,
Вернувшись в Ялту горы видеть вновь:
Их обрамляющей цепи оцепененье,
Фаты шафраново-туманной украшенья
К лицу уродливой горбатости хребтов.

* * *

И вечный бой с гнетущей силой.
Не подчинение судьбе.
Цена Поэту лишь в борьбе,
В бесстрашье пред своей могилой.

За краткий путь даны Поэту
Покой и вспышки Озарений,
Молчанье — царство Откровений,
И песни Знания и Света.

Но я — за длительность полёта;
За долгий, мудрый путь земной.
Поэт — живи, как жил Толстой,
Рабиндранат Тагор и Гёте.

ОДИНОЧЕСТВО

Неужели я один, наконец?..
На неделю и не муж, и не отец...
Неужели этот дом и этот лес
Одиночество мне дарят, наконец?..
Неужели, впрямь, я слышу тишину...
Моих мыслей не нарушить никому...
Я могу гулять и молча размышлять,
А надумав что-то, сесть и — записать...
Иль роман..., иль, может, просто — стихи...
В них безжалостно распну свои грехи.
Я молчу, чтоб правду сердца ощутить,
Должен кто-то людям правду говорить.
Захочу — поеду в город к друзьям...
Захочу — замру на несколько дней...
Захочу — все клады сердца раздам
Первым встречным из прохожих людей.
Захочу вина — глотком утолюсь,
Захочу — хоть весь в вине утону,
Захочу — и в суете захлебнусь,
Захочу — до озаренья усну...
Может быть, я ничего не напишу.
Просто так здесь поживу и погрузу...
Значит, время творить не пришло.
Жажду жить одолеть тяжело.
И придёт неделе воли конец.
Снова стану я и муж, и отец,
Зять любезный и Любящий сын,
Надо мною снова всяк — господин.
Буду время своей жизни — дарить:
Не творить, но честно ближним служить...
Вспоминать про этот дом и этот лес,
Где побыл я одиноким, наконец.

Октябрь 1982

МОИМ КРИТИКАМ

До тридцати семи — два раза
Я был в издательствах журналов
И дважды обжигался фразой
Редакторов — «Смиренья мало.

Учитесь у больших поэтов,
Исправьте всё... Тогда, возможно,
Благодаря моим советам,
Вас напечатать будет можно...»

Редактор, критики и «веды» —
Не ведаете, что творите,
Ни духа, а товаро-«веды»,
Не Правде — суете служите.

Свою вы совесть продаёте,
Бедняги, за оклад ваш низкий.
Я б слушал то, что вы плетёте,
Когда б плели вы, как Белинский.

Отныне до конца — ни разу
Сам не явлюсь в «стих-торг» журналов.
Я на века слагаю фразы,
И от того смиренья мало.

* * *

Могу писать я потому,
Что не подвластен никому,
Не озабочен суетой,
Живу почти, как граф Толстой.
За стих не надо ни гроша
На пропитанье малыша.
Кладу я в стол свою тетрадь —
Могу бессмертья подождать.

Могу всегда правдивым быть,
Свободным сердцем жизнь любить
И знать — меня поймёт жена:
Суть у художников — одна.

Могу я рекомендовать:
Профессий больше обретать.
Тогда и ваш свободный стих
Прокормит хоть одна из них.

* * *

В покое мыслью возноситься
Мог Гёте... Фет... и граф Толстой.
Сегодня это может сниться:
Дух обескрылен суетой.

Поэтому, когда неожиданно
Даны мне отдых и покой,
Готов трудиться неустанно,
Как Гёте, Фет и граф Толстой.

Но я не граф и не сановник,
И завтра вызовет на бой
Искусством правящий чиновник,
Прочтёт и скажет: «Не Толстой!..»

* * *

На съёмках фильма «Военно-полевой роман»
Одесса — Коблево, апрель 1983 года

ЭПИТАФИЯ

I

Когда меня не станет во плоти,
Носившей имя Николай Бурляев,

Вы сможете итоги подвести,
Но только сам себя я лучше знаю.

Я к вам явлюсь в десятках кинолент...
Стихи и прозу мало кто достал...
Биограф мой отметит феномен:
«Ни в чём Бурляев Правды не предал».

Чиновник, наконец, хвалу воздаст
Непокорённому поэту Николаю...
Живи спокойно, обречённый брат —
Душой богатый, бедного — прощает.

Я не для славы, званий и наград
В атаку шёл — писал, играл, снимал,
На Истину смотрел поверх преград,
Чтоб ты, мой друг, души не предавал.

И вот, меня нет с вами во плоти,
Носившей имя Николай Бурляев,
Душе итога на земле не подвести...
...Ах, знали б вы То, что теперь я знаю..!

II

Солнечный апрель. Ветерок морской.
Ни души. Штормит.., а в душе покой.
Скоро — 37! — Лишь начну я жить!
Верую творить! Правду говорить!

Мой Дантес ещё не рождён на свет,
А Мартынова и в помине нет.
Ну, а коль рождён преисподней сын,
Жаль беднягу мне. Я — неистребим.

20.04.1983

III

Сегодня море не штормит
И цвет волны скупой —
Мутно-зелёный малахит,
И веер солнечный сквозит
Над далью голубой.

И ни души опять вокруг..
Нет, вон бредёт одна...
Девичий, узенький каблук
Ракушки колет: стук да стук...
Должно быть, влюблена...

И шелест волн виденье смыл,
А может, я спугнул...
Вчера я на море простыл
И лёгкий насморк подхватил,
А потому — чихнул...

21.04.1983

IV

Апрель... Лежу, дремлю на косогоре,
Весной на солнцепёке благодать:
Дышать лиманом, травами и морем,
И слух природы пеньем услаждать...

И в небеса вникая голубые,
Как в Вечность, поджидающую нас,
Увижу вдруг — в аквариуме глаз
Всплывают, тают змейки голубые...

Сегодня я очищен озареньем,
Омыт сияньем копоты налёт,
С вершины вниз гляжу без раздраженья,
Устанет локоть, лягу на живот...

И таинство постигну: вновь рождает
Земля светло-зелёный пушок...
Дремлю..., а пальцы бережно ласкают
Доверчивый и нежный стебелёк.

V

Люди-себялюбцы за стеной бранились:
Мелочные споры... Зло надменных лиц...

Я ушёл на море... А оно искрилось,
Словно щебетанье миллиона птиц.
Крики птичьей стаи не смутят покоя,
Ведь поэт, как птица — воден, нелюдим...
Впрочем, я и птичьей стаи не достоин,
Я высокомерен — я пою один.

21.04.1983

Мне подарены мгновенья,
И стихи текут.
Наплевать мне на сомненья,
На недуг и невезенье,
Быта не уют.

Не «сезон» на Чёрном море.
Пляжа господин —
Я ликую на просторе!
Жизнь поэта лишь на воле!
Он творит один.

21.04.1983

Пусть я чихаю и соплю,
Но с моря не иду.
Сижу, кропаю ерунду
И вдохновенья жду.

А для него я всё стерплю.
Хоть век здесь просижу.
Ведь за бессмертную строку —
Чихаю и соплю.

21.04.83

В КИНОЭКСПЕДИЦИИ
(экспромт)

Бездумно посидеть... на солнце поглядеть:
Как жёлтый шар в лиманы погрузиться...
Мне хорошо в компании женщин вечереть,
Ухи поесть... смотреть, как тянут шерсть,
И семечками вволю насладиться.

Приходит вечер и холодный наш бедлам,
Затерянный в лиманах под Одессой,
Многоголосой вакханальей обуян,
Набат Высоцкого гремит по номерам —
Гуляет Молдаванка и Пересы...

21.04.83

* * *

Люди — все поэты,
Божии создания.
И не ведать это —
Пытка, наказание.

Бог меня отметил,
Тайну приоткрыл,
Чтоб я пел о Свете,
Радостью творил.

Не понять Сиянья —
Не изведав Это!
Ныне нет отчаянья,
Мрак растоплен Светом.

Пусть не полно знание,
Я не унываю,
Когда срок настанет —
Больше я узнаю.

24.04.83

За славу, блага грех служить.
Не для себя молю,
Я Бога сердце озарить,
Помочь мне душу воплотить...
Я славу не люблю.

Молю — для тех, в ком веры нет,
Зажечь во тьме звезду.
Среди распада, мрака, бед
Да будут — радость, вера,
Свет! За это в бой иду.

Когда придётся пожинать
Хвалу и лесть — молю:
Минует самости напасть,
Чтоб от гордыни не пропасть...
Я славу не люблю.

* * *

Я не подвластен никому:
Ни другу, ни родным, ни жёнам,
И ни чинушам обречённым,
Но только — Богу одному.

Всегда вас выслушать могу,
В сеть словоблудья проникая,
Суть вашу мигом постигая,
Лишь голос истины ловлю.

Терплю обиды долго я
И ухожу — не проклиная:
К Иуде жалость сохраняет
Влюблённая душа моя.

Двенадцать лет благодарю
Всевышнего за Откровенье.
И явь, и Тайну Воскресенья,
Как раб и властелин люблю.

09.05.83

ПРОГУЛКА

Я суету смиряю:
Заботы отложу,
Домашних покидаю,
Под звёзды выхожу.

Со мною в мирозданье —
Лохматый «Чудик» мой,
С собачьими клыками
И с ангельской душой.

Он мысли не нарушит,
Себе не подчинит,
Он мне, как другу, служит
И преданность хранит.

Любви взамен не просит,
Но сам в любви горит,
Всё молча переносит,
Обиды не таит.

Как тень за мной ступает,
Не знает поводка,
Мгновенно исполняет
Он мой приказ: «А-а!»

В далёком закоулке
Лохматый «Чудик» мой
Поймёт — конец прогулке
И повернёт домой.

ПЕСНЯ ЦЫГАНА

Я — цыган: люблю дорогу,
Гнёта не терплю,
И оседлую берлогу
Не люблю.

За порог с котомкой в поле
Выйду, помолюсь
И, почуя воздух воли, —
Улыбнусь.

Я под звёздным небосводом
Молча постою,
Снова обретя свободу —
Запою.

С первым встречным горемыкой
У костра напьюсь,

Радостью и хлебной коркой
Поделюсь.

Молдаванки вижу очи —
Мимо не спешу.
Я ей нужен, значит, ночью
Согрешу.

Грех ли вольною душою,
Что богаче всех,
Одарить и успокоить?
Нет, не грех.

Обещают мне, что бросят
Целый мир к ногам,
А взамен лишь волю просят —
Не продам.

Я — цыган: люблю дорогу,
Волюшку люблю,
За оседлую берлогу —
Не сгублю.

Утром вновь с котомкой в поле
Выйду, помолюсь,
Вновь, почуя воздух воли, —
Улыбнусь.

Волю я отдам лишь Богу.
Клад иль медный грош
Ты в последнюю дорогу —
Не возмёшь.

*(Москва—Ташкент, в воздухе,
на борту ИЛ-62 13.05.83)*

* * *

Если ни я и ни ты
С ложью не выйдем на бой.
Не защитим Красоты
Перед зловещею тьмой;

Если ни ты и ни я
Факел сердец не зажжем,
Правды не скажем друзьям,
Песню души не споём;

Ежели я, если ты —
Станем в глаза людям лгать
И ради благ пустоты —
Свет Красоты предавать;

Кто же за нас сбережет
Истины Свет золотой...
Мир от распада спасет,
Коль мы не вышли на бой?!

01.06.1983

* * *

Я над пропастью любуюсь бездной горной.
Не боюсь сорваться, легче пуха...
Жизнь хрупка, не вечна — смертной формой,
Но мощна, нетленна — Светом Духа.

Обетшают книга, киноплёнка,
Холст, вода размочит камня груду...
Смысл жизни — в чистоте ребёнка.
Цель — помочь душой подняться людям,

Чтобы миллиарды «Я» бессмертных
Истину свободно познавали,
И встречаясь, лишь добра и света,
Единенья душ своих желали.

17.10.1983

* * *

Посмотрю на озеро лесное...
Погружусь в безмолвья глубину...
Единенье двух миров открою, —
Явь с небытием соединю.

Стоя в океане сотворённом,
Мыслью проникаю за туман...
Без преград, за колокольным звоном
Я плыву в Незримый Океан.

Зарасай—Вильнюс 7—11 дек. 1983

ФАУСТ И МЕФИСТОФЕЛЬ

М е ф и с т о ф е л ь

«Чему же радуешься ты?!
Блаженный, посмотри в окно!
Там — грязно, холодно, темно,
Там топчут у пивной цветы.

Из ядовитого ларька
Плетутся пьяные домой.
Там — слёзы, крики, мордобой
И осквернение очага.

Вершат растление детей,
Раскрепощая смрад земной,
Ожесточеньем и враждой,
И культом варварских страстей.

Там бог — стяжательства микроб.
Там разворовывают дом,
Как будто детям жить не в нем:
Гуляй, а после — хоть потоп!

Там тот велик, кто ниже пал.
Там развращают юных жён.
Безверьем разум затемнён...
Короче — я там правлю бал!

Лечу к свершению мечты!
Легко влеку людей на дно!
Блаженный, посмотри в окно!..
Чему же радуешься ты?!»

Фауст

«Ты жалок мне, надменный бес.
Я принимаю вызов твой.
Да будет смертным этот бой.
В бою — у Правды перевес.

Срок поединка наступил.
И если корень зла открыть,
Зло будет легче победить,
А ты свое лицо явил.

Ты — всюду, где смердит распад,
Царит растление детей
И жён — хранительниц семей,
Где злобные сердца растят.

Ты хмелем Землю опоил:
Алкая твой смертельный яд,
«In vino veritas!» — кричат.
Погосты ты омолодил.

Ты смертным мне грозишь судом?
Ты можешь тело лишь убить,
Но дух мой вечно будет жить!
Не страшен ты. Ты мне смешон!

Смотри! Внимательно смотри:
Не одолел ты Красоту!
Мать поит грудью чистоту —
Растут Земли богатыри!

Свет веры — выше всех преград.
И люди жертвуют собой,
Служа Гармонии земной,
Не требуя себе наград.

По миру светлый клич летит.
Добра незримые полки
Неисчислимо велики.
Всё ярче Свет во тьме горит.

Так отчего же мне не петь?
Огонь души — не истребим.
Он — мира добрый властелин.
Тьме, мощь огня — не одолеть!»

*Абакан—Шушенское—Москва,
22.12.83 — 04.01.84*

НА ДАЧЕ ЛИВАНОВЫХ

В плетёном кресле, на веранде, под сосною
Сидел в уединеньи Пастернак.
Он видел — в тихом поле, за рекою,
В закате солнца буйно пляшут кони,
Он слышал шёпот ветра, лай собак.

Из горлышка он пил «Ракацители»,
Курил и думал о судьбе своей...
Ограду перелез, но не застал друзей:
Они из города вернуться не успели.
Домой он не спешил. Хоть руки холодели,
Писал в тетрадь и близких ждал людей.

Пиров он помнил вольную пронзённость,
Любовью, братством, верой в существо...
Бродили кони, и садилось солнце...
До половины было выпито вино...
Брат всё не шёл... Но верою в родство
Он полон был и пил за непокорность.

Он знал свой жребий и судьбу, знал, что умрёт...
В конюшню проскакали кони дружно.
Зарылось солнце в чёрные подушки...
Он отложил тетрадь, курил.., и гнёт
Судьбы и времени воспринял равнодушно:
Их одоления, знал он — вечность ждёт.

Плоток последний, чрез ограду и — домой...
Он шёл по грязи... Дело к ночи... Ныли ноги
В ботинках новеньких, подаренных женой.
Ругался громко, пел: «Ах, только бы луной
Был светел путь просёлочной дороги!..»
Боль под ребром он вызвал быструю ходьбой.

Автобуса он ждал... Сверчок сверлил...
В дрожании луны, просеянной сквозь крону,
Он дописал стихи, тетрадь закрыл...
Он мысли гнал о том, что будет вскоре
Не о своей теперь он думал доле:
«Дай Бог, чтоб сын мой от лица не отступил».

Когда-то, на веранде, под сосною
Сойдутся дети, дух отцов храня,
И может быть, внезапно осознают:
«Брат, мы хранители священного огня.
Любовь и истину мы сердцем принимаем».

Бокал заветный сильною рукою
Они поднимут с волей и покоем...
И вдруг увидят — в тихом поле, за рекою
В закате солнца буйно пляшут кони.

* * *

Пронзая мыслью время и пространство,
В темнице фарисеев рву оковы,
К Тебе стремлюсь, води моей душою,
Благослови сказать святое слово.

Вопль материнства и безволие отцов,
Безверие, апатия, забвенье,
Падение пресыщенных юнцов...
Печально я гляжу на наше поколение

Есть внутренний природы тайный Свет
Свет хлеба, дерева, Свет всякого предмета.
И умирает человек, исчерпав Свет.
Родится человек, пронзённый Светом.

Дерево корнями *впилося* в землю,
А висками крон стремится в небо.
Человек — ногами на земле,
А душой — в Божественных пределах.

Спокойно жизни хаос наблюдать
И постигать — аскетам лишь дано.
Мне хладнокровным быть не суждено.
Так буду падать и вставать попеременно,
С восторгом и тоской всё в жизни принимать...
Собою оставаясь неизменно.

Я не люблю хождений по грибы:
Плетёшься, глядя под ноги, по лесу,
Не утруждая мыслью головы,
Берёзовой не видя белизны
И мирозданья синюю завесу.

ПОДРАЖАНИЕ РАБИНДРАНАТУ ТАГОРУ

Словно капля росы на цветке
Под сияющей солнечной бездной,
Бьётся жизнь моя на волоске,
В упоительно дерзкой тоске,
С бурей времени спорит в надежде.

Видно капля сорвётся, взлетит,
Растворится в лучистом Сиянье...
Горько-сладостен будет тот миг,
Вот последний души моей крик:
«Мир, любовь вам, друзья, на прощанье.
Радость ваших сердец ощутит,
Радость, певшую в сердце моём,
И, быть может, обиды простит,
Сердце доброе вас примирит
С непокорством в поэте былом.

С тем, кто Истины не предавал.
Ведал путь свой, играл в поддавки:
В плен сдавался и песню смирял
На мгновенье, потом бунтовал,
Поднимался, сметая силки.

Заблужденьям моим есть ли счёт?
Взлёты — редки, безмерны — паденья.
В муках верил я — песня спасёт,
Река Истины к Свету течёт
Через заводи и заблужденья.

Не завидовал я никому.
Мир посеять меж вами мечтал я.
Не давал развращаться уму.
Тайной сердца внимал я тому,
Что на Песню его вдохновляло.

Терпеливым был я в унижение:
Вол на бойню идёт покоряясь.
Проверяется золото в кипенье,
Человек на кострах искушений,
Болью, кровью, слезой очищаясь.

Я об острове Песни мечтал,
В море призрачных духов блуждая,
От фальшивых огней уплывал,
Праздный треск их костров не внимал,
Одиночеством Песнь возрождая.

Постоянную верность храня
Лишь России и матери нежной,
С вами жил лишь года,
С ними в сердце — всегда,
Всею кровью сыновьей, мятежной.

Словно капля слезы на цветке
Под сияющей солнечной бездной,
Бьётся жизнь моя на волоске,
В упоительно дерзкой тоске,
С бурей времени спорит в надежде.

* * *

Ростки надёжности и веры человека
Лишь замечать и слабости прощать.
Правдивости и слабость не помеха.
Нам жизнь дана — грехи одолевать.

Мы делаем друг друга понемногу
Бескрылыми, иль крылья дарим вновь.
Да будет слабым — сильного подмога:
Пусть одному, но вся твоя любовь.

Не защищаясь, в небо воспарять
И быть не достигаемым для тлена.
И радостью уверенность вселять,
Что правда избежит земного плена.

В обязанности входит бытиё.
Нам жизнь дана для сердца испытанья.
Быть может, пересилишь небытиё,
Одолевая радостью страданья.

Темнеет зоркость, в сытости живя.
Благополучие считать за наказание.
Всё принимать спокойно, не скорбя.
И даже в смерти — не забыть дерзанья.

* * *

Заповедано мне петь весь свой век:
На Руси рождён счастливый человек.
Сердцем славить радость и Свет,
На земле прекрасней участи нет.

В горле Русь клокочет — вены отворю
Захлебнусь любовью, болью, но спою:
«Смерть — не в землю нисхождение и не тление.
Бесконечное движенье, возрождение».

Кровь кипит, пылает мысль — я пою!
Я разжёл в душе пожар. В нём сгорю.
Под душою, как под ношей упаду.
Под конец я жизнь до смерти полюблю.

В горле Русь клокочет — сердце отворю,
Захлебнусь своей любовью, допою:
«Смерть — не в землю нисхождение и не тление,
Бесконечное движенье, вознесение».

* * *

Кого за жизнь благодарить?
Отца и мать ли, Провиденье..?
Грех, покаянье, очищенье...
Какое наслажденье жить!

И продолжать движенье вновь,
Вставая в рост над кучей хлама.
Жизнь в хламе — человечья драма,
А песня воли — из оков.

И неожиданность любить,
Источник радости познания,
И тесноту времён страдания
В душе своей благословить.

* * *

Любить, растить детей и верить
В высокий смысл бытия,
В то, что и жизнь, и смерть твоя —
Лишь часть пути из двери в двери.

И сколько смог ты на пути
Любви и доброты найти,
В Божий Промысел поверить.
И будет по делам дано:
Подняться ввысь иль пасть на дно
И долю Вечности отмерить.

* * *

И вечный бой с гнетущей силой
Не подчинение судьбе.
Цена поэту лишь в борьбе,
В бесстрашье пред своей могилой.

За краткий путь даны поэту
Восторг внезапных озарений,
Молчанье царство откровений,
Мгновенья Знания и Света.

Но я — за длительность полёта.
За долгий, мудрый путь земной.
Поэт — живи, как жил Толстой,
Рабиндранат Тагор и Гёте.

* * *

Зачем печали сердце предаёшь
И мнительностью мучаешь себя?
Ты больше проживёшь, когда любя,
С весёлым сердцем, с радостью живёшь.

Люби и внимли ты душе своей,
И сердце утешай, печаль гони скорей.
Она сгубила множество людей,
Смертельная болезнь таится в ней.

Нам гнев и ревность сокращают дни.
Гнёт мыслей злых старением опасен.
Я говорю слова вам не свои,
Я в Книге их читал, и с ней согласен.

* * *

Когда непризнан и гоним
Останешься один —
Не презирай и не кляни,
Но веру сохрани.

Не виноват надменный брат,
Ты больше виноват,
Что мира вам не обрести
И душу не спасти.

С рожденья сердцу суждена
Добра со злом война.
Другого нет у нас пути
Лицо своё найти.

Найдя его — не отступить.
Самим собою быть.
Покой хранить, добро творить,
Всё сущее любить.

Но даже те, кем обретён
Свет Истины простой,
Ввысь подвигаются трудом,
И каждый миг их — бой.

Но тот, кто жил, тот сделал шаг
Под солнцем в небесах,
И Свет за краткий жизни миг
Лучом во всех проник.

* * *

Сердце — ристалище Света и тьмы.
Бой с переменным успехом.
С мыслимой выси в силки сатаны
Вечно ль порхать человеку?

Рвётся душа из упругих сетей,
Пару узлов разрубила:
Тёмная сила в сознание слабей,
Бдительней светлая сила.

Впрочем, вчера полетав в вышине,
Мыслью за цепь зацепился,
И насладившись запретным в уме,
Сам на себя разозлился...

Сердце — ристалище Света и тьмы.
Бой с переменным успехом,
С мыслимой выси в силки сатаны
Вечно ль порхать человеку?

ОТЦУ

Люблю весну. На даче беспорядок,
Московского семейства дух предметный:
Стакан с вином не выпитый, заветный,
И на моей постели груда тряпок,
Чтоб спал в тепле приезжий сын, мерзляка.
Весь день хлопочет по хозяйству мать,
Которую я так хочу обнять,
Прижать к себе, удерживая время,
Ведь впереди нас ждёт разъединенье...
И суждено ли встретиться опять.

Пять соток огород, отец — «Живаго»
Копается в земле, украдкой курит,
Чтоб весело всем было, балагурит,
Недавно астмы отразив атаку,
А ровно в пять — обед в саду, с собакой.

Днём — исповедь отца под девичьей сиренью,
В объятьях веток — белого колья,
А ночью, на веранде, в тишине,
Он храпом разрывает беспределье...
Спит, репетируя небытие...
Но зная, что останется во мне,
Пока не догорю в любви — огне...
Да, и к тому же, завтра — Воскресенье.





**«Я ПОМОЛЮСЬ ЗА ВАС,
ЧТОБ ВАС
ВСЕВЫШНИЙ СПАС»**

ВЕЛИКИЙ УЧИТЕЛЬ

Николай Дмитриевич Мордвинов

В начале 1961 года судьба свела меня с Николаем Дмитриевичем Мордвиновым. Я — московский школьник, приглашённый на роль в Театр Моссовета. Он — народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, центральная фигура в театре Ю.А. Завадского, любимый мною Котовский, Богдан Хмельницкий, Арбенин... Каждый из этих фильмов я видел по несколько раз. И вот — он становится моим партнёром по спектаклю «Ленинградский проспект».

На репетициях мы сблизились очень быстро, подружились настолько, что спустя всего несколько репетиционных месяцев, в день торжественной премьеры Николай Дмитриевич преподнёс мне подарок, созданный его же руками. Мои современники помнят, в каких железных коробочках продавались конфеты монпансье. Мордвинов срезал стенки до половины, сделал внутри перегородочки, заполнил их гримом, вложил маленькие кисточки и, позвав перед началом спектакля в свою гримуборную, находившуюся напротив моей, вручил мне свой подарок. Я прожил с этой реликвией всю свою недолгую театральную жизнь с 1961 по 1968 год.

При первой встрече великий Мордвинов не потряс меня своим фундаментальным величием. Лысоватый, неторопливый, спокойный, не старающийся выделяться повадками премьера среди остальных артистов, выглядевший на их фоне, пожалуй, даже наиболее скромно. Началось моё постижение Мордвинова — живого человека. В спектакле мы играли роли любящих друг друга деда и внука, и эти отношения закрепились и в нашей жизни. Я ощущал, что Николай Дмитриевич относится ко мне не только с теплотой, но и большим уважением, как к своему партнёру. Я чувствовал это и не верил себе: кто — я и кто — он! Я — пятнадца-

тилетний мальчишка, он — великий артист, увенчанный высшими наградами страны, любимый и почитаемый народом.

Мордвинов в «Маскараде» потряс меня. Я действительно ничего подобного не видел в жизни. На сцене блистал великий классик, романтик театра Николай Дмитриевич Мордвинов. Аристократизм пластического рисунка, непередаваемый мелодичный, напевный, иногда раскатистый до надрыва голос. Возможно, в такой манере играли в прошлом, XIX веке. Не странно ли выглядит такая актёрская манера во второй половине XX века? О нет, у Мордвинова не странно. И сегодня, спустя тридцать пять лет, я слышу, словно наяву, его неповторимые интонации: «По-о-слу-у-шай, Ни-и-на, я-я-я ро-о-ждё-ён с ду-у-шо-ой ки-пу-че-ю, как ла-а-ва...» И последние слова монолога, произносимые голосом, восходящим до напевного вопля: «Две на-а-ши жи-и-зни ра-а-а-зо-о-рву-у-у-у!..» Холод пробежал по коже, волосы становились дыбом. Я поражался, как это возможно, играя в подобной классической манере, в каждом спектакле плакать настоящими слезами и быть настолько естественным и заразительным, что и зрители плакали вместе с Мордвиновым.

На всю жизнь я остался благодарен моему Учителю Николаю Дмитриевичу Мордвинову за уроки, преподанные мне.

Именно он открыл мне Лермонтова, которого любил самозабвенно. Много рассказывал мне о пламенной, нежной, бесстрашной душе поэта, развенчивая сплетни о его якобы дурном характере. Он брал меня на свои чтецкие концерты, где я мог наслаждаться его «Мцыри» или «Песней о купце Калашникове». Эти уроки Мордвинова о Лермонтове помогли мне спустя двадцать лет, когда я решился на постановку фильма.

Мордвинов научил меня отношению к театру как к храму искусства. Этот урок усваивался сам собою в наблюдениях за отношением к искусству самого Мордвинова. Как Николай Дмитриевич приходил в театр — театр подтягивался и преображался. Мордвинов не торопясь, величественно шёл, словно плыл по коридорам. Всегда спокойный, доброжелательный, тихий, но за этим покоем и тишиной тайно кипела внутри неудержимая лава, которую он готовился, не расплескав по коридорам, через некоторое время обрушить на зрительный зал. В день спектакля с

участием Мордвинова все сотрудники театра становились лучше, возвышеннее, внимательнее к окружающим. Осветители и рабочие сцены воздерживались от громкой речи, актёры от анекдотов (однажды Мордвинов поведал мне слова, сказанные великим русским актёром Михаилом Щепкиным: «Театр — это храм. Священнодействуй или убирайся вон!»).

С течением времени, сыграв «Ленинградский проспект» десятки раз, я, глядя на работу своих старших (а в общем-то ещё молодых партнёров Ии Саввиной и Вадима Бероева), стал подражать им в манере присутствия на сцене. Дело в том, что актёры частенько, отворачиваясь от зала, неслышно говорят друг другу различные смешные слова, не узаконенные текстом автора. И я, глядя на своих партнёров, начал участвовать в этом весёлом «подпольном диалоге». Очень скоро, после очередного спектакля, когда мы все, радостные, шли после поклонов со сцены по своим гримёрным, Мордвинов тихо сказал мне:

«Коля, зайди ко мне». Когда я вошёл, Мордвинов доброжелательно и спокойно произнёс: «Коля, не уподобляйся артистам, болтающим на сцене». Не скрою, что мне стало очень стыдно. Одного этого урока мне было достаточно, чтобы запомнить его на всю жизнь.

Были в нашей театральной жизни и смешные моменты, ибо чувство юмора, а подчас и озорство были присущи и Николаю Дмитриевичу.

На одном из выездных спектаклей в каком-то провинциальном клубе все актёры, и мужчины, и женщины, были вынуждены переодеваться в одной большой комнате. И Мордвинов, величественно повернувшись к коллегам, громогласно изрёк:

«Спокойно — снимаю!» И начал расстегивать пояс на брюках. Помню, спектакль в тот вечер прошёл особенно радостно и легко.

По режиссёрскому и изобразительному решению декорация «Ленинградского проспекта»: квартира семьи Забродиных была веером раскрыта на сцене, дабы зрители видели всё, что происходит, в единой панораме. Однажды, находясь в левой, крайней комнате (смотря в ней телевизор и ожидая реплики для своего выхода в большую комнату), я прислушивался к происходящей в

соседней комнате драматической сцене. Ия Саввина, исполнявшая роль Маши, как всегда, задала свой трепетный вопрос любимому ею Борису — Вадиму Бероеву: «Ну скажи, Боря, что это неправда?!» Вадим, как всегда темпераментно, прокричал: «Ой, да правда, ну-у!!...» — и бросился на кровать... И в этот момент я услышал (так как видеть из-за стен декорации не мог) незапланированный грохот и мгновенную реакцию зала, выразившуюся в подозрительно ехидном, корректно сдавленном хохотке. Было понятно, что на сцене создалась чрезвычайная ситуация. Дождавшись реплики, предваряющей мой выход, я ворвался в комнату с криком «Наши, наши выиграли, три — два!..» И увидел следующую картину. Вадим и Ия стоят отвернутые от зала и едва сдерживают смех. В углу кровать с проваленным между подпорками на пол матрасом. Кровать, на которой буквально через пять минут должна по ходу действия скончаться бабушка. Вадим и Ия с радостью покидают квартиру, оставляя нас троих (Мордвинова, Сошальскую и меня) в сложном положении. Мордвинов спокойно поворачивается ко мне и незаметно для зала произносит: «Ну что, Василек, давай чинить, ведь бабушке сейчас помирать...» Вдвоем мы подняли с пола матрас, положили его на еле удерживающие его подпорки. Помогли перепуганной В.А. Сошальской тихо присесть, а потом и в ужасе прилечь на «смертное ложе»... Дальше всё прошло, как по нотам: не прошло нескольких минут, и Мордвинов своей игрой заставил зрителей не только забыть недавний конфуз, но и содрогнуться, а многих и прослезиться.

Однажды я, увлечённый разговором с зав. труппой и не слышавший закулисной трансляции спектакля, опоздал на свой выход на сцену. Вдруг по репродуктору я уловил встревоженный голос помрежа: «Коля! Коля Бурляев! Скорее на сцену! Коля, Коля Бурляев, где ты?!» Стрелой я свинтился с пятого этажа и вылетел на сцену, предстал перед изумленными глазами Ии, Вадима, Сошальской... и совершенно спокойного Мордвинова. Никто из партнёров не стал бранить меня за это нечаянное опоздание на выход на целых три минуты. Я был наказан за это вскоре опозданием на сцену артиста Баранцева, правда, всего лишь на одну минуту. Но что такое на сцене есть одна минута существования в ситуации «чёрной дыры», не прописанной автором, я смог ощу-

тить лично. Итак на сцене — Мордвинов, Сошальская на своем шатающемся «смертельном одре», Ия Саввина и я. Звонок в дверь. Саввина идет открывать — за дверью никого... Покричав: «Кто там? Кто там?», она бежала с поля боя, скрылась за дверью, оставив нас с Мордвиновым наедине с залом.

Страх от погружения в неизвестность я особого не испытал: ведь рядом был мощный, как скала, Мордвинов. «Ну, рассказывай, Василек, что у тебя в школе...» — спросил он. И потекла бесконечно долгая минута нашей вынужденной импровизации. Признаться, это было даже интересно — творить совместно, на равных с самим Мордвиновым.

В 1963 году на гастролях театра в Ленинграде все актёры жили в роскошной гостинице «Европейская». Причём мы с Николаем Дмитриевичем располагались на одном этаже и часто могли видеться на завтрак в буфете. Помню, я до костей продрог, прокатившись в промозглую майскую ленинградскую погоду в одной курточке на мотороллере до Гатчины и обратно. Увидев меня, посиневшего, в буфете и узнав, в чём дело, он купил мне, бедному артисту, 50 граммов коньяку и приказал выпить.

По причине безденежья я на этих гастролях ввёлся в массовку «Короля Лира». Ведь за каждый спектакль мне платили по три рубля.

Мне предстояло выйти среди свиты Короля Лира в сцене после охоты. Я решил пофантазировать над обликом моего героя и сделал себе возрастной грим: парик с длинными волосами, усы, бороду, горбатый нос, морщины, седину. Выйдя на сцену со свитой и подпевая в хоре: «Из замка выходит охотник лихой, охотник лихой...», я попытался протиснуться поближе к Лиру — Мордвинову и попасть в поле его зрения: узнает или нет. Мне это удалось: Николай Дмитриевич заметил меня и, к моему разочарованию, сразу узнал. «Что это ты с собой сотворил?» — тихо спросил он меня. Всю последующую сцену я сидел у его ног, и мне было весело и уютно подле моего великого и доброго партнёра. Неожиданно Николай Дмитриевич шепнул мне: «Коленька, что-то сердце давит... Пойди ко мне в гримёрную... в пиджаке в нагрудном кармане валидол... принеси...» Я сорвался с места и помчался исполнять просьбу моего дорогого друга, доверившего мне столь важ-

ное для его жизни и дальнейшего хода спектакля задание. Когда я с капсулой валидола хотел выйти на сцену, я с ужасом заметил, что моя массовка — свита Лира, покинула сцену... Что делать?.. Недолго думая и никого не спрашивая, я шагнул из кулис на сцену (считая своим долгом спасти жизнь Николая Дмитриевича) и решительно направился прямо к Мордвинову — Лиру, выяснявшему отношения с одной из своих дочерей. Я не вглядывался в реакцию опешивших актёров, я был занят более важным делом: «Я принёс!» — прошептал я Мордвинову и незаметно для зала вручил ему капсулу. Николай Дмитриевич взял её, спокойно сказал мне: «Спасибо, Коленька...», извлёк таблетку валидола, положил в рот, вернул мне капсулу. Сделав своё дело, я гордо покинул сцену, считая, что мой любимый старший друг, мой дорогой Николай Дмитриевич — спасён.

Помню проникновенные и мудрые тосты-речи Мордвинова на тех или иных театральных вечерах. Тосты эти становились центральным событием застолья, все ждали их и, дождавшись, благоговейно затихали.

Мордвинов поразительно чутко, один из первых отметил начавшее уже в те годы происходить глумление некоторых модных театральных режиссёров над русской классикой. Как-то он поделился со мною своими впечатлениями от увиденного накануне, нашумевшего по Москве, спектакля. Помню его гнев, печаль и слова об издевательствах над великим русским драматургом, создателем пьесы. Признаюсь, что тогда я не понимал гнева Мордвинова, посчитал это излишней возрастной нетерпимостью к театральным новаторам.

С годами процесс глумления над национальной классикой и русской культурой стал очевиден многим, а в конце XX века стало подлежать критике и презрению само стремление немногих театральных коллективов Москвы, старающихся работать в традициях русской сцены. И сегодня я полностью понимаю гнев великого русского артиста И.Д. Мордвинова, первым заметившего начало пагубного для русской сцены процесса.

В заключение не могу не вспомнить и ещё один, важный для меня урок Николая Дмитриевича Мордвинова, спасшего мою дальнейшую актёрскую судьбу. В пять лет отроду я был испуган

подростком-соседом и с тех пор начал заикаться. Но в театре играл совершенно спокойно, не заикаясь вообще.

Было сыграно уже более 100 спектаклей «Ленинградского проспекта», который шёл уже четвёртый год. Я освоился в своей роли настолько, что плавал на сцене, как рыба в воде. Всё стало мне родным и привычным. И вот на одном из спектаклей я решил заикнуться. Заикнулся, потом ещё и ещё и наконец уже не мог унять своей речи. Страх парализовал меня: ведь я выдал зрителям свою тайну: то, что я заикаюсь... Партнёры смотрели на меня с удивлением и жалостью, но ничем помочь не могли. Едва не теряя сознание от страха и стыда, я кое-как доиграл спектакль. Вот и колонны... Занавес закрылся. Я побрёл со сцены следом за Николаем Дмитриевичем. Словно магнит, влекла меня за собой его неторопливо плывущая по театру фигура, словно я понимал, что только он один сейчас меня поймёт и спасёт. Я зашёл следом за ним в его гримёрную, молча опустил в кресло. Николай Дмитриевич начал разгримировываться, добро поглядывая на меня в зеркало и не начиная разговор первым.

— Я не могу завтра играть спектакль, — произнёс я наконец, — я уйду из театра.

— Скажи, ты хочешь быть артистом? — спросил Мордвинов.

— Не знаю... Какой я артист... заика...

— Нет, Коленька, ты артист. И ты будешь артистом. Знаешь, в цирке у актёров есть такой закон: если артист падает с каната или трапеции, он должен немедленно влезть на трапецию и повторить свой номер. Иначе поселится страх. Ты будешь завтра играть.

Ночь я провёл без сна, бесконечно повторяя в уме текст роли. Еле дождался утра, пошёл в театр, играл и поборол свой страх. Спасибо моему дорогому Учителю.

Мы много играли этот спектакль вместе, записали его на радио, играли отдельные сцены в концертах и на телевидении, играли в Ленинграде, Киеве...

Как живая, стоит перед мной картина, врезавшаяся в мою память, я вижу её, словно это было вчера: мы с Николаем Дмитриевичем ожидаем за стеной декорации наших выходов на сцену. Первый выйдет он, спустя некоторое время — я. Мы молча сидим на стульях друг против друга, внутренне готовимся к встрече с

дышащим, покашливающим, притаившимся залом. Мордвинов сидит, положив ноги на соседний стул. Его глаза прикрыты. Я люблюсь своим великим партнёром. Вот он — такой родной, дорогой моему сердцу...

— Неужели же это счастье когда-нибудь закончится? — задаю себе вопрос, влюблённо разглядывая Мордвинова. — Неужели он когда-нибудь умрёт... и всё закончится?

С тех пор прошло уже 35 лет. Мордвинова давно уже нет среди нас. Обеспамятевшие критики и средства массовой информации не желают вспомнить о том, что в истории русского театра был великий Мордвинов. Что именно ему Россия обязана тем, что сохранила свою душу. Мордвинов, Черкасов, Ливанов, Козловский и другие светочи русской сцены пели песню русской, православной, великой и чистой души в годы атеистического безвременья. Они явились тем духовным мостком, перекинутым от прежней России в Россию будущую. И эта грядущая Россия помянет всех, кто честно служил ей. Помянет и великого русского артиста и человека Николая Дмитриевича Мордвинова.

АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ МИРОВОГО КИНЕМАТОГРАФА



*75-летию Андрея Тарковского
посвящается*

«Я грудью шёл вперёд,
Я жертвовал собой»

М.Ю. Лермонтов

«Один из всех, за всех, противу всех»

М.И. Цветаева

Не только лермонтовскую и цветаевскую цитаты можно поставить в эпиграф, определяющий личность и судьбу Андрея Тарковского. К Тарковскому применимы изречения многих выдающихся людей России. Ибо сам Тарковский — выдающийся художник.

Это при жизни осознали окружающие. Уверен, что это было известно и ему самому. Пишу это и вижу ироническую улыбку Андрея: «Ну ты даёшь, старик! И ты в воспоминания ударился?..» Да, дорогой Андрей Арсеньевич, пришло время воспоминаний... канонизации... творческого бессмертия... Обещаю тебе, Андрей, что постараюсь быть предельно искренним.

История русской культуры богата именами великих художников. Так было, есть и будет. «Нет пророков в отечестве своем», — утверждает Библия. Утверждение, верное лишь на половину, касающееся неприятия, официального непонимания «пророков» властимушными. История говорит о том, что есть пророки в отечестве, есть подвижники, есть нравственные, духовные маяки, есть люди, грудью идущие вперёд, жертвующие собой во имя истины. Пророком быть больно и трудно, смертельно трудно... Но только пророк, мужественно несущий свой крест, совершающий на глазах всего народа восхождение на свою Голгофу, может в душевном восторге, непонятном обывателю, воскликнуть: «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю!»

Андрей Тарковский был таким пророком в кинематографе. Это было ясно нам, трудившимся вместе с ним, это было ясно всему кинематографическому отряду страны, это было ясно и тем, кто тормозил его свободную творческую поступь.

* * *

Не случайно даётся человеку имя. Не случайно он был назван *Андреем*. Он был и останется Андреем Первозванным не только русского, но и мирового кинематографа. И не только потому, что кинематографисты-профессионалы всего мира почитают Тарковского *режиссёром № 1*. «Для того чтобы понять, что такое режиссура, я тысячу раз прогонял на монтажном столе «Андрея Рублёва», — признавался мне знаменитый Эмир Кустурица. Перед Тарковским снимали шляпу великие — Федерико Феллини, Ингмар Бергман...

Далёкий предтеча Тарковского, великий Эсхил первым в мировой культуре, в трагедиях своих начал свидетельствовать о Боге, возводить душу своих читателей и зрителей к Богу, к высше-

му началу. Потом пришли Софокл и Эврипид и начали обратный процесс: низведение Бога до человека. «Какие боги?.. Мы сами как боги!.. А боги часто похлеще нас, смертных..!» Вместе с этим «низведением» началось угасание древнегреческой культуры и самой древнегреческой цивилизации.

Спустя столетия Тарковский, как некогда Эсхил, первым в мировом кинематографе начал возводить душу зрителя к Богу, делая это своим, доступным только Тарковскому кинематографическим языком. Именно поэтому Андрея Тарковского можно считать *Андреем Первозванным мирового кинематографа*.

* * *

Теперь — по порядку.

1960 год, ВГИК, учебная тон-студия. Стоя в тёмном зальчике перед микрофоном и глядя на экран, озвучиваю свою первую в жизни роль в дипломном фильме Андрея Кончаловского «Мальчик и голубь». Дверь в коридор распахнута. Заходит какой-то человек, застывает на пороге. Лица не видно, только контуры, тень. Чувствую, что «тень» внимательно следит за моей работой. К «тени» подошел Кончаловский, они о чём-то недолго, тихо побеседовали, и «тень» исчезла.

— Кто это? — спросил я Кончаловского.

— Это мой друг, Андрей Тарковский.

Имя мне ни о чём не говорило.

Спустя несколько месяцев мне позвонил Андрей Кончаловский:

— Читай рассказ Юрия Богомолова «Иван». Андрей Тарковский хочет попробовать тебя на главную роль.

Первая встреча. Любовь с первого взгляда. Красивый, сильный, твёрдо знающий, чего он хочет, элегантный, строгий и добрый, легко снимающий напряжение лёгким юмором. Абсолютный центр всего коллектива, пользующийся всеобщим уважением. Тарковский показался мне очень солидным и взрослым благодаря своей внутренней духовной мощи. А был он всего на четырнадцать лет старше меня: ему только что исполнилось 28 лет.

До Тарковского рассказ «Иван» экранизировал другой режиссёр, который не справился с этой работой. Производство фильма было остановлено. Завалившего работу постановщика заменили выпускником ВГИКа Андреем Тарковским. Он начал дело с нуля: переписал заново сценарий, заменил всех актёров. В наследство от прежней картины осталось несколько толстенных альбомов с фотографиями сотен претендентов на роль Ивана. Видимо, чтобы укрепить во мне чувство ответственности, Тарковский дал мне посмотреть эти альбомы. После чего я крепко засомневался, что у меня есть шанс быть утверждённым на главную роль. Режиссёр неотступно был рядом. Он сам выбирал для меня одежды в костюмерной: рвал на мне рубахи, дырявил ватники, пачкал о стенку, «фактурил» штаны. Он часами сидел подле меня в гримёрной, отыскивая нужный облик: заставил перекрасить волосы в пшеничный цвет, оттопырил уши, подтягивал вверх нос, заставлял рисовать на моем лице веснушки, ссадины, царапины...

Такого количества кинопроб у меня больше не было ни на одну роль. Тарковский пробовал меня в различных сценах с различными партнёрами. Уже на пробах он объявил, что в картине у меня самая трудная сцена — «игра в войну».

— У Андрона в фильме ты плакал от лука... Здесь ты должен будешь заплакать по-настоящему, прямо перед камерой...

— К началу съёмок ты обязательно должен похудеть...

— Актёр должен уметь всё! Должен разрыхлять свою душу... свои чувства...

Ассистенты Тарковского снабжали меня книгами об ужасах войны явно по его указанию. Особенно врезалась в память страшная книга «СС в действии». Тарковский готовил меня, 14-летнего пацана, к роли, внушая предельно серьёзное отношение к работе. Он рассказывал о том, как работают крупнейшие актёры...

Съёмки «Иванова детства» мы начали в киноэкспедиции в городе Каневе. Жили в современной гостинице на высоком берегу Днепра, воздвигнутой по указанию Н.С. Хрущёва, продуваемой в осенние ненастья всеми ветрами. Над гостиницей, на самой вершине горы был похоронен Т.Г. Шевченко.

Как часто водится в кино, в первый съёмочный день снимали заключительные кадры фильма: «последний сон Ивана», игру с

детьми в прятки подле вкопанного в песчаную днепровскую косу уродливого чёрного обгорелого дерева. Работа началась с лёгкой сцены в тёплый солнечный осенний день. И режиссёр, и вся труппа трудились в купальных костюмах. Каждый, улучив свободное мгновение, с наслаждением плескался в ласковом Днепре. С юмором, весело, легко отсняли за день довольно большой метраж, в том числе сцену с матерью Ивана, роль которой исполняла обаятельная и нежная Ирина Тарковская, жена режиссёра.

— Мама, там кукушка...

И запрокинутое лицо убитой матери... Медленно, как во сне, льющаяся на распластанную на песке фигуру, выплеснутая вода, Тарковский сам зачерпывал из Днепра ведром воду, командовал оператору В.И. Юсову: «Мотор», — и с удовольствием, «художественно», окатывал жену водой, сопровождая этот важный процесс своими неизменными шутками, веселящими всю группу.

Так же легко и радостно, как начали, мы проработали всю физически нелёгкую картину. Никто из нас не подозревал, что наша картина будет увенчана десятками международных наград, станет киноклассикой, войдёт в историю мирового кинематографа. Интересно: предчувствовал ли самый главный её создатель грядущую судьбу своего первого фильма?

Так же радостно, как работали, мы проводили свободное время. Особенно весело и празднично отмечали приезд из Москвы друга и соавтора Тарковского, Андрея Кончаловского, «Андрона»... Он привозил с собой новые песни друзей: Гены Шпаликова и Володи Высоцкого, известного тогда лишь узкому кругу приятелей.

В уютном номере Тарковских, при свечах, допоздна звучали озорные песни: «Ах, утону ль я в Западной Двине...», «У лошади была грудная жаба...», «Что за жизнь с пиротехником...», «Там конфеты мятные, птичье молоко...», «А тот, что раньше с нею был...». Ласковая, улыбающаяся хозяйка номера Ирина Тарковская, умиротворённый, весёлый хозяин... Андрон и Андрей пели по очереди, дуэтом, озорно, с наслаждением. Им подпевали остальные:

...Из бизона я сошью себе штаны.

Мне штаны для путешествия нужны...

Иллюминированная огнями, наша каневская гостиница, словно корабль, плыла над засыпающим Днестром, под необозримым звёздным океаном. Тихие украинские ночи часто оглашались весёлым пением, смехом, звуками гитары в номере Тарковских...

А наутро вся группа во главе с режиссёром загружалась в старенький пузатый автобус, который, притормаживая, сползал с Тарасовой горы и вёз нас на различные точки близлежащей природы, выбранной Тарковским с Юсовым. Почти каждое утро в автобусе, глядя на меня, Андрей говорил:

— Ты худеть-то собираешься? Во, будку отрастил... Разве скажешь, что мальчик из концлагеря?.. Умоляю, кормите его поменьше, — обращался он к моей матери.

Потом на протяжении всего дня шла напряженная работа. Режиссёр требовал абсолютной собранности, настроенности на каждый кадр, полной самоотдачи. Он показывал мне, как бы он произнёс тот или иной текст, не позволял фальшивить, шлифовал интонации, показывал пластический рисунок поведения в кадре. Редко хвалил за результат, поэтому когда он, довольный, улыбался и говорил: «Молодец», «отличник», «то — что доктор прописал!» — я был на седьмом небе. Я любил своего режиссёра преданной детской любовью, можно сказать, боготворил, как старшего брата, как идеал сильного, красивого, мудрого и остроумного, всемогущего человека.

Думаю, не одному мне было физически тяжело в картинах Тарковского. Он добивался полной правды, а не игры. У него приходилось играть сцены, лёжа в холодной мартовской грязи, ползать в холодных осенних болотах, иногда проваливаясь по горло, в одежде и ботинках переплывать студёный ноябрьский Днепр... И всё же работа с Тарковским вспоминается как увлекательнейшее, счастливое путешествие под руководством озорного, остроумного человека. Его юмор снимал напряжение, завораживал окружающих, облегчал физические трудности. Всё существо Тарковского говорило о том, что он сотворён из особого теста. Между ним и остальными сохранялась невольная дистанция, хотя в нём не было высокомерия, он был контактен и находил общий язык с любым членом группы. Как ни в ком другом, в нём ощущалась громадная амплитуда эмоциональных колебаний, психическая

подвижность, многогранность высокоодарённой натуры. Отдельные грани его личности были подчас жёстки, остры, могли ранить ближнего. Его мировоззренческая независимость, бескомпромиссность, безоглядая уверенность в своей правоте подчас воспринималась окружающими как крайняя степень эгоцентризма. Он безжалостно ниспровергал общепринятые художественные авторитеты, критиковал то, что считалось достижениями искусства. Казалось, ничто не удовлетворяло его в современном советском кинематографе. Помню его положительные, иногда восхищённые суждения лишь о Довженко и Барнете. Среди европейских кинорежиссёров он с уважением говорил лишь о Бергмане, Брессоне, Бунюэле, Феллини, Виго.

Замкнутость, медитативное сосредоточение, как бы отсутствие в данном измерении, резко сменялось радостным приятием всей окружающей жизни, искромётным острым юмором. Иногда на глазах всей группы он мило озорничал, проказничал словно ребёнок. Что лишь усиливало его авторитет, уравновешивая отчужденность художника человеческой простотой и доступностью.

Однажды оператор В. Юсов, второй непререкаемый авторитет в группе, коварно подшутил надо мною. Для предохранения от болотной воды, кажется, по его же совету, актёрам изготовили полиэтиленовые костюмы, защищавшие ноги и грудь. Через пять минут после погружения в болото эти «предохранительные» костюмы наполнились холодной водой, и всю оставшуюся часть рабочего дня приходилось терпеть болотный дискомфорт. К концу съёмки от холода стучали зубы. Видя, что работа идёт к концу, оператор посоветовал мне:

— А ты пописай в штаны — будет теплее. Мы так в армии согревались.

Абсолютно доверяя серьёзному и уважаемому Вадиму Ивановичу, я исполнил его совет.

— Ну как? — через некоторое время спросил оператор, — теплее?

— Да нет... Вроде так же холодно...

Узнав о проделке оператора, Тарковский отреагировал неоднозначно: он и посмеялся трагикомической ситуации, правда сдержанно, не афишируя происшествия, но и с состраданием

глядел на меня. Копошась в болотной тине, стуча зубами от холода, я сам смеялся над своим положением и над шуткой любимого оператора. Тарковский приказал извлечь меня на берег, переодеть — и закончил съёмку.

Как говорилось выше, Тарковский с самого начала, с кинопроб начал морально подготавливать меня к «самой трудной сцене в фильме», к «игре в войну». Когда Иван, глядя на шинель, висящую на стене, представляет, будто это фашист, убивший мать, начинает плакать и сквозь слёзы судить «убийцу». Тарковский рассказал мне, что Жан Габен, вживаясь в роль, иногда даже живёт в декорации. Жить в декорации я не мог, но в долгожданный день съёмки «игры в войну» пришел в павильон за несколько часов до всей группы. Настраиваясь на предстоящую сцену, сосредоточенно оделся, загримировался, старался ни с кем не вступать в контакт. Пока никого не было, бегал по пустой декорации, «накачивал» состояние. Когда незаметно появилась группа, бегал по отдалённым от них закуткам. И вот уже всё готово к съёмке, ждут только меня... Чувствую это и прихожу в панику, потому что плакать мне не хочется совершенно. «Актер должен уметь все!» А я не умею... не могу заплакать... Злюсь на себя. Обессиленный мечусь по декорации. Нахожусь на грани потери сознания, истерики... но «сухой», бесслезной...

А Тарковский не подходит, издали наблюдает за моими действиями. И вот, когда струна натянулась до предела, он внезапно направился ко мне и... начал утешать: «Коленька, миленький, да что ж ты так мучаешься? Ну, хочешь, я отменю эту съёмку? Бедный ты мой...» От его утешения, от благодарности к нему и жалости к себе меня словно прорвало, слёзы потекли сами собой. Тонкий психолог, Андрей Тарковский добился своей цели. Он немедленно привёл меня к камере и снял сцену.

Всё шло своим чередом: время создания «Иванова детства» протекло. Кажется, у картины были трудности с прохождением киноинстанций. Мы стали видаться с Тарковским на многочисленных премьерах фильма, пожиная первые лавры зрительского признания. А потом, осенью 1962 года «Иваново детство» и его создатель были посланы на международный кинофестиваль в Венецию. Спустя несколько дней после отъезда Тарковского в

Италию, проходя по улице, я остановился у газетного стенда. Под фотографией, запечатлевшей счастливых, элегантных, в чёрных смокингах Андрона Кончаловского (он получил главную награду за лучший короткометражный фильм «Мальчик и голубь») и Андрея Тарковского, прижимавших к груди свои призы (крылатые венецианские львы золотого и бронзового достоинства), красовалась эффектная надпись: «Венецианские львы едут в Москву». Так начиналось всемирное признание «Иванова детства» и его создателя, что не облегчило дальнейшей судьбы режиссёра.

Возвратившись из Венеции, Тарковский поздравил меня с успехом:

— Итальянские газеты называли тебя именинником фестиваля. Два «льва»!.. Можешь зверинец открывать.

На вопрос, что он думает снимать, ответил:

— Пишем с Андроном сценарий об иконописце Андрее Рублёве. Есть роль для тебя...

Спустя четверть века, в 1987 году, через несколько месяцев после ухода Тарковского из жизни, актриса Валентина Малявина рассказывала мне то, что утаил от меня Андрей.

— Когда нам в Венеции объявили о победе фильма, Андрей от счастья в зале целовал твою фотографию...

Как жаль, что о подлинных проявлениях сердечности наших близких мы узнаём иногда слишком поздно. Тогда, осенью 1962 года, мой любимый режиссёр с характерной для него сдержанностью в общих чертах описал венецианские новости, и... мы простились почти на два года.

* * *

В 1964 году, когда мне казалось, что Тарковский уже совсем забыл обо мне, раздался телефонный звонок!

— Говорит ассистент режиссёра из группы «Андрей Рублёв». Андрей Арсеньевич хочет, чтобы вы сыграли роль Фомы. Когда вам передать сценарий?

Сценарий я проглотил на одном дыхании. Ученик Андрея Рублёва Фома мне не понравился совершенно, проскользнул мимо глаз бледной тенью, не затронув сердца. Зато последняя новелла

«Колокол» ошеломила простотой и мощью финального аккорда, гимном непобедимой духовной мощи России. Образ литейщика колоколов Бориски вышел для меня на первый план, затмив всё остальное. Вот бы кого сыграть! Но Тарковский целенаправленно ориентировал меня на Фому.

Я через силу, думаю, что бледно, попробовался на «бледного Фому» и, наконец, решился заговорить с режиссёром о Бориске.

— Нет, — ответил Тарковский, — ты молод для этой роли. Бориску будет играть тридцатилетний человек, поэт...

— Но ведь гораздо интереснее, когда колокол по интуиции отольёт юный отрок, чем поживший тридцатилетний человек...

— Ты ничего не понимаешь, — отрезал Тарковский. — Тебе что, не нравится Фома?

— Не нравится.

На Бориску пробовать меня Тарковский категорически отказался. На том и закончился наш разговор. Но я не хотел отступить. Начал искать пути воздействия на него. Не послушал меня, может быть, послушает других. Попробовал убедить оператора В.И. Юсова, консультанта картины С.В. Ямщикова, которым Тарковский вполне доверял. Они встали на мою сторону, и режиссёр сдался, устроил мне кинопробу, «только бы отвязаться»... В процессе этой пробы, на глазах, Тарковский всё более увлекался идеей омоложения Бориски, становился всё более заинтересованным, увлечённым и в конце концов утвердил меня на эту роль.

Так случилось, что параллельно с «Рублёвым» я был утверждён на главную роль в фильме «Мальчик и девочка». С большим скрипом Тарковский согласился на моё «раздвоение» только потому, что сниматься мне было предложено в фильме его друга-однокурсника Юлия Файта. И всё же он был постоянно недоволен моими отлучками. Ведь одним из главных требований Тарковского было, чтобы его актёры целиком и полностью принадлежали только его картине, чтобы никто не выходил из его магического круга, из таинства творческого процесса.

В один из моих приездов в киноэкспедицию «Рублёва» во Владимир расстроенный Анатолий Солоницын сообщил мне, что с «Андреем Арсеньевичем нелады». Анатолий преданно лю-

бил Тарковского, близко к сердцу принимал всё происходящее с ним.

Впрочем, эти «нелады» были настолько очевидны, что сразу же бросились мне в глаза, едва я переступил порог номера Тарковского. Хозяин был осунувшимся, нервным, раздражённым и одновременно растерянным, словно провинившийся ребёнок. Нельзя было не отметить и то, с каким победоносным, гордым видом, со странным блеском в глазах и иронической улыбкой ходила по номеру ассистентка по реквизиту Лариса. Подчёркнуто вежливые и вместе с тем игриво-властные интонации её голоса... говорили о многом.

В день моего приезда мы ужинали вдвоём с Андреем в малолюдном ресторане гостиницы. Тарковский был сам не свой, таким я его никогда прежде не видел. Он был в смятении, в крайней степени внутреннего беспокойства, раздражения. Он напоминал кролика, влекомого в пасть удава. Он заказал большой графин водки и на моих глазах целенаправленно довёл себя до немняемого состояния. По мере возрастания степени опьянения ярость его усиливалась. Он поносил неизвестную особу последними словами. Наконец, с криком: «Сука!..» — саданул кулаком по столу, расколол тарелку, глубоко порезал ладонь. Кровь полилась на скатерть. Перевязав рану, я подхватил Андрея и отвёл его в номер, где он был взят под опеку услужливой ассистенткой.

В эти дни личная жизнь Тарковского ломалась, круто менялась. Многие его близкие тяжело переносили этот слом, не могли внутренне согласиться с происходящим. Считали, что с ним, как с ребёнком, разыгрывают дурную шутку, что это ненадолго, что он прозреет, что вот приедет его Ирина, всё будет как прежде. Но «как прежде» уже никогда не было. Судьба распорядилась иначе... А судья людским судьбам и отношениям, как говорится, один лишь Бог. Андрея уводили от тех, кто его по-настоящему любил. Даже свою мать и сестру он не видел около трёх лет.

* * *

Согласно тяжелым производственным планам, работа над «Рублёвым» неостановимо шла своим чередом. Стилль работы режис-

сёра оставался неизменным: на площадке царил его лёгкий юмор, не отменявший предельной требовательности к каждому члену группы. Помню, как каждодневно он «школил», воспитывал новичка в кино, худенького помощника режиссёра Сашу Мстиславского, на глазах превращая его в профессионала. Сложнейшая работа по воссозданию правды далёкого «Рублёвского» времени ладилась неторопливо и размеренно благодаря внутреннему покою, фундаментальности неизменного оператора Тарковского, Вадима Ивановича Юсова, уравнивающего взрывную импульсивность режиссёра.

Мне казалось, что Тарковский совершенно не работает со мной, не объясняет, не репетирует, довольствуясь тем, что «само собой» получается перед камерой. Однажды, когда мне предстояла сложная сцена, Андрей, словно ребёнок, баловался с детской резиновой клизмой, приспособленной операторами для продувания соринки в камере. Он вдвух шипящую струю воздуха в уши окружающих актёров и ассистентов и хохотал. Я счёл необходимым прервать это баловство:

— Кончай смешить!.. Лучше помоги мне. Расскажи что-нибудь... Мне же играть трудный кусок. Давай, работай со мной...

Продолжая игру, Тарковский сказал:

— А ты знаешь, что ответил Рэне Клер журналисту, когда тот задал ему вопрос: «Как вы работаете с актёрами?»? Он сказал: «Я с ними не работаю. Я им плачу деньги». Ты артист? Тебе платят твои сто рублей, вот и играй...

И мгновенно сменив шуточный тон на серьёзный, Тарковский подошел ко мне вплотную и тихо, почти на ухо начал что-то говорить, помогая войти в нужное состояние.

Некоторые из актёров, снимавшихся у Тарковского, говорили, что он не работает с актёрами. Было время, когда и я так считал. Но теперь, видя «Иваново детство» и «Андрея Рублёва», в каждом кадре, в каждом движении моих героев Ивана и Бориски, в том, как они говорят, смотрят, двигаются, во многих моих интонациях и жестах я вижу Андрея Тарковского. Ибо личность его была настолько сильной и пронзительной, что даже он молча смотрел на тебя и ничего не произносил, само его существо диктовало русло, по которому актёру следовало плыть.

Он с увлечением, азартом рассказывал о своих придумках:

— Князь рубанёт саблей, человек упадет, и вот отсюда, из шеи у него будет пульсировать кровь... Я придумал, как это снять... Это — «сыр... рокфор»! («сыр рокфор» обозначал у Андрея высшую степень качества).

В картинах Тарковского довольно много кровавых, жестоких сцен. Многие упрекали его за это. Я сам не мог долго простить ему лошади, взятой с живодёрни и зарезанной прямо в кадре. Однако жестокость никогда не была для Тарковского самоцелью, но необходимым средством для выражения высоких духовных, мировоззренческих, философских задач. Над житейской жестокостью и злом в картинах Тарковского всегда воспаряет душа его героев, душа автора, неустанно искавшего истину и гармонический идеал. Его творчество всегда позитивно.

И на «Рублёве» не обошлось без физически мучительных для исполнителей сцен. Поздняя осень, время сносных заморозков и первого снежка. Тарковский и вся группа утеплились добротными овчинными полушубками. Режиссёр командует: «Мотор, начали!» Под холодным проливным дождём, полосующим по кадру несколькими брансбойтами, Бориска понуро идёт вдоль обрыва, поддевает ногой камень. Вместе с камнем с обрыва падает и его лапоть. Бориска хочет его достать, но оступается и летит с обрыва вниз. Снимали, естественно, без репетиции. Прямо в дубле своей шкурой я пересчитал все бугорки, камни, корни, пни, пролетел сквозь огромный куст. В глазах темно от боли и холода, из рукава сочится кровь, но надо доиграть сцену, и пока Тарковский не крикнет «стоп», барахтаться в грязи и радостно кричать: «Глина!!! Нашёл!!!»

Наконец режиссёр кричит: «Стоп, хорошо!.. Коленька!.. Милый, ещё дубль». Холодно, больно, грязно, мокро — проклинаю всё на свете, в том числе и Тарковского: «вон он, расхаживает надо мною в овчине... Ему бы так!..» Однако «актёр должен уметь и мочь всё!» Об отказе не может быть и речи. Дубль — значит дубль. Хоть умри. Но тут оказалось, что костюмеры оставили на базе второй комплект моей одежды. Стаскивают с меня глиняную рубаху и портки, прополаскивают тут же в речке, отжимают, подогревают на осветительном приборе, снова облачают в дымя-

щиеся одежды, бросают сверху канат, вытягивают на исходную позицию. Подходит виноватый Андрей:

— Ну, как ты, живой?.. Ещё разок сможешь?

— Конечно, смогу, — отвечаю я бодро.

В кой-то век Тарковский просит так умоляюще, да и глаза всей группы обращены на меня... Невольно чувствуешь себя героем.

И вот ещё дубль, и ещё, и ещё...

После съёмки в избе, натопленной по приказу Тарковского, он лично готов был мыть мне ноги, обтирать спиртом... Да, ради того, чтобы увидеть дорогого моего Андрея таким нежным, добрым, заботливым, стоило пострадать. Анатолий Солоницын подсчитывал ранения на моём теле: их было более двадцати. Как было тепло в тот вечер в деревянной избе, среди дорогих моему сердцу людей! Уверен, скажи тогда Андрей: «Старичок, нужно ещё разок», — я не раздумывая полетел бы с обрыва.

После «Рублёва» наши отношения значительно окрепли, может быть потому, что прошли испытание временем, потому что и я уже был не ребёнок, 19 лет. Он неизменно приглашал меня на все премьеры.

Каждую новую встречу с Тарковским я принимал как подарок судьбы.

ИЗ ДНЕВНИКА

7 февраля 1967 года. Вчера на студии встретил Андрея. Он был уставший, и я больной. Я сказал, что хочу с ним поговорить, он с радостью согласился. Отправились в творческий буфет, взяли пива. Я сказал Андрею, что он должен работать со мной, снимать меня. Он принял это хорошо.

— Если дадут ставить «Подростка», главная роль — твоя... А потом, может быть, и «Идиота» удастся пробить...

Увёз Андрея к себе домой, «на часок». Этот «часок» длился с часу дня до семи вечера. Андрей много говорил о том, что «художник должен быть нищим»... Говорил обо мне, о том, чтобы я с ним всегда советовался, что я ему очень дорог и т.д. Говорил о том, что сейчас он хочет снимать фильм о матери... Сказал, что «уровень

современного кинематографа настолько низок, что очень просто подняться над ним не только у нас, но и в мире. Говорил, что «стоит только уразуметь», что ты из всего этого скопища «профессионалов» самый одарённый, почувствовать это, и ты будешь делать большие вещи...

— А я знаю, кто я такой. И ты это знай! — говорил Андрей.

Приехал Савва Ямщиков и пригласил нас к себе. У Савелия, кроме прочих, были люди, к которым я испытываю нежные чувства: Юсов, Маша Вертинская... Лена Шестакович спросила меня:

— А ты безумно влюблён в Тарковского, да?

— А это заметно? — спросил я.

— Очень.

— Да, — ответил я.

Да, я люблю Андрея. Вижу все его «ужасные» черты характера и люблю его, иногда мне кажется, что самозабвенно (то есть забывая о себе). Я хочу всё время делать ему приятное, видаться с ним чаще, обнять его крепко, по-мужски.

Андрей много говорил со мной вчера, за эти 15 часов, проведённых вместе. Показывал приказ Госкино с требованием вырезать 7 сцен — гордость картины. Андрей этого не сделает. Он просил присутствующих писать как можно больше писем в Госкино — «спасать фильм».

Перед поездкой к Савелию Андрей пригласил меня с собой в дом человека, который, в силу своего положения, видимо, может защитить «Рублёва». Два часа прошли во взаимных любезностях... Едва мы вышли из дверей подъезда на улицу, Андрей сказал:

— Он же всё врёт... Он же палец о палец не ударит...

Мы долго молчали. Видя душевное состояние Андрея, я не решился заговорить первым. Он сам прервал молчание, сказал, что у него много друзей, но «ты мне самый дорогой, самый близкий человек». И не раз потом на протяжении всего вечера он то и дело говорил мне об этом. Это было впервые за всю историю наших отношений и потому так дорого для меня.

Когда мы ехали в такси, Андрей спал. Его голова покоилась на моих коленях. Я левой рукой «освобождал» его наэлектризо-

ванную, уставшую, поседевшую голову. И думал: «Какой же стал старый, Андрей... Скоро тебе — 35!»

19 февраля 1969 года. Вчера состоялась премьера «Андрея Рублёва» в Доме кино. После почти трёх лет лежания на полке (неизвестно за что) фильм предстал перед ошеломлённой московской аудиторией. Видел картину в четвёртый раз. Теперь фильм мне понравился меньше, и я сам от себя не в восторге. После картины — банкет в складчину. Сидели с Саввой далеко от Андрея. Предложил тост за Тарковского; крикнул через весь зал: «Андрей...» Он тут же оглянулся и встал. «За тебя!» — весь наш стол поднялся и крикнул «ура!». Через пять минут Андрей встал и, сложив руки рупором, крикнул: «Пьем за Толю Солоницына и Колю Бурляева!» Потом я подошёл к столу Андрея и там произнёс тост за него. В завершение сказал Андрею: «А теперь прощай ещё на два года...»

29 марта 1969 года. Сегодня возвратились из Ленинграда, куда ездили с Андреем и Т.Г. Огородниковой на премьеру «Рублёва».

Утром перед вылетом в Ленинград заехал за Андреем. Он ещё делал зарядку — «тянул резину». Я с радостью отметил тот факт, что тело он держит в хорошем, здоровом состоянии и не расслабляется от неудач. Накануне мы говорили с ним у него же дома. Я читал ему свои стихи, он мне свои... Говорили обо мне, о нём, о наших отношениях друг к другу. Я сказал ему, что актёрство меня не удовлетворяет, что хочу стать режиссёром. Он, как всегда, стал разбивать эту мою идею, говоря: «Ты прекрасный актёр, и занимайся своим делом, а какой ты режиссёр, это ещё не известно. Да и потом, это не так просто... Я положил на это жизнь, сделал две картины, ещё сделаю две... и всё!.. И я это понимаю. Я шёл на это...» Я надел у Андрея его пиджак, поскольку мой совсем стал плох. Несколько раз Андрей ставил одну и ту же вещь «Битлз» — «Жёлтую подводную лодку» — и то и дело с удовольствием подпевал:

—Та-та-та, та-та елоу сабмурин, елоу сабмурин, елоу сабмурин...

В Ленинграде поселили в «Европейской». В Доме кино нашу картину представлял Козинцев. И в 17, и в 21 час залы были полны, столь же полным был успех. Люди, выходившие из зала, по-

здравляли нас, говорили много хороших слов. После просмотра я поцеловал Андрея и сказал: «На пятый раз я понял, что ты сделал гениальный фильм». Многие лица, окружавшие нас, проплывавшие мимо, были словно после сильного шока, душевного потрясения. Многие, не решаясь подойти к нам, смотрели издали подавленно, молча, взволнованно.

Вчера перед обедом мы с Андреем не торопясь прогуливались по Невскому проспекту. Говорили, кажется, обо всем на свете. Он снова сказал, что обязательно поставит со мной два романа Достоевского: «Подросток» и «Идиот». Читал стихи Пастернака, Ахматовой, своего отца Арсения Александровича Тарковского, которого боготворит вдвойне: как поэта и как отца. В 17 часов нас с Андреем пригласили на обсуждение «Рублёва» с ленинградскими кинематографистами.

10 ноября 1969 года. Вчера с Ю. Файтом были у Андрея. Не виделись с ним семь месяцев (после посещения его дома 1 апреля). Посидели за ужином, шутками, гитарой и разговорами до двух часов ночи. Могу петь песни свои кому угодно, но только не Андрею: зажимаюсь, чувствую убожество мысли, собственную бездарность. Андрей поинтересовался: «Почему ты такой грустный... подавленный?» Я рассказал ему о своей драме. Он начал поднимать мне настроение, шутить, с юмором развивая теорию (Артура Макарова) об отношении к женщине по принципу «Кто тебя отвязал? Иди, ляг на место». Андрей почти такой же, как и прежде, разве что более худой и в глазах больше тоски.

Решив поступить на режиссёрский факультет, я позвонил Тарковскому и попросил его дать мне характеристику. Он с готовностью согласился, пригласил меня к себе. Когда я приехал, необыкновенно лестная для меня характеристика была готова. Вручая мне бумагу, Андрей сказал:

— Зачем ты это делаешь? Зачем тебе режиссура, этот крест? Ты же видишь, что делают со мной... Ты — артист и оставайся артистом. Дольше проживешь...

Долго в тот день мы сидели у него на кухне, говорили, говорили и никак не могли проститься. И снова Андрей читал стихи, открывал мне сложный, ни на кого не похожий поэтический мир

своего отца. Он сам удивлялся, словно открытию, тому, что читал. Говорил, что когда-нибудь непременно использует это в своей картине.

Потом мы снова расстались на долгое время.

Однажды, будучи на «Мосфильме» и узнав, что Тарковский завершает работу над «Солярисом» и находится сейчас в павильоне, что там сейчас и Юсов, и Солоницын, я ринулся туда, чтобы повидать их. Всех их я застал в красивой космической декорации. Тарковский встретил меня холодно, едва кивнул головой, смотрел на меня недобрым взглядом. Не ожидая такой встречи, я прямо спросил Андрея:

— Что произошло?

Он так же прямо задал вопрос мне:

— А что ты говорил обо мне в доме у...? (он назвал какое-то имя).

Выяснилось, что я никогда не бывал в названном доме и во все незнаком с тем человеком, которому якобы что-то говорил. Теперь обиделся я:

— Как же ты мог в это поверить?

Тарковский извинился. Мы «помирились». Инцидент был исчерпан.

*Вползает клевета — и в сердце бьёт:
Шипит и жалит, веру убивает,
Смущает любящих, друзей разъединяет,
Отец на сына, брат на брата восстает...*

Клевета... Сплетня... Кто из живущих избежал их ядовитого жала? Со временем клевета не помиловала и Тарковского, ибо с особым старанием она чернит имена звучные, ибо уши человеческие, как с грустью отмечал Н.К. Рерих, всегда открыты сплетням. Лично я с той поры повысил бдительность ко всем злым слухам.

В последние годы наши встречи стали ещё более редкими и случайными. На выставке древнерусской живописи, организованной С. Ямщиковым. В компании наших общих знакомых, в коридорах «Мосфильма», где видел Андрея, ужинавшего в ком-

пании Анджея Вайды, Беаты Тышкевич, Гены Шпаликова и Ларисы Шепитько, и снова там же, с Биби Андерсон.

Помню, как после премьеры дорогой для меня картины «Игрок» по роману Достоевского я увидел Тарковского среди потока зрителей, спускающихся по лестнице Дома кино. Он был угрюм, желваки играли на его скулах. Как мне хотелось, чтобы он отыскал меня глазами, подошёл, поздравил с премьерой, высказал свое суждение о фильме, о моей работе... Но Тарковский не собирался никого разыскивать, молча брёл, погружённый в себя. Мое праздничное настроение мгновенно испортилось. Я внутренне корил Андрея за чёрствость, равнодушие, высокомерное наплевательство на тех, кто его по-настоящему любит. Я был обижен, хотя абсолютно понимал Тарковского: он не любил бывать в Доме кино, считал его «элитарно-нечистым, лживым местом», где «тебе улыбнутся в глаза, а за глаза оболют грязью». Я понимал Тарковского, потому что и сам в этих стенах облачался в броню отчуждения. А может быть, ему просто не понравилась картина? Ему редко что нравилось... И всё же мне так хотелось, чтобы он подошёл ко мне, ибо его мнение, любое, хоть самое резкое, было для меня особенно важным.

Тарковский завершил работу над «Солярисом». Вместе с первыми зрителями я смотрел картину в переполненном мосфильмовском зале. Картина ошеломила, продержала в своей магической атмосфере от первого до последнего кадра. Мне казалось, что это самый лучший, самый человечный, сердечный фильм космического Тарковского.

Последняя самая памятная встреча произошла незадолго перед отъездом Тарковского в Италию на съёмки «Ностальгии». Недалеко от «Мосфильма» мы неожиданно столкнулись с В.И. Юсовым. Мы давно не виделись и были рады встрече. Зашли в ближайшее кафе. В разговоре выяснилось, что ни он, ни я не встречались с Тарковским одинаково долгий отрезок времени. И это притом, что Юсов и Тарковский живут в одном доме. После нескольких рюмок у нас обоих появилось желание немедленно, без предупреждения нагрянуть домой к Андрею, как снег на голову. Что мы немедленно и исполнили.

Тарковский сам открыл нам дверь, не удивился нашему появлению, словно и не бывало прожитых порознь лет. Мы провели несколько часов и расстались далеко за полночь. Сидели за столом под абажуром, говорили, стараясь соединить разорванные связи, преодолеть неизвестно как образовавшуюся между нами пропасть. Почему так случилось? Ведь нас объединяет то, что навсегда прилепило нас друг к другу: дорогая для каждого из нас совместная работа, наша искренняя любовь друг к другу...

Никогда я не видел Тарковского таким, как в тот вечер. Казалось, что жизнь довела его до последней степени терпения. Он ругал буквально всё и вся вокруг. Досталось и нам с Юсовым: ему — за то, что он пишет сценарии, мне — за то, что я стал режиссёром, что пишу стихи. Тарковский говорил, что только в его картинах мы могли по-настоящему творить: Юсов как оператор, а я как актёр. Может быть, в его словах была абсолютная истина, но я не мог согласиться с ним и, кажется впервые, решился возразить ему: «Андрей, не нужно обрубать крылья своим ближним...»

Это был вечер откровений, последний вечер в нашей жизни. Мы простились, крепко обнявшись, сердечно и нежно. Я не знал, что прощаюсь с Тарковским навсегда.

Некоторые обвиняют Андрея Тарковского в том, что он не возвратился на Родину. Уверен, что в его невозвращении — не его вина. Никогда Тарковский не был диссидентом, носящим в кармане кукиш. Он никогда не играл в эти не достойные художника игры. Он шёл вперёд грудью, нёс свой жизненный крест. Мужественно, стойко, бескомпромиссно исповедовался в своих картинах. Он пел свою песню, говорил свою правду, но не во имя своего благополучия, которого у него никогда не было, а во имя Истины и Искусства. Попробуйте прожить такую жизнь!..

Одной из главных тем, которой Тарковский непременно касался в общении с близкими, — это тема Родины. Он любил Россию и часто говорил:

Как бы тяжело ни было, нужно работать и жить именно здесь и только здесь — в России.

Марина Арсеньевна Тарковская рассказывала мне, что перед отъездом в Италию брат говорил: «Они меня отсюда не выпихнут!»

Вадим Юсов и Глеб Панфилов, в разное время встречавшиеся с Тарковским в Италии незадолго до его трагического исхода, говорили мне одно и то же: «Тарковскому невыносимо без Родины, он хочет вернуться, мечтает о своём домике под Рязанью...»

Уверен, что именно этот трагический надлом — плотью там, душою в России — и приблизил печальный финал.

Последняя картина Тарковского «Жертвоприношение», созданная на зарубежной почве, картина — русского художника. Она полна российского гуманизма, сострадания, целомудрия, веры...

ПОСЛЕСЛОВИЕ

В июле 1990 года мне довелось посетить последний приют Андрея Тарковского: православное кладбище в местечке Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем. Бредя по погосту, упокоившему останки многих замечательных сынов России: героев белой гвардии, писателей Бунина и Шмелёва, — я с большим трудом нашёл могилу Андрея на окраине кладбища... Несколько цветных горшков с засохшими растениями, шатающийся простой деревянный крест, подпертый у основания воткнутыми в землю камнями, малюсенькая металлическая табличка со стертыми, едва различимыми латинскими буквами — именем усопшего. Сбоку крохотная скамеечка на тонких качающихся ножках, чахлый низкорослый куст в изголовье, не дающий тени, нещадно выжигающее землю и могильные плиты июльское солнце... Всё зыбко, тесно, случайно, чуждо, несправедливо. Выпихнули... Всем существом любивший своё Отечество, Тарковский, вопреки воле отца, сестры, всех близких, миллионов почитателей гения Художника в России, вопреки здравому смыслу и справедливости, предан чужой земле. Во имя чего? Во имя чьей мелочной выгоды?..

В начале 1970-х, снимая в Ялте эпизоды «Соляриса» и бредя по приморской набережной в окружении героев своего фильма, Андрей задумчиво произнёс: «Мне нагадали, что меня погубит женщина...» И вдруг, обернувшись к своей жене, спросил: «Уж не вы ли, Лариса Павловна?..»

Несмотря на всю мощь своей одержимой творческой натуры, на несломленную до конца дней бескомпромиссность в искусстве,

в жизни Андрей Тарковский был человеком, поддающимся внушению, влиянию ближайшего своего окружения. Близкие друзья Андрея Тарковского могут привести много тому подтверждений. Чего стоит один «каннский инцидент»: ложь о «неблаговидной роли С.Ф. Бондарчука в судьбе Тарковского», распространённая в средствах массовой информации грязной (иначе не назовешь) столичной кинокритикой, внушавшей читателям, что Бондарчук, являвшийся членом жюри Каннского кинофестиваля, не позволил присудить приз «Ностальгии».

Известно, что именно С.Ф. Бондарчук протянул Тарковскому руку помощи в труднейшее для Андрея время, пригласив его поставить фильм в своё Объединение. Оба выдающихся мастера уважали друг друга и даже намеревались снимать совместный фильм, но Тарковскому «нашептали» на Бондарчука и их затея не состоялась. Правду о «каннском инциденте» мне довелось узнать во Франции от Отара Иоселиани, непосредственного свидетеля той истории. Он в разговоре с одним из членов тогдашнего жюри спросил: «Правда ли, что Бондарчук протестовал против присуждения «Ностальгии» премии?» На что член жюри ответил: «О «Ностальгии» Бондарчук не проронил ни слова. Если бы он что-либо сказал против фильма, это лило бы воду на мельницу Тарковского». Иоселиани рассказал об этом Андрею. Тот задумался, потом, обратясь к своему «окружению», произнёс: «Вот видите... у Отара иная информация...» На что «окружение» стало яростно убеждать Андрея в том, что «Бондарчук послан Госкино специально, чтобы не дать ему приза...»

Знал бы Андрей, что вскоре его «окружение» поторопится покинуть кладбище, оставив открытой его могилу. У разверстой ямы остались московские родственники Тарковского: сын Арсений, М.А. Тарковская, её муж А.В. Гордон и представитель «Совэкспортфильма». Они разыскали могильщиков, но те сказали, что их рабочий день окончился и могилу Тарковского они забросают завтра. С трудом найдя лопаты, близкие Андрея Тарковского до конца исполнили печальный последний долг, предав его останки французской земле.

После смерти Тарковского его «окружение» проживало в Париже, распоряжалось всем наследием Тарковского, немилосердно корректируя, исправляя на свой лад рукописи Андрея Арсеньевича.

ча, забывая о том, что наследие великого режиссёра принадлежит не временным «хранителям», а русской культуре.

* * *

Многие близко знавшие А.А. Тарковского люди говорили о том, что он был верующим человеком. Я тоже утверждал это, хотя ничем не мог подтвердить своей убеждённости. Буду откровенным: мы никогда не говорили с ним о вере, о Боге. В атеистической стране эта тема была запретной. Однако именно он в 1964 году надел мне на шею первый в моей жизни православный крестик.

Я уверен, что его домом теперь стало Небо и возможно он не хочет более воплощаться. Его душе лидера на Земле нет соответствий, кои могли бы стать ему лучистыми опорами. Мозг свой лучистый он отдал Богу, ибо им делались фильмы о Боге. Вера его в атеистической, закрытой от Создателя стране, была интуитивной. Но он знал, он чувствовал Бога интуитивно и умел воплотить это на экране в художественных образах. Он ведал то, что вера должна быть внутри — как частицы крови: их не знаешь, но без них погибнешь. Он понимал, что вера должна быть сутью, а не довеском к душе. Живя в атеистическом мраке, Андрей обходился без прямых лучей Божьих, ибо он лучился сам, сумев разжечь изначальный импульс души своей до пламени, которое его согревало и сожгло. Он в мире людей не мог долго быть, ибо они не сумели стать хворостом, который подбрасывают в огонь. Помню, как только один раз он сказал мне: «Ты самый близкий мне человек». Верю, что ты видишь и всегда помнишь обо мне, потому, что свет моей любви согревает тебя и теперь.

Я верил, что когда-нибудь найду подтверждение моей убеждённости. И это время наступило. Подтвердил сам Тарковский после своей смерти.

Несколько лет назад в Доме кинематографистов проводили вечер памяти Андрея Тарковского. По замыслу организаторов, актёры, игравшие в его фильмах, должны были читать фрагменты из его дневников. За кулисами мне вручили листок с напечатанным текстом. Я читал, не веря своим глазам: это было долгожданное подтверждение.

Вчитайтесь в эти слова. Это своеобразная молитва Андрея Тарковского, обращённая к Богу. В этих словах — ключ к пониманию сущности великого мастера и его творчества:

«Боже! Чувствую приближение Твоё, чувствую руку Твою на затылке моём, потому что хочу видеть Твой мир — каким Ты его создал, и людей Твоих, какими Ты стараешься сделать их. Люблю Тебя, Господи, и ничего не хочу от Тебя больше...

Принимаю всё Твоё, и только тяжесть злобы моей, грехов моих, темнота низменной души моей не дают мне быть достойным рабом Твоим, Господи!

Помоги, Господи, и прости!»

10 февраля 1979 года

И ещё:

«Сегодня великая надежда поселилась у меня в душе. Не знаю отчего — просто счастье. Надежда возможности счастья. С утра солнце светит в окно, но счастье не от этого. Присутствие Господа... Я Его чувствую».

1986 год



ИВАН ГЕРАСИМОВИЧ ЛАПИКОВ

Я всегда относился с настороженностью к артистам, похожим на «артистов», играющим и в жизни роль «артистов». Иван Герасимович Лапиков был совершенно не похож на «артиста».

Выглядел простым, русским, добротным деревенским мужиком, случайно забредшим в джунгли кинематографической элиты. К моменту, когда мы с ним познакомились на съёмках «Андрея Рублёва», за его плечами уже был ошеломляющий образ брата в «Председателе», с которым Лапиков ворвался в советский кинематограф. И всем без исключения было ясно, что в кино вспыхнула новая ярчайшая и самобытная планета (язык не повернулся сказать «звезда»).

Весь — от земли, от корней, весь — русская суть. Ни с кем не сравнимый и неповторимый Иван Лапиков.

И хотя в «Рублёве» у нас не было прямого партнёрства в кадре, не было общих сцен, мы замкнули между собой вольтову дугу благорасположения друг к другу, безмолвное, неиссякавшее уважение от начала и до конца. Такие же отношения сердечной природной привязанности были в «Рублёвские» времена и с Николаем Григорьевичем Гринько и с Анатолием Солоницыным — тоже совершенно не похожими на «актёров». Видимо это и роднило всех нас. Гений Тарковского предпочёл ваять свою «Рублёвскую» кинофреску ликами русских мужиков, далёких от «актёрства».

Мы нечасто встречались с Иваном Герасимовичем: несколько раз на гриме, в костюмерной, в тон-студии, в буфете, на премьерных показах «Андрея Рублёва», на банкете, в коридорах «Мосфильма», «Ленфильма», в поезде «Красная стрела», в Доме кино... Я наблюдал за Лапиковым, за его отстранённостью от этого киномира, сосредоточенностью на чём-то своём, сокровенном, вглядываясь в его «публичное одиночество» — скромное, неброское пребывание со своей сердечной тайной, со своей правдой на этой ярмарке кинематографического тщеславия, где окружающие из кожи лезли вон, что бы хоть как-то выделиться.

У нас никогда не было доверительных, душевных бесед. Он не рассказывал мне историю своей жизни, всегда оставаясь для меня загадочной русской душой. Великим и неповторимым русским артистом Иваном Герасимовичем Лапиковым.



«БЫТЬ ПЕРВЫМ НА РУСИ — ТЯЖЁЛЫЙ КРЕСТ»

Бондарчук...

Произнесёшь эту фамилию — и сознание мгновенно рисует образ кинематографического исполина: всегда красивого и элегантного, увенчанного недостижимым ореолом избранника, ба-

ловня судьбы, казалось, рождённого для жизни на творческом и общественном олимпе. Безусловный вожак, лидер, авторитет кинематографической стаи. Открывающий любые двери, народный, лауреат, депутат Верховного Совета, Герой Соцтруда, профессор, оскароносец, свободно колесящий по миру, снимающий всё, что пожелает, и даже за границей...

Разве «стая» могла ему это простить?..

Впрочем, всё по порядку.

1961 год. Первый взгляд на «живого Сергея Бондарчука».

Параллельно со съёмками «Иванова детства» снимаюсь у Г.Л. Рошаля в «Суде сумасшедших». Летаю из приднепровских болот в роскошную Ригу, меняю рваные одежды разведчика Ивана на богатые наряды сына красавицы Ирины Скобцевой, играющей жену американского миллионера. Снимаемся на большом пароходе.

В один прекрасный день на нашем корабле все непривычно засуетились: драят палубы, начищают до блеска всё, что способно заблестеть. Почему-то шёпотом произносят: «к Скобцевой должен прилететь Бондарчук».

И — вот он, прилетел!

Съёмки фильма прекращаются на всё время присутствия на корабле этого красивого «посланца небес». Счастливая молодая пара. Всё и вся вертится вокруг планеты под названием Бондарчук.

Уж не помню, представили ли меня ему. Да если и представили, заметил ли он меня?.. Что я для него: четырнадцатилетний, никому не известный мальчик?

А я влюбился в него с первого взгляда и на всю жизнь.

Как несколько месяцев до того, придя на пробы к Андрею Тарковскому, я влюбился в Андрея, и тоже с первого взгляда, и так же на всю жизнь. В них невозможно было не влюбиться: два гения, две вершины русского кинематографа, две столь разные и столь великие души.

Ныне, когда их обоих призвал Господь, подавая в храме поминальные записки, я пишу рядом имена «Сергия» и «Андрея» и твёрдо знаю, что там, где нет скорби, воздыханий и сплетен, они вместе взирают на нас грешных с надеждой и любовью; они вместе укрепляют наши души.

Здесь, на земле, им не позволили быть вместе...

Вскоре Бондарчук начал снимать «Войну и мир», и завистливая кинематографическая и «околокиношная» клоака закопошилась, зашипела, начала оттачивать жало и накапливать яд, чтобы вскоре укусить побольнее... «Бондарчук-то на Толстого замахнулся!.. Куда ему!.. Это будет провал!.. Какой он Пьер Безухов?.. Какой Тихонов — князь Болконский?..»

1963 год. Увидел Бондарчука во второй раз.

«Мосфильм», длинный коридор старой тон-студии.

Иду из правого крыла и вижу, как из противоположного левого крыла на меня надвигается большая кавалькада. Неумолимо, как на дуэли, сближаемся и сходимся в холле. Вижу в центре кавалькады две фигуры — Бондарчук и министр культуры СССР — Фурцева.

Вот они в двух метрах от меня... хочу обойти их, скрыться, провалиться сквозь землю... Бондарчук смотрит на меня, улыбается, манит рукой, просит подойти. Раз просят, не убежать же — подхожу... пожимаю протянутую Бондарчуком руку.

— Вот, — сказал он Фурцевой, показывая на меня, — это тот самый Коля Бурляев, герой «Иванова детства». — Улыбнулся и достаточно смело, будто рядом стояла не политическая небожительница Фурцева, пошутил: — все проблемы с нашей творческой интеллигенцией из-за тебя...

Фурцева протягивает мне руку, пожимаю, не слышу, что она говорит мне. Процессия проходит мимо.

Кто-то из моих коллег по съёмочной группе, наблюдавший эту сцену, уважительно иронизирует:

— Я бы после таких рукопожатий месяц руку не мыл.

А я — счастливый, ошеломлённый случившимся — бреду дальше по коридору: «Надо же, я известен самому Бондарчуку?!»

Закулисные кривотолки сопровождали весь период подготовки, создания и проката «Войны мира».

Уши людей открыты сплетням и слухам. К моменту выхода этого фильма мои друзья, старшие коллеги, слову которых я абсолютно доверял, столько наговорили мне отрицательного о картине Бондарчука, что я поверил в то, что фильм плохой, и не стремился увидеть его.

Лишь почти тридцать лет спустя, когда «Войну и мир» показали по телевидению, я был потрясён величием кинематографического подвига Сергея Фёдоровича Бондарчука. Конгениальная, классическая киноверсия толстовского романа! Великая режиссура мастера, которому подвластны не только эпический, надмирный охват глобальной массовости и баталистики (который, я уверен, никогда не превзойдёт ни один режиссёр в мире), но и филигранное, тончайшее по психологизму, глубинное крупноплановое творчество.

Феноменальное соединение макро и микро: космический полёт духа и погружение в глубины мельчайших движений души; слияние и гармоничное взаимодействие светлого разума и доброго сердца художника, исполненного любви к человеку и всему сущему на земле, жадное впитывание и переосмысление в себе сокровищ русской и мировой культуры и созидательное творчество во славу Господа и человека; любовь и служение своему Отечеству — вот слагаемые гения Бондарчука.

Едва дождавшись окончания фильма, я позвонил Сергею Фёдоровичу и высказал то, чем было переполнено моё сердце, признавшись, что увидел «Войну и мир» впервые лишь сегодня, невольно поверив в шестидесятых годах слухам, распространяемым «друзьями».

1972 год. Судьбе было угодно, чтобы я породнился с Сергеем Фёдоровичем, соединив свою жизнь с его старшей дочерью Натальей. Наши отношения приобрели «родственный» оттенок. Встречаться мы стали немного чаще, но всё равно гораздо реже, чем хотелось и мне и его дочери, любящей отца всем своим сердцем.

Мы виделись на «Мосфильме», во ВГИКе, иногда приезжали домой или на дачу к Сергею Фёдоровичу в Барвиху. И каждая встреча была для нас счастливым событием, к которому мы долго готовились. Он называл меня по-украински «Микола», часто шутил, рассказывал анекдоты, но иногда делился своими сокровенными мыслями о творчестве, о людях, о политике.

Кроме любви к этому красивому человеку, я испытывал какое-то генетическое ощущение родства наших душ и осознавал, что и

он относится ко мне подобным образом. Наши отношения можно было назвать отношениями единомышленников. Разгадка, осознание истоков этого влечения наших душ друг к другу открылись значительно позже, когда не стало Сергея Фёдоровича.

В 1998 году, проплывая на теплоходе кинофорума «Золотой Витязь» по Днепру и пройдя Запорожье, родину моих предков, запорожских казаков мы через несколько часов подошли к Херсону и посетили родину С.Ф. Бондарчука, Белозёрку. И только здесь меня осенило: Боже! Да ведь мы же — земляки! Всего-то несколько десятков километров друг от друга жили наши вольные прадеды. Мы из одной земли, из одних корней. Мы — братья по крови и духу.

Только один раз удалось пригласить Сергея Фёдоровича к нам в гости. Я заехал за ним на машине и привёз домой, где с трепетом и поджаренной курицей ожидала его дочь. Спиртного было немного и оно мгновенно иссякло. Время ночное, нигде ничего не достанешь. На полке — штук 20 маленьких, пятидесятиграммовых фигурных «мерзавчиков» с разнообразным заморским пойлом, привезённых из разных стран. И пока последнему «мерзавчику» не наступил конец, «казаки» не смогли расстаться.

1975 год. Выпускники ВГИКа — Наталья Бондарчук, Игорь Хуциев и я завершили на «Мосфильме» постановку дипломных новелл по роману Салтыкова-Щедрина «Пошехонская старина». Соединив новеллы в один фильм, мы предложили Сергею Фёдоровичу прочитать текст от автора. Он, хоть и занятый постановкой своего нового фильма, сразу же согласился и назначил день и час, когда придёт к нам на озвучание. Попросил не откладывая принести ему тексты, которые он должен будет произнести.

В назначенное время мы через весь «Мосфильм» сопроводили его в тон-студию. Сергей Фёдорович разложил на пюпитре перед микрофоном тексты, в которые почти и не заглядывал. Великий профессионал, актёр Бондарчук, был абсолютно готов к работе — тексты выучил наизусть.

Мы, начинающие режиссёры, замерли у окна в соседней микшерской комнате, не смея давать указаний мастеру. Так в полной тишине, где звучал лишь гипнотический голос великого ар-

тиста, прошло несколько минут. Сергей Фёдорович вживался в образ Салтыкова-Щедрина, искал верную интонацию, тембр, не удовлетворённый достигнутым, командовал: «Ещё раз!»... «Ещё дубль!» Наконец обратился к нам:

— Режиссёры! Чего молчите? Какие будут замечания?

А режиссёрам всё нравилось... какие там замечания! И всё-таки кто-то из нас, «для приличия», отважился внести лёгкую коррекцию. Сергей Фёдорович с готовностью исполнил просьбу.

Особенно мне запомнилось, с какой изнурительной самоотдачей он озвучивал последние слова автора «Пошехонской старины» произносимые в финале на изображении предсмертного портрета Салтыкова-Щедрина: «Я люблю Россию до боли сердечной... и желал видеть Отечество моё — счастливым». Наверное, около двух десятков раз Сергей Фёдорович просил ещё и ещё дубль, пока наконец не вздохнул облегчённо:

— Стоп! Ну, кажется, попал!..

Завершив «Пошехонскую старину», мы пригласили Сергея Фёдоровича на просмотр. Как дорого было для меня, родившего первую режиссёрскую работу, услышать от Бондарчука короткую похвалу: «Молодец!.. А ведь ты — режиссёр».

Следующее наше партнёрство с Сергеем Фёдоровичем состоялось через несколько лет в фильме «Выбор цели», где он играл главную роль — академика Курчатова, а меня пригласили на небольшую роль учёного-атомщика Феди, предупредив, что прообраз моего героя — отец атомной бомбы академик Сахаров. И хотя ролька была микроскопической в масштабах всей киноэпопеи (всего-то три эпизода и актёрской славы она мне явно не прибавляла), я не раздумывая согласился только потому, что мне предоставлялась возможность побыть ещё немного подле моего любимого Бондарчука. Работали в павильоне «Мосфильма» и в подлинном интерьере курчатовской квартиры. Профессионально-изящные, светлые, тёплые, сердечные мгновения нашего совместного бытия. Возможность перемолвиться в паузах на темы, волнующие нас обоих.

Бондарчук и Тарковский. Два равно любимых и дорогих для меня человека. Отношения этих двух гениев ещё требуют своего изучения и расчистки от наслоений, сплетен и домыслов.

Как я радовался, когда С.Ф. Бондарчук предложил вечно опальному Андрею работать в его Объединении и под его защитой на «Мосфильме». Он всем сердцем принял фильм Андрея «Солярис», после просмотра картины с грустью сказал своей дочери Наталье, исполнившей в этой картине роль Харри:

— Господи! Что же ты после этого будешь играть?..

Это был период, когда два гения сердечно потянулись друг к другу и даже строили планы совместной работы над фильмом о Достоевском. Да не тут-то было... Их развели... Нашептали доверчивому Андрею о «коварстве Бондарчука», который де непременно воспользуется доверчивостью Тарковского...

И заключительный аккорд в истории несостоявшейся дружбы двух гениев русского кинематографа — инцидент в Каннах.

Бондарчук был приглашён в Канны членом жюри, а Тарковский участвовал в конкурсе с фильмом «Зеркало». Жюри не присудило «Зеркалу» главную премию, и пресса повесила провал фильма на совесть Бондарчука.

А что же было на самом деле?

Когда Сергей Фёдорович вернулся из Канн, при первом же нашем общении я задал ему вопрос: «Ну, как новый фильм Андрея?» Его отзыв о картине был достаточно спокойным. Фильм ему не понравился, и он чисто профессионально объяснял, почему его этот фильм не захватил. Естественно я задал вопрос: «Вы голосовали против?»

— Да нет, — ответил Сергей Фёдорович, — я воздержался.

Спустя несколько лет, когда не стало Андрея Тарковского, я посетил его могилу во Франции, на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.

Встретившись в Париже с Отаром Иоселиани, я выслушал его рассказ о «каннском инциденте», очевидцем которого был и он, находясь в те дни в Каннах. Он задал вопрос одному из членов жюри (он назвал мне имя этой женщины, которое я не могу сейчас вспомнить):

— Правда ли, что Бондарчук голосовал против «Зеркала»?

— Нет, ответила она, — Бондарчук вообще ничего о фильме не говорил. И если бы он что-то сказал против фильма, это лило бы воду на мельницу Тарковского.

— Я пересказал Андрею свой разговор с членом жюри, — продолжал Отар. — Андрей обернулся к своей жене: «Вот видите, Лариса Пална, у Отара совершенно другая информация...»

— Нет! — Вскричала жена. — Я знаю! Бондарчук послан КГБ, чтобы не дать вам премию!..

Да простит Господь прегрешения вольные и невольные рабы Божией Ларисы пред всеми, кто любил Тарковского и с кем она его разлучила.

1984 год. Начало нового этапа наших отношений с Сергеем Фёдоровичем.

Как-то приехав к нему на дачу, я рассказал о четырёхлетних хождениях по мукам со своим сценарием «Лермонтов». О том, что писал сценарий для киностудии «Грузия-фильм», но там его отвергли по причине утверждения мною в сценарии добрых отношений между Россией и Грузией. Потом два года мой «Лермонтов» стоял в плане Гостелерадио, а меня всё не запускали. Хотела запустить меня в работу Одесская киностудия, не позволил Лапин: «С какой стати Лермонтов в Одессе?..»

— Годы идут, ещё немного, и я не смогу играть Лермонтова чисто физически... Я просто не знаю, что мне делать...

— А ты сними «Лермонтова» у меня в Объединении, — предложил Сергей Фёдорович то, о чём я и мечтать не смел.

Так он решил судьбу моего «Лермонтова», облегчив мои авторские страдания и увеличив страдания свои. Мог ли он предвидеть, что через два года, когда я завершу свой фильм, это послужит дополнительным поводом для травли, ляжет строкою в приговор, который вынесут Бондарчуку новоявленные «перестройщики»!..

Пригласив меня в своё Объединение, Сергей Фёдорович никак практически в дальнейшем не участвовал в создании моего фильма: не приходил на худсоветы, не смотрел отснятый материал, ни во что не вмешивался, предоставив мне полную свободу, что меня вполне устраивало... Он был сам поглощён созданием «Бориса Годунова». Но тот факт, что мой «проект поддержан Бондарчуком» и его фигура, его крыло незримо было распростёрто надо мною, помогло мне пройти все рифы и завершить картину. Правда, мосфильмовские острословы мгновенно окрестили фильм «Лермонтов» «зятком Годунова».

Бондарчук пришёл лишь на просмотр готового фильма, дал несколько профессиональных советов и поздравил с завершением труда.

Лишь однажды, чувствуя, что худсовет «Мосфильма» без его поддержки может зарезать мне несколько сцен, я попросил Сергея Фёдоровича прийти на помощь. И он пришёл. И когда кто-то из советчиков предложил вырезать из фильма сцену с гадалкой Кирхгоф (мол, негоже в советском кино о гадалках...), он спокойно сказал, что на его взгляд это — одна из лучших сцен в фильме. Полушутя обронил фразу о том, что может рассказать, кто из членов Политбюро ездит к Джуне, а кто к Ванге... И проблема с «обрезанием» отпала.

Как-то я сказал Сергею Фёдоровичу о той невероятной, бескорыстной поддержке фильма «Лермонтов» окружающими людьми, предоставляющими все услуги бесплатно, по зову своего русского сердца: распахнутые двери дворцов и музеев, и даже самого Кремлёвского дворца, бесплатные войска Северо-Кавказского округа, вертолёты, конница...

— А как, думаешь, я снимал «Войну и мир»? Точно так же. Без поддержки народа фильм не мог бы состояться...

Когда Сергей Фёдорович снимал в Ленинграде «Красные колокола», мы снимали там же телефильм «Медный всадник». Однажды мы подъехали на Дворцовую площадь, прошли сквозь оцепление туда, где подле Александрийского столпа бродила потерянная фигура режиссёра. Кругом всё клоочет, десятитысячная массовка бежит по прилегающим к площади улицам к Зимнему дворцу, снимают параллельно семь камер. Одна из них закреплена на вертолёте, с рёвом кружащимся над площадью. Ветродуи гонят по площади пиротехнические дымы. Невообразимый хаос, шум, стрельба, взрывы...

— И как ты всем этим управляешь? — спросила Сергея Фёдоровича его дочь.

— Не знаю, — повёл он плечами. — Да оно как-то само...

Здесь же я получил от Сергея Фёдоровича предложение:

— Меня актёр подвёл... Ты не снимешься в роли Антонова-Овсеенко?..

— А когда нужно?

— Завтра. А чего?.. Давай, Микола, выручай...

На следующий день я в гриме, с пистолетом в руке лез на баррикады, «брал Зимний дворец». Отснялся в двух кадрах, но продолжения моего участия в «Красных колоколах» не последовало. Сергей Фёдорович пригласил на эту роль другого актёра. Я не обиделся и даже не стал выяснять причины замены — был вполне удовлетворён тем, что хоть ещё денёк поработал с Бондарчуком.

Кое-кто из обиженных близких говорил мне об эгоистичности Бондарчука, о том, что он занят лишь собой, о равнодушии к своим детям. Со временем мне пришлось убедиться в совершенно противоположном.

Однажды я пришёл в дом Сергея Фёдоровича на улице Горького. Мы сели друг против друга в его кабинете и я объявил, что расстаюсь с его дочерью. Несколько секунд он молча смотрел на меня, глаза его наполнились слезами, он выдохнул:

О боже!..

И сколько было в этом стоне любви и страдания за своих детей, тех потаённых чувств, которые он никогда не показывал окружающим!

Наши отношения после этого ничуть не изменились.

1992 год. Прошёл первый международный кинофестиваль «Золотой Витязь» в Москве. И первую премию «За выдающийся вклад в кинематограф» получил Сергей Фёдорович Бондарчук.

Пройдёт ещё три года и не станет великого Бондарчука, и награда Всеславянского кинофорума «Золотой Витязь» «За выдающийся вклад в кинематограф» будет навечно носить имя Сергея Бондарчука, и его гордый профиль будет отчеканен на золотой медали.

Пройдёт ещё немного времени и будет открыта Киноакадемия имени С.Ф. Бондарчука, в которой будут воспитываться кадры для русского национального кинематографа.

Лето 1994 года. Пришёл домой к Сергею Фёдоровичу, не ведая, что это наша последняя в жизни встреча, не мог допустить мысли, что и Бондарчук не вечен.

Он только что возвратился с курортного кинофестиваля, выглядел больным, заметно похудел.

Я пригласил его приехать на «Золотой Витязь» в Тирасполь в начале сентября. Он согласился, но добавил: «Ещё надо дожить...»

Я показал ему видеофильм о прошедшем в прошлом году в Югославском городе Нови Саде втором «Золотом Витязе». Он одобрительно заметил:

— Да... это — другой кинофестиваль...

Попили чаю, поговорили о разном и простились — как оказалось, навсегда.

Через три месяца Сергея Фёдоровича Бондарчука не стало.

«Что ж, веселитесь! Он мучений последних вынести не смог...» Радуйтесь «собачки», до крови терзающие душу изнемогающего льва. Укоротили жизнь гиганта коллеги-кинематографисты и обслуживающие их ничтожества из критической стаи. Да и итальянцы помогли со своими интригами вокруг «Тихого Дона».

Гроб с телом Сергея Фёдоровича мы несли плечо к плечу с человеком, с которым нас связывает сорокалетняя дружба и любовь, с Никитой Михалковым. Я смотрел на него и думал (не помню, сказал ли ему об этом на поминках): «Теперь только держись. Ты принимаешь эстафету. Быть первым на Руси — тяжёлый крест».

28 июля 2000 г.

Сергиев Посад



МОЙ ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ

В моей памяти существуют два образа Владимира Высоцкого. Один — знаменитый бард, владевший всенародным

эфиром почти два десятка лет, поэт-гражданин, «грудью шедший вперёд», человек, всё более становящийся легендой. Второй, — а по времени знакомства первый, — образ более скромный, человеческий, тёплый, сотканный из плоти и крови, образ Владимира Высоцкого из 1960 года.

Тогда, в тёплое солнечное лето, шли пробы на фильм «Иваново детство». Андрей Тарковский пригласил попробоваться на роль капитана Холина молодого артиста Театра им. А.С. Пушкина, мало кому тогда известного Владимира Высоцкого. Популярность его песен и слава были ещё впереди.

Мы познакомились на «Мосфильме» в группе Тарковского. Сблизились на репетициях и на съёмочной площадке. Время стёрло детали, подробности — оставило лишь основное: образ серьёзного, профессионального, самозабвенно относящегося к делу артиста. Партнёрский контакт установился мгновенно: мосты между нами навёл, на правах старшего, Владимир. Оба мы были в равношатком положении, в которое ставит актёров унижительная процедура кинопроб: мы оба не знали, утвердит ли нас Тарковский или нет. А к концу кинопроб стали друзьями. Вместе разгримировались, поливая друг друга тёплой водой; вместе переоделись в костюмерной в свои одежды, вышли за ворота студии.

День был солнечный, всего 4—5 часов пополудни. В нас обоих ещё не остыл эмоциональный, творческий накал.

— Поедем в сад «Эрмитаж», — предложил мой партнёр.

— Поедем.

По тексту кинопроб мы обращались друг к другу на «ты», и это само собой перетекло за пределы кадра. Из-за своей отроческой застенчивости я трудно сходиллся с окружающими, но с Владимиром сошёлся с разлёта, словно всегда знал этого доброжелательного, внимательного, простого человека.

Я не могу вспомнить, о чём мы говорили, гуляя по саду. Помню лишь, что мой новый друг заинтересованно расспрашивал меня о моей жизни, помню его внимательное, уважительное отношение ко мне. Мы присели за столик в открытом кафе. Володя купил мороженого, открыл бутылку шампанского, и мы отпраздновали наше знакомство. Я чувствовал себя совсем взрослым, хотя мне было всего 14 лет. Я обрёл старшего друга.

Володя часто брал меня с собой в Театр Пушкина на спектакли, в которых он был занят. Сидя в зале, а иногда даже за кулисами, я с волнением ожидал кратких, эпизодических появлений на сцене моего друга, и мне казалось, что он играет лучше всех. В театр Володя водил меня через служебной вход, на правах «младшего брата». Он знакомил меня с таинственной сумеречной жизнью кулис. Пока мой друг готовился к спектаклю: одевался и гримировался, — я сидел в его гримуборной еле дыша и впитывал процесс приготовлений, слушал разговоры Володи и его партнёров.

Осенью нашим встречам положил конец мой отъезд из Москвы в киноэкспедицию с группой «Иваново детство». Вместо Володи на роль капитана Холина Тарковский утвердил актёра Валентина Зубкова.

Так закончился первый период знакомства с Владимиром Высоцким — период, сформировавший и определивший наши отношения на два десятилетия.

И сегодня, вспоминая Высоцкого, я вижу прежде всего образ молодого обаятельного парня с хрипловатым голосом, так странно сочетавшимся с тёплыми, ласковыми глазами. Внимательный, заботливый, интеллигентный, даже немного стеснительный в дружбе. Я не могу вспомнить проявлений агрессивности к окружающим, напротив, помню лишь предельную доброжелательность Владимира к людям.

В осенние киноэкспедиционные вечера, в каневской гостинице над Днепром, Андрей Тарковский и Андрей Кончаловский пели под гитару песни начинавших заявлять о себе В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Г. Шпаликова. Имя Высоцкого вместе с записями его песен широко разносилось по стране. Долгое время я не мог поверить, что автор этих лихих песен — мой друг Володя. Я не мог увязать нежного человека с необузданным, неистовым темпераментом, взрывающим его песни.

Прошло несколько лет, на протяжении которых мы ни разу не встречались. Владимир стал кумиром публики, стал ведущим артистом в Театре на Таганке, его песни звучали всюду, где имелись магнитофоны, он женился на Марине Влади.

Наконец наши кинематографические тропы пересеклись на съёмках фильма «Служили два товарища». Владимир играл в кар-

тине одну из главных ролей — поручика Брусенцова. Меня пригласили на крохотный эпизодик прапорщика Лукашевича, которого по ходу действия убивает герой Высоцкого. В съёмочной суете общение наше вышло беглым и поверхностным. Мы вместе облачались в костюмерной в белогвардейские мундиры; гримировались в соседних креслах, переговариваясь о чём-то незначительном. Окружённые посторонними людьми, мы не могли начать сближение. И в сцене мы были разведены по разным концам комнаты, не сходились ближе чем на расстояние пистолетного выстрела. Во втором кадре я уже лежал на полу, изображая труп, а произносил надо мною какие-то фразы. Моё краткое участие в этой картине завершилось. Съёмочный водоворот повлёк Высоцкого к следующему кадру. Второпях простившись, мы договорились, что я приду к Володе в театр на его «Гамлета».

Вскоре мы созвонились, договорились встретиться за полчаса до начала спектакля. И снова поражая меня своей простотой, пунктуальностью и внимательностью, Владимир, уже знаменитый на всю страну как бард и киноактёр, ровно в условленное время вышел ко мне из дверей служебного входа и на глазах взирающей на него толпы протянул мне билеты в первый ряд. Помню, что от спектакля я остался не в восторге, покинул зал с ощущением поверхностного прочтения театром Шекспира, казалось, что всё игралось актёрами «мимо текста»: пробегалось, пробалтывалось. По окончании спектакля я не стал впопыхах говорить Владимиру о своём впечатлении, поблагодарил его и мы договорились созвониться, встретиться и поговорить подробнее.

Наша следующая, неожиданная, встреча произошла не так скоро. Это случилось в гостях у художника Бориса Мессерера и Беллы Ахмадулиной. Переступив порог, я увидел сидящих за столом Володю и Марину Влади. Это был единственный раз, когда мне довелось видеть их вместе. Знакомя нас с Мариной, Владимир нашёл в мой адрес какие-то сердечные слова, обнаруживающие сохранность в его душе прежнего тёплого отношения ко мне. Дорогой для меня миг, подтверждавший неизменность нежной сути моего «старого друга».

В мастерской было много гостей. На протяжении всего вечера нам так и не удалось поговорить. Я издали с интересом наблюдал

за Володей, пытаюсь уяснить, каков же он в нынешних «предлагаемых обстоятельствах», и находил его прежним: естественным, простым; да разве что более тихим, скромным, возвышенным. Владимир не думал брать в руки гитару, и никто не смел ему этого предложить. Во весь вечер он, кажется, так и не отошёл от своей жены: сидел подле неё, говорил с ней, отвечал на вопросы обращавшихся к нему.

И снова мы расстались на несколько лет. Наши судьбы текли по разным руслам: мы жили в одном городе, в одном кинотеатральном мире и не могли соприкоснуться. Слава Высоцкого крепла год от года, но крепла и опала на непокорного поэта. Не раз я слышал, что Володю не утвердили то на одну, то на другую роль. Груз внешних обстоятельств давил всё сильнее, но он продолжал грудью идти вперёд, бесстрашно возделывать свою целину.

Жизнь свела нас ещё раз: в «Маленьких трагедиях» Володя играл Дона Гуано, я — Альбера в «Скупом рыцаре». Как и много лет назад, мы опять вместе вышли за ворота студии. День был непогожий, время приближалось к полуночи. Володя предложил подвезти меня до дома. Мы сели в его красивую французскую машину с дипломатическим номером и помчались по ночной Москве.

Какое-то время ехали молча. Боялись нарушить тишину незначительностью вопросов. Молча изучали, разведывали друг друга; нащупывали под наносной шелухой «имиджа» сокровенное человеческое существо. Комфортабельная машина, дублёнка, громкое имя, известное не только у нас в стране... Оболочка... «А что там, внутри?... Каким ты стал за эти годы?..» Мы оба, кажется, искали ответа на эти вопросы. Именно это пытливое молчание приносило нам ответ. Не было поверхностных фраз, болтовни, элитарной пошлости, выпячивания своего «я», всего того, чем грешит современный «творческий мир». Володя был прежним: доброжелательным, деликатным, нежным человеком. Цинизм товарно-денежного бытия никак не коснулся его души.

Беседа завязалась сама собой. Мы начали говорить о чём-то, самом важном для нас. В память врезались слова Владимира:

— Сейчас приеду домой и буду писать. Это — как закон: в каком бы состоянии я ни был, как бы ни устал — я должен написать три песни.

Мы тепло простились. Договорились о скорой встрече, когда, наконец, мы сможем обо всем поговорить.

Больше увидеться нам не было суждено.

ПОСЛЕДНЕЕ ЕЛЕОПОМАЗАНИЕ МИХАИЛА ПТАШУКА

Когда человек уходит из жизни, он уносит с собой из памяти покинутых им людей все несущественные проявления своего смертного характера, оставляя им ощущение своей, Богом данной, сути.

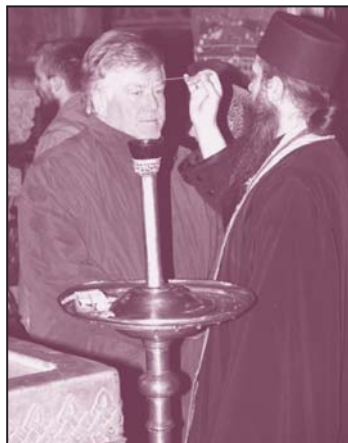
Отблеск сути Михаила Пташука запечатлелся во мне на последнем миропомазании в Косове, в Дечанском монастыре, за месяц до его трагического расставания с жизнью.

Долгие годы я воспринимал Михаила přátельски-поверхностно. Да и могло ли быть иначе...

Мы знали друг друга с 1966 года, со времени учёбы в Театральном училище имени Щукина. Он учился на режиссёрском, я — на актёрском. Сталкивались в коридорах, в буфете, на публичных экзаменах по профессиональным дисциплинам. Будучи всегда малообщительным человеком, я запомнил студента Михаила Пташука. Его невозможно было не заметить: его и тогда было много — большого, шумного, весёлого.

Прошли годы, и мы с ним неожиданно столкнулись на одном из всесоюзных кинофестивалей, где фильм белорусского режиссёра Михаила Пташука «Знак беды» был отмечен высокой премией. Не скрою, что тогда, порадовавшись за одноклассника и приятно удивившись тому, что театрально-направленный «щукинец» блеснул в кино, я не придавал этому случаю большого значения, тем более что и фильма его я не видел. А признание кого бы то ни было кинорежиссёром для меня, воспитанника Андрея Тарковского, дело непростое.

Промелькнуло ещё несколько лет. Имя Михаила Пташука всё чаще мелькало в репертуарной панораме белорусского кино, и



это свидетельствовало о том, что его начинают признавать одним из ведущих белорусских режиссёров. В 1990 году, я был приглашён на «Беларусьфильм» для постановки фильма «Всё впереди». С теплотой вспоминаю легендарную, по-домашнему родную студийную баню, в которой сходилась дружески противоречивое ядро «Беларусьфильма»: Виктор Туров, Михаил Пташук, Владимир Гостюхин, Юрий Марухин, Александр Ефремов... Здесь все творческие противоречия выяснялись по-мужски — крутым паром, дружеским веником и братской трапезой. Помню, насколько трогательно-внимательным и сердечным был ко мне, студийному новобранцу, Михаил. Как сторожил он дружески, заботливо ориентировал меня, новичка, в пространстве студии. Я видел, как искренне он желает удачи моему белорусскому дебюту.

А спустя два года родился Всеславянский кинофорум «Золотой Витязь», и я пригласил Михаила с его «Кооперативом политбюро» на фестиваль, проходивший в Тирасполе. Он с радостью принял приглашение, приехал в Приднестровье и получил наш главный приз. С тех пор наши отношения стали крепнуть год от года. Мы понимали, что нам — по пути. Михаил говорил мне, что сердце его навсегда с «Золотым Витязем», что для него нет на свете фестиваля достойнее, духовнее и светлее, чем «Витязь».

Спустя год до меня докатились слухи о том, что Михаила в Минске закрутили вихри «демократических» антимосковских потоков. Я отказывался верить в это. В моём сознании не укладывалось, что он, столь кровно связанный с Москвой и Россией, может встать на подобный путь. Вскоре я пригласил его на фестиваль в Югославию, но мы не говорили об этих слухах — не было необходимости. Михаил был прежним Михаилом — на дух не принимавший распад Союза и тусовки киношников-псевдодемократов, которые он неизбежно посещал.

В 2000 году я позвал Михаила с «Августом 44-го...» на свой фестиваль в Москву, но дорогу мне в который раз перешёл Марк Рудинштейн, переманивший его на «Кинотавр» в Сочи. Я созвонился с Михаилом, пожелал ему удачи, сказал, что приглашу его фильм на «Золотой Витязь» в будущем году, а пока предложил ему сразу же после Сочи лететь со мной в Югославию на «Эхо “Зо-

лотога Витязя”». Он не раздумывая согласился и сразу же после закрытия сочинского фестиваля примчался в Москву, стрелой перебросился из Домодедово в Шереметьево, чудом не опоздав на рейс в Белград. Мы обнялись как ни в чем не бывало, я познакомил его с моим старшим сыном Иваном... Михаил ощущал комплекс вины, ругал сочинскую тусовку и сожалел, что пропустил наш, родной для него, фестиваль.

И снова мы провели вместе светлые дни в Югославии, в городке Пожиге. Среди дорогих нашему сердцу друзей-сербов — Йована Марковича и Ивана Жигон. Вспоминали, как Михаил и его гостеприимная жена Лиля в Минске забрали от меня «на часок» к себе в гости Йована Марковича и вернули его через два часа едва державшегося на ногах. Йован не мог без смеха вспомнить «гостеприимно-провокационный» метод хозяина: «Рюмка не должна быть полной, но и не должна быть пустой!..»

Михаил, похожий на большого, шумного ребёнка, много смеялся, шутил, пил пиво, сербскую ракию и красный черногорский «Вранац», вкушал аппетитную сербскую кухню на гриле и от души радовался каждому мгновению своего югославского бытия. Видно было, что ему здесь по душе.

Как обещал, на следующий год я поставил «В августе 44-го...» на конкурс «Золотого Витязя», но Михаил, занятый съёмками нового американского фильма, не смог вырваться из кабального рабочего графика и представить свой фильм в Тамбове. Международное жюри присудило «Августу» Гран-при. Роскошный, скачущий на коне Витязь, полученный продюсерами, не попал в Минск, в руки Михаила, и тогда мы решили отлить ещё один дубликат «Гран-при» и вручить его лично Михаилу на Витебском «Славянском базаре» в рамках дня «Золотого Витязя». По технологии мы не успели столь быстро изготовить новый приз, но чтобы не отменять торжественной церемонии вручения, одолжили аналогичный Гран-при у прошлогоднего призёра «Золотого Витязя» Никиты Михалкова.

Я сказал Михаилу о сложившейся ситуации и, вручая ему в Витебске Гран-при, шепнул: «На, поддержи и верни Михалкову...» Михаил, едва сдерживая смех, подморгнул и «сыграл на публику благодарное лицо».

Неоднократно Михаил говорил и мне лично, и на встречах со сцены, и в интервью журналистам о том, что он считает «Золотой Витязь» самым главным кинофестивалем в мире, кинофорумом высоких духовных устремлений, собором единомышленников. Несколько раз он говорил мне: «Я навсегда с тобой».

В октябре 2001 года мы с Иваном были гостями Минского фестиваля «Листопад», и Михаил настоял, чтобы мы непременно побывали у него, намекнув на какую-то важную идею.

Мы провели за обильной трапезой добрых три часа. И мне стало понятно, откуда у Михаила такая плотность тела и такой неиссякаемый источник энергии. От его жены Лили. Большой хлебосольной опекунши-хозяйки я не видел в жизни: бесконечные перемены вкуснейших блюд появлялись на её столе, и требовалось обязательно всё отведать. Когда жена выходила на кухню, Михаил с гордостью расхваливал её достоинства, говорил, что именно — духовное начало их семьи, своим примером ведущая и его, грешного, к Храму.

Наконец Михаил объяснил, какая у него появилась «идея»: он предложил Ивану стать композитором его нового фильма, к запуску которого он готовился на Киностудии им. Горького. Сценарий скоро будет готов, и он пришлёт его Ивану. Не скрою, что мы с сыном были польщены подобным предложением, исходящим от лучшего режиссёра белорусского кинематографа.

В марте 2002 года я позвонил Михаилу и предложил поехать со мной в Белград и в Косово. Не раздумывая, он ответил: «С тобой хоть на край света».

Лично я давно рвался в Косово, чтобы увидеть всё своими глазами, неоднократно просил нашего посла в Югославии устроить мне эту поездку, пользуясь тем, что мы учились с ним в одной московской школе, но получал ответ, что это невозможно. И вот Ивана Жигон договорилась о проникновении в Косово сама. Она тоже обращалась в российское посольство, но ни дипломаты, ни военные не захотели брать ответственность за наши жизни. Тогда Ивана Жигон договорилась, что нас возьмут под охрану итальянские войска. Ивана просила, чтобы я оповестил Михаила и третьего нашего «добровольца» Дмитрия Андреевича Достоевского, правнука великого писателя, о всей опасности предстоящего путешествия,

но по каким-то причинам я не сделал этого, сказав лишь Михаилу, что поездка эта будет необыкновенной и непростой.

Покидая Москву, где было достаточно тепло, и думая, что в Сербии, как обычно, будет ещё жарче, я прихватил лишь кожаную куртку. Михаил, глядя на меня, лихо скинул в Шереметьеве пальто и оставил его моему помощнику вместе со сценарием нового фильма для моего сына. После 15 градусов в Москве Белград нас встретил девятиградусным циклоном. Не жарко... Из аэропорта, где нас ожидала Ивана Жигон, мы сразу же помчались в Черногорию, поскольку ровно в 24.00 мы должны были достичь указанного места в горах, в нейтральной зоне между Черногорией и Косово, где нас должен поджидать итальянский конвой с охраной.

Уже в Черногории, в монастыре Святого Георгия, у игумена отца Петра мы благополучно соединились с настигшими нас на микроавтобусе нашим дорогим Йованом, матерью Иваны, Еленой Жигон, киноведом Божидаром Зечевичем, фотографом и сотрудницей Министерства по делам религии. В монастыре температура была +1, с небес повалил снежок. Отец Пётр пригласил нас на скромную и быструю трапезу, и мы помчались дальше.

Настроение у Михаила было отменно весёлым. Он снова в любимой Сербии, встретил дорогих его сердцу людей. Он непрестанно смеялся, шутил, подтрунивал над Д.А. Достоевским, говорил не умолкая. Казалось, он совершенно не осознавал, куда его занесла судьба.

Проехали последний сербский блок-пост, дальше нейтральная зона — и КОСОВО.

Любуясь снежной фантасмагорией, высвеченной светом фар, мы неслись по черногорскому серпантину в неизвестность. Вдоль дороги десятки, сотни дальнобойных трейлеров с контрабандными грузами, припарковавшихся на ночлег. Даже они не рисковали двигаться в Косово ночью. Наш водитель, родом из Дечан, первого косовского городка, который мы должны посетить, сказал, что уже три года после вынужденного бегства из отчего дома не был на родине, что несколько дней тому назад албанцы убили последних двух сербов в Дечанах — мать и дочь. Теперь остались только 30 сербских монахов в Дечанском монастыре, которые живут под охраной 600 итальянских солдат и три года не покидают пределов

своей обители. Узнали мы и закрытую от мира информацию о том, что за эти три года в Дечанах уже погиб 21 итальянский солдат.

Михаил затих, весёлый тон проскальзывал всё реже, эйфория старта югославского турне пресеклась, наступил процесс осознания реальности. За бортом машины — минус 10. Мы, раздетые и безоружные, можем уповать лишь на милость Божию и милость добрых людей. Хорошо, если нас встретят добрые люди, а если нет?..

Мы всё чаще поглядывали на бортовые часы: вот уже 23.55, успеем ли вовремя? Опоздание чревато последствиями.

В 00.03 мы достигли назначенного места — небольшой парковочной площадки в горах. Опоздали лишь на три минуты... Итальянского конвоя нет... Не могли же они не подождать нас три минуты... Погасили фары... Ждём... В машине тихо, за окном крошечная тьма да свист пурги... Ждём 10 минут... 30... Вот уже час прошёл — итальянцев нет!.. 1 час 30 минут... показался свет приближающихся фар. Михаил обрадовался: «Итальянцы!»

Оказалось, что нет. Легковая машина с косовскими номерами медленно проплыла в пурге мимо наших двух машин и, поднявшись в гору метров на двести выше, развернулась в нашу сторону... постояла минуты три и, подъехав к нам, встала позади нашей машины. А у нашей машины и у нашего микроавтобуса белградские номера, что на любого албанца-косовара действует как красная тряпка на быка. Постояв минутку, «албанец» снова поехал вверх на исходную позицию в ста метрах выше нас.

— Они нас пасут, — сказал Михаил.

— Что такое «пасут»? — испуганно спросила Ивана.

— Следят за нами, — «утешил» её Михаил.

— Ой, мне страшно, — призналась Ивана. — Они видели наши белградские номера.

— Нужно двигаться обратно в Черногорию, — сказал я друзьям.

Переговорив с нашими соратниками в микроавтобусе, мы дружно сорвались с места и на полном газу понеслись обратно в Черногорию... Да не тут-то было. Промчались мимо машины «албанца»... ещё 50 метров и... забуксовали — гололёд! Мы отрезаны от дома. Я предложил вернуться на «место встречи» и ждать, уповая на Господа. Так и сделали.

Спустя ещё 10 минут дорога из Косова вновь озарилась светом фар, и из снежной феерии выкатились два бронетранспортера и джип. Словно тати из ночи, но для нас словно спасатели в камуфляже, из снеговерти возникли фигуры двух десятков итальянских солдат. Мы обрадовались им несказанно, словно своим избавителям.

Интересный парадокс нашего времени: три года назад итальянские войска принимали участие в агрессии НАТО против Югославии, а теперь их готов обнять каждый из нас, даже ненавидящая врагов своей родины Ивана Жигон...

После этого ночного испытания на границе Черногории и Косова, словно на границе жизни и смерти, — в нейтральной полосе пограничного безвременья, выбившего всех нас из привычного, поверхностного существования — смею утверждать: Михаил Пташук стал другим, стал собою. Дыхание реальной угрозы нашей жизни сдуло весь наносной слой столично-киношного сора. Порадовавшись избавителям, Михаил вновь замолчал. Было видно, что в нём совершается глубинная духовная работа. Он вслушивается в сокровенный голос своей души, вглядывается в истинное, неизбежное... в лики монахов, похожих на белых ангелов, совершающих Божественную литургию, приготовление брэнной плоти к таинству своего распятия во имя Христа.

Моя видеокамера постоянно следила за Михаилом. Внутренне я спрашивал себя: «Почему я всё время снимаю его, ведь он не кинозвезда?..» И продолжал вглядываться через глазок камеры в его глаза, в его душу. Вот Михаил подходит к святым иконам, к мощам, словно припадает к истине, к влекущему его горнему миру... Вот он подходит к игумену Феодосию на миропомазание, последнее в своей жизни. Остановись, мгновение. Сербский фотограф запечатлел миг проявления этой сути. Вглядитесь в это фото ещё раз, и вы увидите подлинного Михаила Николаевича Пташука: здесь смирение, чистота, здесь обнажившаяся, сокровенная суть раба Божия Михаила.



После этой Литургии Михаил подошёл ко мне и тихо, без экзальтации, по-мужски сказал: «Я очень благодарен тебе за эту поездку».

Мы проехали сквозь всё Косово с юга на север в армейском автобусе с плотно зашторенными окнами под охраной двух бэтээров и 23 итальянских солдат (такая рать оберегала всего девятерых славян). Мы вглядывались в пейзажи некогда цветущего Косова, ныне превращённого пришельцами в сплошную мусорную свалку... видели разрушенные сербские дома, храмы и погосты... Итальянцы сопровождали нас молча, в контакт не вступали, не позволяли раздвигать шторы, до тех пор пока Михаил не подчинил ситуацию своей режиссёрской воле и словно могучий белорусский ледокол не взломал сковывавший нас лёд отчуждения. Он объяснил итальянцам, кого они охраняют: «Это — великая сербская актриса Ивана Жигон. Это — русский актёр Николай Бурляев, который снимался в «Андрее Рублёве» у Андрея Тарковского. Это — правнук великого русского писателя Достоевского...» Итальянцы округлили глаза, заинтересовались, зацокали языками. Михаил не давал им опомниться, продолжал свою миротворческую режиссуру — распечатал бутылку белорусской водки и пустил по кругу.



А потом изумлённые албанцы могли слышать из проезжающего мимо них кфоровского военного автобуса звуки итальянских, русских и сербских песен и крики: «Достоевский! Живели!» После этого итальянцы спокойно смотрели, как мы, раздвинув шторы, снимаем скорбные пейзажи оккупированного Косова.



Когда мы прощались с нашей охраной в Косовской Митровице, Михаил обнял и трижды поцеловал каждого из 23 молодых итальянских парней.

Наши дорогие хозяева-сербы решили устроить нам на обратном пути в Белград сутки беззаботного отдыха на горнолыжном курорте, но уже ничто не приводило в восторг некогда буйного Михаила. И мыслью и душой он оставался там, на распятам Косове.

Когда мы ехали в машине на отдых в горы, — это было, в отличие от Черногорско-Косовского броска, не ночью, а днём, — обнаружили, что у Михаила боязнь высоты. Мы заметили, что он сидит, вцепившись обеими руками в спинку переднего сиденья и неестественно свернув голову вместе с шеей вправо, в сторону горы, чтобы не видеть разверзшейся слева пропасти. Нас всех забавлял его детский страх, казалось, невозможный для такого большого человека.

Когда машина забуксовала и встала, Михаил пулей вылетел из машины и не оборачиваясь пошёл обратно, вниз по дороге. Благо и нам нужно было возвращаться вниз на другой подъём, мы нагнали Михаила и еле уговорили сесть в машину, уверив, что другая дорога будет не такая крутая. И потом, поднимаясь по другой дороге, все (уже чисто психотерапевтически) успокаивали его: «Мы не высоко... Это не опасно... Мы скоро приедем...»

Наше нелегальное, проделанное в полнейшей тайне паломничество в Косово завершилось благополучно. Мы вышли из подполья, добрались до Белграда, где дали большую пресс-конференцию с участием трёх послов — России, Белоруссии и Украины, — и информацию о нашей косовской эпопее распро-



странили все СМИ Югославии. Михаила приняли в почётные профессора Киноакадемии.

Прощаясь, мы договорились с Михаилом, что через два месяца в мае он приедет ко мне на XI МКФ «Золотой Витязь» и возглавит жюри, что он со своими учениками в Минске смонтирует из моего видеоматериала фильм о Косове и мы покажем его в рамках Кинофорума...

Этому не суждено было сбыться — через несколько дней после возвращения Михаила не стало. Фильм о Косове, а точнее о Михаиле Пташук в Косове, смонтировала на белградском телевидении Ивана Жигон, и мы показали его на Кинофоруме в день памяти нашего друга Михаила Николаевича Пташука...

...Вот его последняя Литургия и последнее в жизни помазание...

...Вот его пламенные выступления на трапезе в Дечанском монастыре... в полуразрушенной школе Осаяны... в Приштинском университете на открытии киноклуба «Золотого Витязя» в Косовской Митровице.

...Вот он задаёт вопросы итальянскому солдату, показывая на обступившие нас горы:

— Албанцы нас сейчас видят?

— Видят.

— А выстрелить могут?

— Могут.

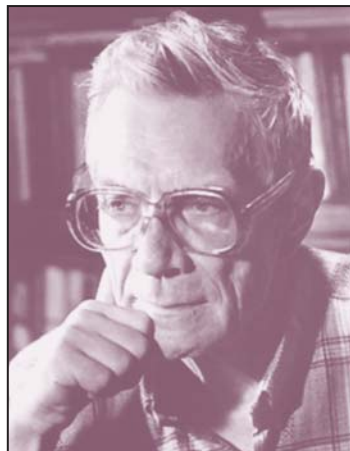
Михаил уцелел в Косове под прицелом снайперских винтовок, но не уберёгся в Москве...

Жизнь оборвалась на вздохе, на взлёте. Оборвалась в тот миг, когда, казалось, судьба так благоволила ему: он снимал один фильм за другим и загорался всё новыми и новыми планами, он стал ведущим режиссёром белорусского кино, у него сложились крепкие, дружеские отношения с президентом А.Г. Лукашенко, он признавался Москвою и миром, он ещё многое бы смог... Но — человек предполагает, а располагает Господь, и этот закон неотменим.

Теперь нам осталось вспоминать этого весёлого большого человека, смотреть его замечательные фильмы и молиться в храмах за упокой светлой души раба Божьего Михаила.

ВИТЯЗЬ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Так случилось, что прежде я познакомился с учеником Вадима Валериановича — Юрием Селезнёвым. Я успел застать его на излёте, в тот последний период его жизни, когда он готовился написать книгу о Лермонтове. Как раз в это же время я приступал к съёмкам своего «Лермонтова». И Юрий Иванович, словно предчувствуя, что может не успеть написать свою книгу, щедро одаривал меня информацией, собранной им о великом поэте. Он словно передавал эстафету мне. И я могу утверждать, что в моём фильме присутствует очень существенная духовная составляющая от Юрия Ивановича. В наших беседах он не раз упоминал о В.В. Кожинове, подогревая мой интерес к его личности и желание познакомиться с его трудами.



Вскоре Юрий Иванович при странных обстоятельствах покинул сей мир. Его книга так и не была написана. Но появился фильм «Лермонтов», который сразу же попал под шквальный огонь нашей либеральной, «демократической» прессы. 10 мая 1986 года состоялся первый показ фильма в Доме кино, а через несколько дней фильм и его автор были подвергнуты публичной порке на пятом Съезде кинематографистов. Сигнал был дан новоявленным критиком Плаховым, активно поддержанным моим старым приятелем режиссёром Сергеем Соловьёвым, на протяжении многих лет пробивавшим возможность снять фильм о Лермонтове по достаточно пошлomu сценарию Червинского. Руководство «Мосфильма» запустило в производство мой проект. И вот наступила пора мести, благоприятная для С. Соловьёва и его команды, захватившей руководящие посты в Союзе кинематографистов. Началась массированная атака на фильм в центральной прессе. За десять месяцев до выхода фильма в прокат началась подготовка общественного мнения через СМИ. За эти месяцы вышли 22 разгромные статьи и ни одного положительного отклика. Редакции отказывали в публикации положительных рецензий нескольким

десятков авторов, даже таким именитым, как В. Астафьев, В. Распутин, Ю. Нагибин, Ю. Бондарев, крупнейшие лермонтоведы, критики, профессора МГУ. Фильм «Лермонтов» поделил страну на два лагеря, принимавших и отвергавших этот фильм. На имя Президента Горбачёва поступали письма, под которыми стояли тысячи подписей в защиту фильма, по всей стране устраивались просмотры с яростными обсуждениями «Лермонтова».

Но ни одна положительная рецензия так не могла прорваться к читателям. Именно в эти трудные для меня и для моего фильма времена мне посоветовали обратиться к Вадиму Валериановичу Кожинovu. Я набрал номер его телефона.

— Много читал о Вашем фильме, — сказал Вадим Валерианович так, словно мы давно были знакомы. — Авторам статей и их аргументам не могу доверять полностью. Хотелось бы посмотреть фильм.

После просмотра «Лермонтова» Вадим Валерьянович стал абсолютным сторонником фильма. Обещал написать рецензию. И сдержал своё слово. Вскоре статья была им написана и передана в редакцию газеты «Советская культура». Началась пора ожидания выхода статьи, которая длилась полгода. За это время мы сблизились духовно. Часто встречались, созванивались, подолгу беседовали, кажется, обо всём на свете. Я вёл своеобразный «дневник режиссёра», надеясь когда-нибудь его опубликовать. Вот несколько записей из этого дневника.

«14 ноября 1986 года. Кожинov рассказал мне, что ему уже угрожали: мол, «что Вы вяжитесь? Против фильма всё руководство Союза кинематографистов! Бурляев считает себя законченным гением. Он не потому отверг сценарий Червинского, что тот был плох, а потому что он сам хотел быть и сценаристом...» Судя по голосу, эти звонки весьма забавляли Вадима Валериановича: «Крепко Вы, Николай Петрович, потревожили осиное гнездо, — смеялся он в трубку».

«27 ноября. Ровно в 16 часов меня принял главный редактор «Советской культуры» А.А. Беляев. Он сообщил мне, что посмотрел фильм два раза. Остановился на том, что ему понравилось и что нет. Интересно, что говорил он сегодня совсем не так, как в

прошлый раз: часто отводил глаза в сторону, подбирая слова. Задал мне вопрос:

— Вы читали статью Кожинова?

— Да, — ответил я.

— Мы смягчим её, отредактируем то место, где он пишет о космополитичности критика...

— Что-то я не припомню такого места в статье.

— Нет, оно там есть, — настаивал редактор.

Пообещал мне, когда выйдет фильм, опубликовать два мнения.

Я сказал, что ожидание выхода картины в прокат — долгое, тяжёлое испытание. Уже 20 критиков ударили по фильму и никому не позволили выступить «за».

«7 февраля 1987 года. Вадим Валерьянович согласился представить фильм на премьере в кинотеатре «Зарядье». Пребыла и наша киногруппа: актёры — И.В. Макарова, Н. Бондарчук, мой сын Иван, Усачёв, Файбышев, Цихотский, Сушков, Агеев, директор А.Т. Демидова и три её зама, композитор Борис Петров, второй режиссёр С. Петрова... В банкетном зале накрыли прекрасный стол с бутербродами, фруктами, кофе. Мы с Вадимом Валерьяновичем и со всеми друзьями произнесли безалкогольный тост за нашу встречу, за премьеру и дружно вышли на сцену. После представления киногруппы и выступления актёров мы спустились в зал, чтобы послушать Вадима Валериановича. Это было поистине Кожиновское, блистательное выступление. Здесь он впервые публично прочитал свою статью о фильме и сообщил зрителям, что уже пятый месяц её не публикуют в «Советской культуре».

«2 марта. Вчера, возвратившись из Мурманска, прямо из аэропорта приехал к родителям. Отец с порога спросил:

— Ты читал?

— Что? — насторожился я. — Опять? Где?

— «Культуру» читал?

— Когда?

— В эту субботу.

Я с сердечным трепетом взял в руки долгожданную газету. И не торопился открыть её на нужной странице: подробно разглядывал, изучал её... И, вот — она! Статья Кожинова! И рядом — Графова. И от редакции: «Два мнения о фильме «Лермонтов». Господи, сколько же я ждал этого и дождался. Это — победа!

Читать начал с «графовского» плевка. Плевок был хилым и глупым, но встречный ветер боевой кожиновской статьи возвращал плевков Графова с удесятёрённой силой. «Правота и воля режиссёра» так была озаглавлена статья Кожинова. Её заметно урезали, но даже в этом усечённом виде она была сильна — единым духом уничтожала все пасквилы и наветы на опального «Лермонтова». Я трижды перечитал её. Спасибо Вадиму Валериановичу.

«9 мая. Нас с Кожиновым пригласили на творческую встречу в Краснодар. В час дня в местной писательской организации состоялась встреча с творческим составом местного Союза писателей. Нам говорили. Что придёт человек 30, явилось более 100. Мы с Вадимом Валериановичем по очереди говорили и отвечали на многочисленные вопросы три часа. Какая честь и какое удовольствие стоять на сцене плечом к плечу со столь мощным соратником.

А потом тёплое, южное, дружеское застолье в кругу писателей, почитателей и друзей Кожинова. Отныне и моих друзей. Особенно понравился мне застенчивый и добрый Лихоносов. Да и Вадим Валерианович за этой трапезой открывался в ином, более интимном свете: юмор и откровения. Но и юмор и откровения были истинно Кожиновскими: аристократическими, сердечными, неподражаемыми».

Эта «Лермонтовская» эпопея сблизила, сроднила нас. Я стал бывать в доме Кожиновых, где за чаем мы вели долгие беседы о кино, литературе, истории. Вадим Валерианович погружал меня в такие таинственные пласты и повороты истории, о которых я раньше не знал. Говорили о модной в то время ориентации творческих работников на вожделённую «самоокупаемость культу-

ры». Вадим Валерьянович возмущался: «Ну что за бред? Они хотят сами себе вырыть яму. Достаточно сказать, что в маленькой Австрии на одну только Венскую Оперу государство ежегодно выделяет 20 миллионов долларов». Позднее, побывав в Венской Опере, я вспоминал слова Кожинова, наслаждаясь высочайшим художественным и материальным уровнем этого театра. Я видел подлинное достояние национальной культуры, в которое вкладываются немалые государственные средства.

Как-то у нас зашла речь об Андрее Тарковском, фильме «Андрей Рублёв». Я высказал Вадиму Валерьяновичу своё мнение и о великом, подлинно русском режиссёре, и о его жизнеутверждающем творении. Я говорил о том, что не согласен с некоторыми патриотами, в частности с И. Глазуновым, считающим фильм «антирусским». Где вы найдёте более русскую и более духоносную, жизнеутверждающую новеллу, чем новелла «Колокол»? Мне было приятно узнать, что Вадим Валерианович полностью разделяет моё отношение.

Общшения наши были общениями единомышленников, братьев по духу, борцов за русскую культуру. Как важно было для меня в то трудное для меня время получить поддержку и подтверждение правоты избранного мною пути от самого Вадима Валериановича Кожинова!

Прошли годы, и мне вновь пришлось столкнуться с наследием Кожинова и быть причастным к его воплощению. Осенью 2003 года мне позвонила Наталья Бондарчук и сказала: «Я прочла потрясающую книгу Кожинова о Тютчеве. Нужно непременно поставить по этой книге фильм. Близится 200-летний юбилей. Нужно попытаться успеть сделать фильм».

Фильм «Любовь и правда Фёдора Тютчева» был снят, и все мы — и создатели фильма, и зрители — обязаны Вадиму Валериановичу Кожинову тем, что в начале XXI века он через телевидение открыл нам и миру образ великого поэта, дипломата, мыслителя Фёдора Ивановича Тютчева.

На мой взгляд, критика такого уровня, как Кожинов, не было со времён Белинского, как, впрочем, нет и теперь после исхода Вадима Валериановича. Поднимался рядом с Кожиновым ещё

один исполин, его ученик — Юрий Селезнёв, сведённый в могилу совсем молодым. Оба они занимались критикой на высочайшем духовном уровне. Они оба были апостолами, витязями русской культуры, для которых главное в жизни был не временный успех у публики, а вневременное желание послужить Господу, Отечеству и Правде.

Лично для меня В.В. Кожин — пример нестигаемого русского воина, витязя, который абсолютно не задумываясь о том, что о нём будут думать, говорить и писать, на высочайшем, русском, духовном уровне, доказательно, без экзальтации мог нести людям правду. Как говорил Лермонтов: «Есть чувство правды в сердце человека». И оно, это «чувство правды», всегда откликнется на ту правду, которую нёс людям Кожин. Именно этого боялись его оппоненты: ведь высота аристократической русской правды была недостижима для их критики. Нынешнее забвение Кожина — временно. Придёт пора, когда Россия будет пристальнее и без помех вглядываться в своё прошлое, в свою историю, и тогда придёт понимание того, кто содействовал исполнению Промысла Божия и Истины на Русской земле.

САВВА ЯМЩИКОВ – РЕСТАВРАТОР ВСЕЯ РУСИ



Со святыми упокой, Господи, душу новопреставленного раба Божьего Саввы. Россия простила с «реставратором всея Руси» — этим званием наградила С.В. Ямщикова народная молва. Сегодня и я прощаюсь со своим близким другом.

Мы познакомились с Савелием Ямщиковым в 1963 году на съёмках фильма «Метель». Случилось это в Суздале, куда он прибыл по своим реставраторским делам. Мы проживали в одной гостинице. Савелий сам подошёл ко мне и сказал, что у нас с ним есть общий друг — Андрей Тарковский. Я снимался у Тарковского в «Ивановом детстве», а Савелий начинал

сотрудничество с ним в качестве научного консультанта фильма «Андрей Рублёв». Имя Тарковского стало для нас духовным паролем, сигналом к единению. Савве тогда было 25 лет, мне — 17, разница небольшая. Мы сблизились мгновенно и вскоре стали близкими друзьями, как говорится «водой не разлить».

На первых же шагах нашей дружбы Савелий оказал мне неоценимую услугу: помог уговорить Андрея Тарковского попробовать меня на роль колокольных дел мастера Бориски в «Андрее Рублёве». Этот образ ошеломил меня при прочтении сценария. Я загорелся желанием сыграть Бориску. Но как этого добиться, когда Тарковский и Кончаловский специально для меня написали роль ученика Андрея Рублёва Фомы, а литейщик Бориска писался с прицелом тридцатилетнего московского поэта Чудакова. Тарковский отмахнулся от моей просьбы, сказав, что я для этой роли мал. Не помогло и ходатайство оператора Вадима Ивановича Юсова. Тогда, как последний шанс, я использовал пособничество Саввы. Он избрал неординарный способ: сказал Тарковскому, что лучшего, чем я, Бориски не найти, и поспорил с Андреем на ящик шампанского, что тот всё равно меня утвердит. Так и произошло. Я всегда буду благодарен Савелию за его дружескую поддержку.

Многие годы мы встречались с Саввой буквально ежедневно. Совершали ежевечерние рейды по ресторанам творческих домов: Дом кино, ВТО, Дом журналистов, Дом писателей, Дом архитекторов... А глубокой ночью, когда все «дома» прекращали работать, инерция богемных посиделок частенько заносила нас в гости к Савве. Он любил быть в компании, не переносил одиночества. В холостяцких паузах: после его расставания с первой женой, болгаркой Велиной и второй — латышкой, маникенщицей Сармой, — мне приходилось жить неделями, скрашивая одиночество друга, в его однокомнатной квартирке на Симферопольском бульваре. Мы проводили вместе летние отпуска: ездили на Чёрное море, в Кижи, в Болгарию... Колесили на допотопном служебном фургоне по музейно-реставраторским делам Савелия, по просторам святой Руси: Псков, Рязань, Печоры, Владимир, Суздаль, Новгород, Ярославль, Кострома... Я видел, с каким уважением принимают моего друга музейные работники по всей России.

Разгульная жизнь утомляла меня, но я следовал за Саввой, как за своим Вергилием, по кругам божественного ада. Как-то я прочитал ему стихи, навеянные нашей тогдашней жизнью:

*Пустое времяпровождение
С элитой в дымных кабаках:
До тошноты ночные бдения,
Застолья в творческих домах.
Компаний праздное веселье,
Постель чужая, боль похмелья,
Но обожали пикники
Советских классиков сынки.*

Савва соглашался со мной в оценке пустоты данного «элитарного» существования, но молодость брала своё...

Впрочем, большую часть своей жизни Савелий Ямщиков посвящал совсем иным — духовным — занятиям.

Именно он начал распахивать передо мной новый, неведомый и прекрасный мир: древние русские города... провинциальные музеи... монастыри... храмы... иконы... Мир русской православной культуры. Ночевали в заштатных гостиницах, сельских постоялых домах, в древних звонницах, монастырях, в избе его друга, деревенского плотника-реставратора на Онежском озере, а иногда просто на сеновале... Пересекались с замечательными людьми земли Русской, друзьями Савелия, которые становились и моими друзьями: учёный Лев Гумилёв, писатели Валентин Распутин и Валентин Курбатов, великие артисты балета Владимир Васильев и Екатерина Васильева, дирижёр Максим Шостакович, скульптор Вячеслав Клыков, псковский кузнец-реставратор Всеволод Кузнецов, кижский плотник-реставратор Борис Ёлупов, гениальный кинорежиссёр Андрей Тарковский и кинооператор Вадим Юсов, выдающиеся актёры Иван Лапиков и Анатолий Солоницын, прославленный фигурист Алексей Уланов, легендарный хоккеист Вячеслав Старшинов... Кто-то нашептывал о Савелии Ямщикове, что он коллекционирует именитых друзей.

Однако какая замечательная коллекция!.. Пожелал бы каждому пожить в таком духовном цветнике...

Совместная работа над фильмом «Андрей Рублёв» ещё прочнее соединила нас. Савва впервые привёз меня в Псково-Печерский монастырь и познакомил с настоятелем, архимандритом Алипием, с которым мы подружились и который фактически стал моим первым духовником. Навсегда останутся в памяти эти дни: душевные беседы, щедрые трапезы в доме настоятеля, бывшего солдата Великой Отечественной войны, художника-иконописца, члена Союза художников СССР, возродившего из небытия сказочный Печерский монастырь. Его «Третьяковка»: удивительная русская живопись, украшавшая стены длинной восходящей лестницы, куда мы с Саввой уединялись на тайный перекур. Благодатные ночи под иконами с лампадкой в монастырской келье, погружённой в глубокую, словно вечность, тишину. Бархатный гул колокола, помогающий душе уноситься в горние выси.

Во второй половине нашей жизни Савва по-детски обижался на меня за то, что я в своих интервью говорю всё больше о Тарковском и очень редко о нём. Да, Андрей Тарковский был и остаётся для меня человеком моей судьбы, определившим мой творческий путь и мировоззрение. Именно он на съёмках «Андрея Рублёва» повесил мне на шею первый в моей жизни православных крестик. Он был и остаётся для меня недостижимой вершиной творческого величия. Однако сегодня, когда Саввы не стало, я, положив на сердце руку, признаюсь в том, что дружба с ним и его духовное водительство оказали не менее значительное влияние на моё духовное становление. Андрей появлялся в моей жизни периодически, как солнце в оконце, а мой близкий друг Савва был рядом постоянно. Именно он помогал делать первые шаги по новой для меня дороге, ведущей к Храму, ненавязчиво руководил моим духовным, православным восхождением.

Именно Савва Ямщиков, по промыслу Божьему, стал первым в атеистической России организатором масштабных выставок икон. Представить невозможно, но это было в шестидесятые годы советской богоборческой действительности. Именно тогда в самых престижных выставочных залах Москвы Савелий Ямщи-

ков знакомил столицу с шедеврами древнерусской живописи, издавал монографии и альбомы. На этих выставках встречались и соединялись в духовный поток лучшие представители советской культуры второй половины XX века.

В молодости Савелий был похож на русского Фальстафа, плотен фигурой, скрывал от окружающих свои телесные страдания. В детстве он заболел полиартритом. Всю жизнь ему было трудно передвигаться, болели ноги, но угнаться за ним было сложно даже мне, более молодому и здоровому человеку. Савелий был по-русски щедр. Денег не считал, платил за всех. Он любил сытно, вкусно поесть, выпить, ценил женскую красоту, дружеские застолья, анекдоты, песни. И в каждом застолье — страстные разговоры о мировой живописи, искусстве, литературе, поэзии, кинематографе, театре, архитектуре, политике... Он был фундаментально образован и непримиримо бескомпромиссен в отстаивании своих убеждений. Спорить с ним было невозможно: он сметал противника, как бульдозер, и с шумом двигался вперёд. В своих суждениях об искусстве и о людях был строг и категоричен. Непримиим по отношению к врагам русской культуры и любимой им России: бросался в бой с любой нечистой силой, не соизмеряя свои возможности с административно-весовыми категориями своих противников. И всегда побеждал.

Савелий Васильевич Ямщиков всю жизнь совершал своё неукротимое русское восхождение, свой духовный подвиг: работа реставратора и искусствоведа, выставки икон, книги и статьи, консультации художественных и документальных фильмов, ведение телевизионных программ о культуре и искусстве, соратничество с Н.С. Михалковым на поле боя Российского фонда культуры. Академик РАЕН, член Союза журналистов, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, президент Ассоциации реставраторов России...

Истинный, бесстрашный патриот своей Родины, о котором можно сказать: «и один в поле воин». Савелий Васильевич Ямщиков был подлинным апостолом русской культуры второй половины XX — начала XXI века. Своим подвижническим служением он навсегда завоевал своё почётное место в пантеоне культуры Святой Руси и благодарную память потомков.

ПАМЯТИ СТЕВО ЖИГОНА

Девять месяцев назад, на исходе 2005 года, скончался великий сербский режиссёр, актёр, академик Международной Славянской академии науки и искусств Стево Жигон. Первый лауреат высшей награды первого Международного театрального форума «Золотой Витязь» золотой медали имени Н.Д. Мордвинова



«За выдающийся вклад в театральное искусство». В те скорбные дни в Белград от «Золотого Витязя» были направлены слова прощания с нашим дорогим другом, которые были зачитаны на кладбище перед погребением Мастера.

29.12.2005

Госпоже Елене Жигон,
Госпоже Иване Жигон,
Вице-президенту
МФ «Золотой Витязь»
Господину Йовану Марковичу,
Сербскому народу

Дорогие друзья!

Уход человека — естественное, сокровенное условие Создателя. Мгновение *перехода души* — мгновение *Истины*, обнажающей значимость этой души для мира. Значимость души великого сербского режиссёра, артиста, мыслителя Стево Жигона для сербской, славянской, мировой культуры будет отныне всё отчётливее осознаваться осиротевшим сербским театром и сербским народом, пламенным патриотом которого был славенец Стево Жигон.

Шестьдесят ролей в театре 40 в кино и на телевидении, более 50 спектаклей, и каких спектаклей! Такой творческой биографии можно позавидовать. Ему и завидовали... Режиссёр Стево Жигон выбирал то, что было ему по плечу, — великую русскую и мировую драматургию: Шекспир, Достоевский, Чехов, Горький, Нушич, Црнянский...

Стево Жигон любил Россию не меньше, чем Сербию, и страдал за извращение прямых путей славянского мира. Россия высоко ценила талант Стево Жигона. Именно он стал первым сербским академиком Международной Славянской академии наук, образования, искусств и культуры.

Не случайно и то, что в России, богатой именами выдающихся мастеров театра, именно сербский режиссёр Стево Жигон был избран лауреатом №1 высшей награды Первого международного театрального форума «Золотой Витязь» — золотой медали «За выдающийся вклад в театральное искусство», а спектакль Стево Жигона «Идиот» был отмечен главным призом — «Золотой Витязь», который как добрый страж стоял у смертного одра великого Мастера в момент его *перехода*. Стево Жигон был одним из первых сербов, вступивших в Международное объединение кинематографистов славянских и православных народов.

Помню нашу последнюю встречу в Москве, на сцене Театра на Таганке, в момент триумфа Стево Жигона, когда Никита Михалков вручал ему нашу высшую награду. Момент счастья *печального Мастера*. Когда ему преподнесли специально для него написанную в иконописной мастерской икону Спасителя, он шутивший о том, что он человек неверующий, благоговейно поцеловал лик Спасителя.

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий! Упокой душу новопреставленного раба Божьего, великого сына сербского народа Стево.

Вечная ему память и благодарность от любимой им России, от «Золотого Витязя» и двенадцать тысяч коллег Мастера по Международному объединению кинематографистов славянских и православных Народов.

Председатель МОК СПН,
Президент Международного форума
«Золотой Витязь»

Николай Бурляев

«СРЕДЬ БОЯ ЗОРКОСТЬ НЕ ТЕРЯТЬ»

МУТАЦИЯ ДУХА ИЛИ ВОЗРОЖДЕНИЕ?..

Сегодняшнее положение кинематографа безусловно требует радикальных изменений, но не менее важны для нас глубокое осмысление и анализ.

Безусловному кризису в экономике и политике словно тень сопутствует глубинный кризис мировоззрения, забвение традиционных ценностей и нравственных ориентиров.

Политическая конъюнктура всегда, так или иначе, влияла на сознание многих кинематографистов, порождая серые фильмы-однодневки. Но столь глобального влияния «демократической» политики с её однозначной тенденцией разрушения и хаоса никогда доныне в нашем Отечестве не было.

Многие слышали на заре «перестройки» произнесённые по радио «Свобода» и потом не раз цитировавшиеся в прессе слова о том, что цель перестройки состоит в том, чтобы приблизить русских к западным стандартам. А также в том, чтобы «...произошла мутация русского духа. Нужно русских выбить из традиций...»

Прошло всего 12 лет и... как мы преуспели в исполнении пожеланий «Свободы». Не будем пенять на Запад, так как делали мы это своими руками. Кинематографисты сами старательно рыли могилу кинематографу: остервенело расправлялись со своими коллегами, укорачивая им жизнь, избирали правления разрушителей, требовали введения *самоокупаемости и самофинансирования* кинематографа, изгоняли из штата киностудий актёров, режиссёров и других профессионалов, пуская их по миру, отдавая всю нашу киноиндустрию в руки нескольких ловких дельцов от кино.

Разруха киностудий... Развал кинопроката... Нищета кинематографистов... Превращение кинопроизводства из высокопочитаемого, высокодоходного (7 миллиардов рублей в год в 1985 году!), в нерентабельный, презренный вид деятельности... Мы помогали мутации сознания зрителей и вполне закономерно получили отторжение зрителей от «рыночного кинематографа».

Не ведали, что творим, — получили то, что натворили.

С восторгом приняли навязываемый нашей стране принцип «единственно возможной» денежной регуляции во всех сферах социальной жизни, когда критерием любой деятельности становится её денежный эквивалент. Постарались побыстрее забыть то, что в России деньги никогда не были мерилom жизни, то, что культура в цивилизованном, духовном мире не может быть средством наживы.

Все мы помним победный клич: «Ассу» в массы — деньги в кассу»!..

Но все ли мы помним слова замечательного русского мыслителя И.А. Ильина: «Искусство, которое не стремится выразить сокровенные духовные содержания, искусство, которое не несёт в себе любовь очищающую, отверзающую духовное око, не есть искусство, это есть безответственная игра, баловство или же доходный промысел».

Культуру можно сравнить с системой иммунитета в организме. В здоровом обществе культура процветает и помогает организму жить, вливая в него целебные духовные потоки. В больном обществе больная культура существует на грани выживания, отравляя и разлагая весь организм. И как бы ни убеждал нас уважаемый мною А.Н. Медведев в том, что «дело Госкино — правое», согласиться с этим невозможно. Ибо сегодня образная сфера российского кинематографа, растворенного с дозволения прокатной политики Госкино в грязном потоке западной киноинтервенции, отражает явную духовную патологию. Новоявленные «герои» экрана главным образом — люди больные, преступники, потерявшие всякие нравственные ориентиры. Жизнь на экране сведена к грубому примитиву и пошлости. История великой страны оболгана. Болезнетворный маразм выливается на головы зрителей, от которых мы уже не вправе требовать заполнения залов и любви к «новому» кино. То, что сегодня происходит на Российском кино и теле экранах, можно образно назвать состоянием духовного спида.

Но если от физического спида лекарство ещё не изобрели, то в духовной сфере исцеление возможно.

Мы сами сотворили свою болезнь, нам же самим и начинать процесс выздоровления, созидания, возрождения.

Не случаен поиск нашим обществом своей национальной идеи. Не случайно возник вопрос о положительном герое в кинематографе и культуре.

Хотя искать национальную идею в России, всегда существовавшей сообразуясь со своею национальной идеей, по меньшей мере наивно. Идея России давно сформулирована нашими предтечами. Идея России — это *идея сердца*. А идея сердца, как известно, состоит в том, что главное в жизни есть *любовь*, и именно любовью строится совместная жизнь в обществе, ибо из любви рождается вера и вся культура духа. «Эту идею русская душа, издревле и органически предрасположенная к чувству, сочувствию и доброте, восприняла исторически от христианства, принятого нашими предками не от меча, не по расчету, не страхом и не умственностью, а чувством, добротой, совестью и сердечным созерцанием. Когда его вера желает, то она желает не власти над вселенною (под предлогом своего правоверия), а *совершенного качества*» (И.А. Ильин).

Что бы ни снимали наши коллеги, ринувшиеся в рыночный кинематограф, с каким бы «нечеловеческим лицом» россиян ни показывали, Россия всегда была и, хочется верить, будет великой страной. И такую страну могли создать только великие духом люди. Вся обозримая история России, сколько бы ни извращали её «новоявленные иуды», — это история её духовных побед. Россия всегда была ориентирована на национальные духовные ценности, что и являлось основой для её стабильности и развития.

Есть ли сегодня в нашем народе те здоровые силы, которые способны изменить положение нашей последовательно разрушаемой страны? Хочется надеяться, что есть.

Есть здоровые силы и в нашей больной, немощной, униженной кинематографической среде. Во всяком случае, последний (майский) съезд и (ноябрьский) пленум правления СК — вселили надежду. Дай Бог сил и терпения Н.С. Михалкову и его команде. Команде созидателей, уже создавших успешно действующую студию «Три Тэ», возродивших Российский фонд культуры. Их энергия и профессионализм позволяют надеяться, что в скором вре-

мени оживёт и наш Союз. Ведь если не Михалков, то кто сегодня в состоянии возродить СК и российский кинематограф? Только бы удержаться кинематографической братии от недоверия, сплетен и интриг. Ведь всё это мы уже проходили. Травили лидеров кинематографа, укорачивали их творческую и физическую жизнь. Может, достаточно... Быть может, лучше помочь Н.С. Михалкову и его команде вытаскивать кинематограф из ямы, в которую мы сами себя загнали?

В чём же сегодня спасение нашего общества, культуры, кинематографа?

Уже всем понятно, что спасение — не в навязанных извне, абсолютно чуждых «ценностях». Спасение — в ориентации на национальные традиции. Термин «национальный» не следует читать как этническую характеристику. Нужно перестать бояться и произносить шёпотом слово «русский». Для каждого нормального человека слово «русский» прилагательное, а не существительное. Когда в войну 1812 года и Великую Отечественную французы и немцы брали в плен украинца, якута, калмыка, они не говорили: «У нас пленный украинец, якут или калмык». Они говорили: «У нас пленный *русский*». В современном Израиле хорошо известна проблема «*русских евреев*». Русский — тот, кто живет в России, кто ощущает Россию своей Родиной-матерью, а не относится к ней свысока, как к «этой» стране, как к месту временного прозябания. В пространстве духа, а не этноса лежит граница русскости.

Уникальной особенностью России было отсутствие в ней национальной проблемы. Русские никогда не противопоставляли себя другим. В своей огромной стране они никого не делили по крови, но объединяли и помогали друг другу жить и выживать. И только сегодня политическая конъюнктура поставила во главу угла принцип «разделяй и властвуй», обозначила национальную проблему и объявила «охоту на ведьм». В России никогда не делили людей по национально-этническому принципу, уверен, что этого избежит и наш творческий Союз.

Критерием национальности для нас является духовный принцип.

Для России исконной, животворящей основой всегда был *дух созидания*. Будем созидать и мы в нашем СК.

* * *

В следующем номере «СК Новости» мы познакомим своих коллег с программой «Кинематограф созидającego духа», единовременно принятой на Первом съезде Международного объединения кинематографистов славянских и православных народов (МОКСПН), состоявшемся в мае сего года на Украине. Для МОКСПН это программа действий на XXI век. Хочется надеяться, инициатива МОКСПН заинтересует СКР и мы соединим наши усилия.

МОКСПН совместно с Российским фондом культуры и Комитетом по международным связям СКР начали подготовку Международной конференции, которую намечено провести на базе ДВК «Матвеевское» с 12 по 15 января. Тема конференции — «Духовные традиции и кинематограф христианского мира вчера, сегодня и завтра». Около 20 выдающихся кинематографистов из 15 стран дали свое предварительное согласие на участие в конференции. Среди участников: Никита Михалков и Александр Сокуров (Россия), Анджей Вайда, Кшиштоф Занусси и Януш Газда (Польша), Тео Ангелопулос (Греция), Юрий Ильенко (Украина), Резо Чхеидзе (Грузия), Горан Паскалевич (Югославия), Дьердь Фегер (Венгрия), Ян Сверак (Чехия), Генеральный секретарь ФИПРЕСИ Клаус Эдер (Германия) и другие замечательные режиссёры и киноведы. На конференции будут показаны последние фильмы многих её участников. Мы надеемся, что члены СКР смогут увидеть в Доме кинематографистов последние фильмы выдающихся мастеров экрана — «Вечность и один день» Т. Ангелопулоса, «Панну никто» А.Вайды, «Бочку пороха» и «Чужую Америку» Г.Паскалевича, «Историю кино в Попелявах» Яна Кольского, «Страсть» Дьердя Фегера. Доклады участников конференции мы надеемся опубликовать отдельной брошюрой.

В заключение хочу обратиться к тем, кому поручен отбор конкурсной программы Московского международного кинофестиваля.

Дорогие коллеги, постарайтесь избежать ошибок прошлых лет. Не загрязняйте экран Московского международного кинофестиваля фильмами о гомосексуалистах, трансвеститах, прости-

тутках, наркоманах и преступниках. Не роняйте честь Москвы, честь России. Не забывайте о том, что мы преемники великой Русской культуры. Не будем забывать евангельское предупреждение: «Горе тому человеку, через которого соблазн приходит» (Мф.18, 7).

ОСТАНОВИТЬ ЭКРАННЫЙ ТЕРРОРИЗМ

Никто не станет отрицать тот очевидный факт, что экранные искусства — кинематограф и телевидение — являются мощнейшим духовно-стратегическим оружием, средством формирования национального сознания. Едва ли кто будет отрицать и то, что российские власти, заигравшись в поддавки с поборниками так называемых свобод и прав человека, выпустили из-под контроля и из сферы государственной политики экранные искусства. Они самоустранились от какого-либо влияния на кино и телевидение. Мол, «делайте, что хотите, а у нас и без искусства проблем хватает».

И уже пятнадцать лет кино и телевидение, опьянённые вседозволенностью «доходного промысла», *делают, что хотят*. Правда, от их «экранных забав» проблемы государства резко *увеличились*. Ведь именно на продукции этих кино- и телебизнесменов, творящих по принципу ««Ассу» в массы — деньги в кассу», возросло в России новое поколение духовных мутантов. Увеличились преступность, наркомания, алкоголизм, заболевания СПИДом и другими последствиями «свободной любви», патологические отклонения, взрослая проституция, и даже появилась проституция детская. Переполнены лечебницы и тюрьмы, обитатели которых прямо говорят, что воспитывались на продукции «свободного экрана». Погибающие от СПИДа и наркотиков российские юноши и девушки адресуют свои беспомощные проклятия нам, взрослым людям, допустившим на Руси этот духовный геноцид.

Возникают естественные вопросы: «Кто наследует Россию? Кто будет её возрождать, любить, защищать, создавать семьи, рождать и воспитывать детей?..»

На протяжении XX века наш кинематограф восхищал мир примерами высокого искусства, основанного на нравственных, христианских традициях русской культуры. Можно смело назвать христианскими фильмы партийных кинорежиссёров: украинца Довженко, грузина Чхеидзе, белоруса Турова, русских Шукшина, Бондарчука, Ростюцкого, Чухрая, беспартийного Андрея Тарковского и многих других. Их фильмы духовно воспитывали наше общество и покоряли зарубежных зрителей примерами подлинного искусства и высоких нравственных идеалов. Что пришло им на смену?

Пришла новая религия — *религия экранного терроризма*. Неспоримая Мекка экранного терроризма — Америка. Главная кафедра — Голливуд. Приход Сатаны теперь в каждом доме: место иконы в углу занял — телевизор. Адреса всемирного сатанинского кино- и телемаркетинга известны. Можно даже имена назвать тех, кто за границей формирует российский кино- и видеопрокат. Америка — плавильный котел наций, переплавляющий самобытность народов. Страна, диктующая миру «новый мировой порядок», заливающая планету вторым всемирным потоком, потоком отравляющей «кока-кольной культуры». Я обвиняю не Америку. Она ловко делает деньги. Я обвиняю нас, допустивших в России сатанизацию народа. Что это? Мазохизм? Добровольное рабство? Равнодушие и попустительство властей?

Впрочем, подчас власти весьма усердствуют в противоположном направлении. Например, администрация Одинцовского района приказала демонтировать на Рублёвском шоссе информационные щиты Международного кинофорума «Золотой Витязь» с начертанными на них цитатами из Евангелия и высказываниями Святейшего Патриарха Алексия. И та же администрация спокойно взирает на то, что одинцовское телевидение транслирует два порнографических телеканала с «жёстким» и «мягким» порно. И всё это происходит буквально под окнами резиденции Президента Российской Федерации.

Ни в одной стране мира власти и интеллигенция так не работали против своего народа и своей культуры, как в России, внедряя *чужебесие*.

Вступая в XXI век — век глобализации, — мир должен осознать, что нет и не может быть единой, универсальной для всех народов цивилизационной модели. Не может западный мир быть идеальной моделью для мира православного, как, впрочем, и наоборот.

У каждого народа — своя *песня* пред Господом.

Чья-то дурная голова уже пыталась в прошлом веке ввести единый для всех язык — эсперанто. Слава богу, этот уродец в мире не прижился. Если бы Россия в XIX веке говорила на эсперанто, не появился бы Пушкин — дитя из плоти и крови, корней и духа великой русской культуры.

После 11 сентября Америка и другие государства мира усилили борьбу с терроризмом как главной угрозой XXI века. Теперь уже все понимают, что взрывать здания, убивать человека физически, захватывать его в заложники, пытаться, калечить, издеваться над ним, заниматься растлением является преступлением и должно сурово караться законом.

Настало время с такой же суровостью карать тех, кто убивает человека духовно, захватывая в заложники и растлеывая его сознание, пытая и калеча его душу *своим «свободным»* не только от уголовной, но даже и от моральной ответственности экраном.

Настало время требовать от российских законодателей и государственной власти незамедлительно положить конец вседозволенности «экранных террористов» и не обращать никакого внимания на те вопли, которыми наполняют эфир «свободолюбивые» растлители народа. Легче перенести визг, который поднимают экранные бесенята, когда им государство, наконец, прищемит хвост, чем слышать проклятия и стоны умирающего, вырождающегося поколения России.

А тем, кто любит ориентироваться на западную «свободу», следует напомнить, что во всех цивилизованных странах существуют государственные экспертные советы, не допускающие на экраны кино и телевидения безнравственные фильмы.

И в этом судьбоносном вопросе России не следует так отставать от Запада. Пора принимать соответствующие законы и наладить работу российских экспертных советов, состоящих из специалистов не только по творческим вопросам, но и медиков, психологов, представителей правоохранительных органов и

так далее, которые будут компетентно доказывать, что такой-то фильм может способствовать росту преступности, убийств, ограблений, насилий, а вот этот фильм усилит шизофренизацию общества, наркоманию, алкоголизм, это *кино* будет способствовать росту антипатриотических настроений, а это увеличит проституцию, педофилию и другие социальные пороки.

Государственная власть, которой сегодня доверено будущее России, должна осознать, что экранные искусства в XXI веке будут играть ещё более определяющую роль в формировании самосознания нации, а потому кинематограф и телевидение должны стать явлением *осознанной государственной политики*, а не отпихиваться неразумными чиновниками от культуры в приватизацию и свободный рынок.

Акционирование и приватизация киноиндустрии, столь поспешно осуществляемые правительством с подачи Министерства культуры, трудно расценить как недомыслие чиновников. Скорее это государственное преступление, которое будет способствовать ещё более быстрой деградации и вырождению народа, поскольку кинобизнесмены, завладевшие созданными трудом поколений киностудиями, естественно, будут думать только об одном — о максимальном извлечении прибыли. А прибыль в кино, как известно, легче достигается растлением зрителя.

Напротив, государству следовало бы озаботиться вопросом потери своего влияния на кинопроцесс, а следовательно, и на формирование через экран национального сознания.

Государству стоило бы не пускать с молотка существующие киностудии, а открывать новые российские киноцентры, киностудии и киношколы, готовящие кадры для национального кинематографа, способных создавать фильмы, соответствующие высоким нравственным традициям русской культуры, удовлетворяющие духовные запросы многомиллионного российского зрителя, фильмы, превращающие разрозненную массу в *монолит*, а население — в *народ*.

Почва для подобных государственных решений в сфере экранных искусств готова, взрыхлена и только ждёт державного сеятеля.

ВЕРА И ТРУД: ДУХОВНО-КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ РОССИИ

В новой России, формирующейся на наших глазах последние 16 лет, высшие должностные лица, экономисты и большинство представителей СМИ ставят экономику во главу угла, видимо полагая, что экономика — это просто заводы, фабрики, банки, комбинаты, энергетика, транспорт и т.д., сами собою вступающие в экономические связи. Но это не совсем так. Ибо в основе всех экономических процессов находятся человек, отношения между людьми, работающими на этих заводах, фабриках, в банках и т.д.

А отношения между людьми складываются по нравственным или безнравственным принципам, законам, правилам: они могут быть честными и бесчестными, справедливыми или несправедливыми.

Отсюда напрашивается простой вывод: результат экономики и всех видов деятельности государства зависит всецело от нравственных или безнравственных отношений, законов, применяемых людьми. Общество, отвергающее нравственную организацию своей жизнедеятельности, не имеет никаких шансов для благополучного развития, поскольку культивирует в себе разрушающие, разлагающие пороки.

На основе нравственного оздоровления, очищения начинали свое экономическое возрождение Германия, Италия, Япония, Китай и другие высокоразвитые государства.

Россия с внутренним мироустройством человека и народными традициями тем более не может существовать и нормально развиваться без нравственных устоев. Нашему обществу пора признать, что причина наших нестроений, страданий, испытаний, катаклизмов — не экономика, а отсутствие нравственных правил в общественных, экономических, политических и прочих делах.

Современное состояние России можно охарактеризовать как глубоко безнравственное, разобщённое, подверженное разложению самыми дурными пороками, разваливающими все сферы государственного и общественного устройства. Россия больна. Пора

понять, что создание благотворной общественно-экономической системы в России на воровстве, взяточничестве, мошенничестве, лжи, русофобии, корыстолюбии и обмане НЕВОЗМОЖНО НИКОГДА.

Благополучия в России можно достигнуть только, когда впереди экономической программы будет идти нравственная организация жизни и деятельности общества, нравственная идея, идея созидания Добра и Блага. Россия не может благотворно существовать и трудиться без Веры, Любви, Совести, Стыда, Чести, Справедливости, Милосердия, Благочестия... Без этого она уже будет не Россия, а совершенно другое общественно-государственное образование, подверженное всевозможным потрясениям и бедствиям. Безнравственность для России — это прозябание и смерть.

Всё происходящее в обществе определяется существующей в нем моральной атмосферой, которая отражает представление этого общества о Добре и Зле. Общество, в котором отрицательные наклонности, пороки превышают добродетели, живёт в страхе, насилии, недоверии, склонно к политической и общественной неустойчивости, подвержено деструктивным явлениям и катастрофам. Никакое различие наций, вероисповеданий, территорий, языков не должно нарушать единого отношения всех граждан России в понимании Добра и Зла.

Там, где не спасает закон, милиция, армия, — спасает нравственная атмосфера, принятая в обществе. Поэтому мораль и нравственность социально полезны обществу. Там, где живет высокая здоровая нравственность, создаются такие условия, в которых задыхаются пороки и преступления. В обществах с низкой нравственной культурой создается разлагающая атмосфера, которая отражается на всех сферах жизни.

Этика и нравственная культура влияют в нашей жизни абсолютно на всё: на государственные, экономические, политические, общественные дела; формируют ту или иную культуру и предпринимательство; создают отношение к собственному дому, городу, Отечеству, Природе; влияют на отношения в семье, на наше здоровье, на отношение к нам других государств.

БЛАГОПОЛУЧИЕ РОССИИ В НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

В основе этого *благополучия* лежат не полезные ископаемые, не финансовые средства, не материальные ресурсы (ибо все это может бездарно растрачиваться), не климатические условия, не наличие большой территории, не количество людей, а *наличие нравственной культуры*, то есть нравственных правил и законов, положенных в систему государственного управления и в жизнь общества.

Многие мерзости в нашем обществе допускаются с нашего молчаливого согласия.

В России должна восторжествовать нравственная культура. Никакие органы правопорядка не избавят нас от преступности, пока само общество не станет отторгать её своим внутренним нравственным неприятием.

Как этого добиться?

Выход один — нравственные принципы и правила должны лежать в основе каждого дела, каждого поступка, каждой мысли каждого гражданина России. Нравственность и благотворность, честность и благоразумие должны стать сутью государственной политики, государственного управления, государственного законодательства. Без нравственной идеи не могут существовать ни наша культура, ни экономика, ни армия: ибо солдаты и офицеры не могут защищать просто горы и пригорки, реки, поля и кусты...

Им нужна высокая нравственная идея, ради которой можно отдать и жизнь.

Ни для кого не секрет всесильное, глобальное воздействие СМИ и их авангарда — экранных технологий — кино и телевидения, способных возрождать и возвышать или мутировать и убивать сознание поколений.

Понимая это, одиннадцать лет назад кинематографисты создали уникальную духовную лабораторию — Международный кинофорум «Золотой Витязь», девиз которого: «За нравственные идеалы. За возвышение души человека». За эти годы «Золотой Витязь» показал на своём экране 2200 фильмов. Результат по-

следнего, одиннадцатого Международного кинофорума «Золотой Витязь», прошедшего в мае сего года в Рязани, был оглашён (недавно, в ноябре) на телеканале «Россия» медиками-аналитиками из Рязани. По их сведениям, итогом прошедшего в Рязани кинофорума «Золотой Витязь» явилось резкое снижение в Рязанской области преступности, наркомании, самоубийств и других социальных пороков.

Вот как может и как должен влиять экран на человека.

В этой связи не могу не сказать о тревоге кинематографистов, связанной с подписанием в апреле сего года президентом России указа об акционировании и приватизации кинематографа. Этот губительный для кинематографа и государства указ был подготовлен и уже выполняется Министерством культуры Российской Федерации.

Не всё в России можно отдавать в частные руки: атомную бомбу — нельзя, энергетику и железные дороги — нельзя, экран — тоже нельзя, ибо экран — духовно-стратегическое оружие государства, способное или возродить и возвысить, или разрушить и мутировать сознание нации, что и осуществлялось через экран последнее десятилетие.

Поэтому я прошу Собор внести в свои итоговые резолюции обращение к президенту Российской Федерации о недопустимости приватизации государственного Российского кинематографа и телевидения.

Я поддерживаю предложение Владыки Кирилла о формировании Собором нравственных законов, нравственной этики, которая должна быть предложена России для её спасения.

«НЕ УЧАСТВУЙТЕ В ДЕЛАХ ТЬМЫ»

Получив приглашение выступить на Конгрессе российской интеллигенции, я дал принципиальное согласие, потому что тема конгресса показалась мне достаточно интересной: *«Религия, образование, культура: необходимость диалога»*. Конгресс должен был пройти 24–25 ноября в Уфе.

Прибыв в назначенное время в аэропорт Внуково, я увидел среди пассажиров нашего чартерного рейса многих «героев перестройки»: бывший партийный босс, а ныне главный демократ, «прораб перестройки» А.Н. Яковлев; бывший глава ельцинской администрации, а ныне предводитель интеллигентов России С.А. Филатов (главный организатор конгресса); экзальтированный кинокритик, экс-депутат Алла Гербер; давно запятнавший себя нечистоплотной, русофобской литературной критикой господин Оскоцкий и т.д. и т.п. Люди, разлагавшие русскую культуру, приложившие руку к развалу великой страны, к разгону и расстрелу первого российского Парламента...

Поглядел я вокруг и подумал: «А я-то что здесь делаю? Зачем я им понадобился? И без меня бы прекрасно договорились. Я лишь могу, невзначай, испортить их обедню. Или это запланировано и я приглашён ими для заполнения вакантной должности оппонента в “необходимом им диалоге”»?

Честно говоря, я и раньше колебался, понимая, что приглашён в чужую «футбольную команду», а потолкавшись во внуковском накопителе, словно на одесском привозе, лететь вовсе расхотел. Но отступить было поздно. К выступлению на конгрессе я был готов, благословение перед отлётом получил...

Но Господь всё-таки распорядился иначе.

Поднявшись в воздух, самолёт разгерметизировался, давление резко ударило по перепонкам, и нам объявили, что у самолёта технические неполадки, а посему мы должны кружить над Москвой, пока не израсходуем запас горючего, а потом попытаться приземлиться во Внуково. Я принял твёрдое решение — если благополучно сядем, не возвращаться на борт. Что бы не слушать экзальтированные голоса за моей спиной, открыл книгу, а там крупными буквами чёрным по белому написано: «Не участвуйте в делах тьмы».

Через четыре часа я с радостью вернулся домой. А поскольку «рукописи не горят», я могу изложить основные положения моего несостоявшегося выступления на «Конгрессе российской интеллигенции».

* * *

В самом заглавии Конгресса я вижу две совершенно разные темы: первая — «Религия, образование, культура», вторая — «Необходимость диалога».

Начну с первой темы.

Без малого — почти целый XX век Россия жила без Бога. Религию упразднили, запретили, изгнали из образования и культуры. И если в культурной жизни нашего Отечества: в литературе, живописи, театре и кинематографе, — лучшие представители творческой и научной интеллигенции творили с Господом и в соответствии с нравственными религиозными заповедями, подвергая опасности свою карьеру, но не прерывая связующей поколения Господней нити, то в образовании присутствие религиозных основ было категорически недопустимо.

Между тем образование и культура без Бога — всё равно что тело без души. А так как «свято место пусто не бывает», с вытеснением духовного Света наступала Т ь м а, образовавшийся вакуум заполняла сила нечистая.

В конце XX века грянула «перестройка». Провозгласили «демократию». Не отменяя атеизма, снисходительно разрешили обезвевшемуся народу верить в Господа. Только вот «демократию»-то ввели безбожную: бездуховное и безнравственное царство вседозволенности.

Если Россия желает своего возрождения, спасения и гармоничного развития грядущих поколений, необходимо возвращаться к Господу, к своим религиозным заповедям. Возвращаться по всему фронту общественного бытия.

Кто такой Бог? Возможно ли постичь Его? Есть ли Он в этом мире? «Вечные, проклятые вопросы», как называл их Ф.М. Достоевский, из глубин могучего атеизма пришедший к осознанной и непоколебимой вере в Бога.

Верили в Господа такие великие умы, как Ломоносов, Менделеев, Пирогов, Державин, Пушкин, Гоголь, Лермонтов, полководцы Суворов, Ушаков, Жуков, Леонардо да Винчи, Коперник, Микеланджело, Ньютон, Галилей, Паскаль, Пастер, Вальтер Скотт, Гёте, Дидро, Дарвин, Диккенс, Спиноза, Кеплер, Фара-

дей, Кант, Эйнштейн, Бор... Этот список можно продолжать ещё и ещё.

Но нам, «российским интеллигентам», великие имена — не указ. В среде нынешних «интеллигентов» вновь становится модным атеизм и очернение Церкви. Гордость не даёт вступить на путь веры.

«Никто не отрицает Бога, — писал преподобный Силуан, — как тот, кто заинтересован в том, чтобы его не было». А кто заинтересован в том, чтобы Бога не было? Ответ напрашивается сам собой.

Ну, что ж, Господь никого не торопит. Познание Бога — путь всей человеческой жизни.

Хочется напомнить «новым русским интеллигентам» то, что говорил старый французский интеллигент, философ и математик Блез Паскаль: «Познание Бога без познания своей греховности приводит к гордости. Познание своей греховности приводит к отчаянию. Познание же Иисуса Христа приводит на верный путь, так как в Нём находим мы Бога и свою греховность».

И уж безусловно необходим возврат к религиозным основам в сфере образования и культуры.

Приведу реальный пример. Три года назад во Всероссийском институте переподготовки и повышения квалификации кинематографистов при Госкино России мне пришлось выпустить первый в истории нашей страны православный курс авторской кинорежиссуры.

Кроме необходимых профессиональных кинематографических дисциплин, нашим студентам читались специальные богословские лекции профессорами Московской Духовной академии. Мы старались привить будущим кинорежиссёрам, обладателям достаточно самостной, эгоцентрической профессии, основы христианского миропонимания, способность всё в своей жизни и в своём искусстве измерять мерою Христа и не бояться, что они останутся в одиночестве. Приступать к своей работе с внутренней молитвой: «Не мне, не мне, Господи, но имени Твоему дай славу». На нашем курсе учились не только русские, но и армяне, евреи, кабардинцы, корейцы. Никакого духовного насилия над нашими

учениками мы не осуществляли. Атмосфера на курсе была на редкость гармоничной и добросердечной.

Мы считаем, что первый опыт религиозного кинематографического образования был весьма полезен и намерены продолжать нашу работу.

Теперь поговорим о «необходимости диалога».

Российская интеллигенция безмерно виновата перед своим народом. Это она — разнородная, разночинная «интеллигенция», отойдя от Господа в конце XIX, в начале XX века, старательно раскачивала державный корабль до тех пор, пока он не перевернулся и не пошёл ко дну. Это они — новоявленные «интеллигенты» Ленин, Свердлов и Троцкий пролили кровь помазанника Божия, царя-мученика и его семьи, истребили в братоубийственной войне и лагерях цвет русской нации и залили кровью Россию. «Судьба царя — судьба России».

В октябре 1993 года наши «интеллигентные» коллеги требовали кровавой расправы над своими соотечественниками в Парламенте России.

Как видим, интеллигенция — двигатель революций и контрреволюций. Или если до конца называть всё своими именами — «козлы-провокаторы», (есть такая должность у животных на бойне), ведущие на смерть, в топки крематориев и на баррикады перестройки своих соотечественников. Это известно из истории гитлеровских гетто, концлагерей и «демократизации России».

«Российская интеллигенция» и мы — кинематографисты, её авангард — сыграли не последнюю роль в разрушении не только кинематографа, но и великой державы. Приведённые нами ко власти первые руководители нашей «перестроившейся» страны не без помощи своих «интеллигентных» помощников и обслуживающих их представителей творческой интеллигенции смогли в короткий срок проделать с великой державой то, что не смогли ни Мамай, ни Наполеон, ни Гитлер вместе взятые, развеяв по ветру то державное наследие, которое тысячелетие по крупицам собирали наши славные предки.

Недавно один высокопоставленный представитель наших компетентных органов сообщил мне о том, что около 300 представителей высшего руководства России можно назвать изменника-

ми Родины. Вот вам и «российская интеллигенция»! Что двигало ими... тщеславие, корыстолюбие, жажда лёгкой наживы?..

Не следует забывать слова Спасителя: «Что пользы человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит».

На заре «перестройки», в эйфории от кажущейся победы над великим народом экзальтированные заокеанские поборники «новой российской демократии» вещали по радиостанции «Свобода»: «Цель перестройки состоит в том, чтобы приблизить русских к западному стандарту... В том, чтобы произошла мутация русского духа. Нужно русских выбить из традиций».

То ли по неведению, то ли выполняя заокеанский «госзаказ», представители «российской интеллигенции» из средств массовой информации уже которое десятилетие мутируют сознание наших соотечественников, прививая России чужие традиции. Особенно успешно этот процесс осуществляют центральные каналы телевидения. Как уберечь себя и своих детей от этого ежедневного дьявольского зомбирования? Нужно не забывать, что «единственная дверь, через которую тёмные силы проникают в душу, — наше внимание к ним».

Впрочем, тема эта не нова для российской истории. Более 150 лет тому назад замечательный русский поэт, которому великий Пушкин говорил: «Я надеюсь на вас, как на скалу», Николай Михайлович Языков, писал обращаясь к подобным «интеллигентам» в стихотворении «К ненашим»:

*О, вы, которые хотите
Преобразить, испортить нас
И онемечить Русь, внимлите
Простосердечный мой возглас.
Не любо вам святое дело
И слава нашей старины.
В вас не живёт, в вас помертвело
Родное чувство. Вы полны
Не той высокой и прекрасной
Любовью к Родине, не тот
Огонь чистейший, пламень ясный
Вас поднимает. В вас живёт*

*Любовь не к истине и благу,
Народный глас, он — Божий глас!
Не он рождает в вас отвагу.
Он дик, он странен, чужд для вас.
Вам наши древние преданья
Смешно, бессмысленно звучат.
Могучих прадедов деянья
Вам ничего не говорят.
Их презирает гордость ваша.
Святыня древнего Кремля,
Опора, сила, крепость наша
Ничто вам! Русская земля
От вас не примет просвещения!
Вы страшны ей. Вы влюблены
В свои предательские мненья
И святотатственные сны.
Хулой и лестию своею
Не вам её преобразить.
Вы — не умеющие с нею
Ни жить, ни петь, ни говорить.
Замолкнет ваша злость пустая.
Замрёт неверный ваш язык.
Крепка, надёжна Русь святая
И русский Бог ещё велик!*

Всем нам следует не забывать, в какой стране мы живём.

А живём мы в России. Мы наследники великой русской культуры, высоких духовных традиций русского народа, на громадных территориях которого не исчез, не погиб ни один малый народ, в отличие от страны — устроительницы «нового мирового порядка».

Российской интеллигенции следовало бы крепко покаяться перед нашим народом, чтобы обрести его доверие.

Но не будем мазать одной чёрной краской всех представителей российской интеллигенции. Были и есть на Руси интеллигентные люди, никогда не предававшие своих убеждений, народа, Господа.

Диалог во имя спасения наших душ, нашей страны, нашей планеты безусловно необходим. И он давно ведётся нами, кинематографистами, уже 10 лет проводящими Международный кинофорум «Золотой Витязь».

Родившись в Москве как Всеславянский кинофорум, он давно распахнул свои объятия всем, кто разделяет девиз «Золотого Витязя»: «За нравственные, христианские идеалы. За возвышение души человека». Вы можете увидеть на нашем кинофоруме не только славян, но и китайцев, и евреев, и японцев, и татар... Около 30 стран участвует в нашей работе и всем нашим гостям уютно, комфортно, душевно на «Золотом Витязе». И даже те, кто с опаской приезжает на кинофорум славян, православных христиан уже на вторые сутки понимает, что он попал туда, где царит любовь. Ибо мы руководствуемся тем, что оставил Святой Руси великий её объединитель, преподобный Сергей Радонежский, который говорил: «Любовью и единством спасёмся».

В заключение я хочу привести строки, написанные иеромонахом Романом:

*Без Бога нация — толпа,
Объединённая пороком,
Или слепа, или глупа,
Или ещё страшней жестока.*

*И пусть на трон взойдёт любой,
Глаголющий высоким слогом.
Толпа останется толпой.
Пока не обратится к Богу.*

РАСПЯТОЕ КОСОВО

Наша делегация — белорусский режиссёр Михаил Николаевич Пташук, публицист — Дмитрий Андреевич Достоевский (правнук писателя) и я — направлялась в Сербию для проведения встреч «Эхо Международного кинофорума “Золотой Витязь”». В течение недели мы намеревались показать сербским зрителям филь-

мы «Андрей Рублёв», «Сибирский цирюльник», «Лермонтов», «В августе 44-го...», «Кооператив политбюро», фильмы по роману Ф.М. Достоевского — «Мальчики» и «Игрок», а также программу документальных фильмов киностудии «Отечество» — «На поле Куликовом», «Дума о поле Куликовом» и «Непокорённая Россия».

Я не раскрывал своим коллегам все подробности нашего «турне», организованного Международным объединением кинематографистов славянских и православных народов, Министерством культуры РФ, и белградским Обществом сербско-русской дружбы. Лишь в общих чертах я сообщил, что поездка будет необыкновенно интересной, что мы побываем не только в Белграде, но и в Косово, куда до нас не ступала нога не только российских, но и сербских кинематографистов, во всяком случае — последние три года.

Уже подлетая к Белграду, мы увидели в иллюминаторе разбомблённые мосты — словно гигантские птицы, разметавшие свои переломанные крылья в водах голубого Дуная. Проезжая по улицам Белграда, вглядывались в обезображенные, разрушенные ракетными взрывами здания, узнавали о демографической и социальной катастрофе, идущей параллельно чудовишной экологической катастрофе, последовавшей после бомбардировок с урановой начинкой, о резком возрастании онкологических заболеваний, особенно среди молодёжи.

И всё это — последствие варварской агрессии, недавнего бесчинства двух десятков «цивилизованных» стран НАТО и Америки в Югославии.

Невольно вспоминались слова Лермонтова: «...Жалкий человек! Чего он хочет? Небо ясно. Под небом место есть для всех, но непрестанно и напрасно один враждует он. Зачем?!»

Зачем было нужно столь циничное и необоснованное надругательство, насилие над «отдельно взятым» народом?..

Из аэропорта, где нас встретила молодая, но уже выдающаяся актриса сербского театра Ивана Жигон, недавно избранная на пост председателя Общества сербско-русской дружбы, сразу же направились в Черногорию, через которую мы должны были попасть в Косовский край. Ехали быстро, торопились. Путь пред-

стоял нешуточный: километров 600 до того места в горах, в нейтральной зоне между Черногорией и Косово, куда мы должны были прибыть без опоздания, ровно в 24.00 — время встречи с военным конвоем итальянских солдат контингента миротворческих сил КФОР, которые взяли на себя ответственность сопровождения нашей киноделегации по Косово. Российское посольство в Белграде и наши военные представители не пошли на такое. Итальянцы решили экскортировать нас ночью, так как днём это было не безопасно.

Около 22 часов на промежуточной остановке в монастыре Башня Георгия, построенном в 1171 году, соединились с сербскими кинематографистами, прибывшими для подкрепления нашей международной полувоенной акции — «Эхо “Золотого Витязя” в Косово». Вице-президент МКФ «Золотой Витязь», президент кинокомпании «Филм и тон», лауреат Премии МКФ «Золотой Витязь» «За выдающийся вклад в кинематограф» имени С.Ф. Бондарчука, обладатель десятков наград различных международных кинофестивалей, киносценарист Йован Маркович, популярная сербская актриса Елена Жигон (мать Иванны Жигон), член Президиума ФИПРЕСИ, киносценарист Божидар Зечевич и с ними фотокорреспондент и советник сербского Министерства по делам религии. После быстротечной постной, но вкусной трапезы в тепле у молодого игумена отца Петра снова в путь.

Мы, три россиянина, оделись весьма легкомысленно, надеясь на южный югославский климат и прогноз погоды, сообщавший накануне, что в Белграде +20. Уже в белградском аэропорту было +7, а в горах —8 и пронизывающий ветер за бортом.

По дороге наш водитель, родом из Косово, но три года не бывавший на родине, ставшей оккупированной зоной, рассказывал нам о том, что в Дечанах (первом городке, с которого мы должны начать путешествие по Косово) несколько дней тому назад албанцы убили последних сербов — мать и дочь. Теперь сербское присутствие в Дечанах это только 30 монахов в монастыре. Вдоль по дороге видим десятки дальнобойных машин с контрабандой (свободно курсирующих на Косово), припарковавшихся на ночлег. Ночью даже контрабандисты не рискуют двигаться дальше.

На условленное место в нейтральной зоне прибыли почти вовремя: в 00.03 минуты в ночь с 23 на 24 марта. Только здесь осознали, что непреднамеренно, но символично пересекли границу с Косово именно 24 марта. В этот день три года назад НАТО начало бомбардировку Югославии.

Мы-то приехали вовремя, а итальянцев... нет...

Ждём 30 минут... Час... Час тридцать, а их всё нет...

Ночь, холод, снегопад и абсолютная неизвестность впереди.

Вдруг с косовской, албанской стороны забрезжили фары. Все обрадовались — «итальянцы!» Оказалось нет... албанская легковая машина медленно проехала мимо нас и встала в двухстах метрах выше, развернувшись фарами в нашу сторону. Спустя пять минут вернулась и пристроилась позади нас. На двух наших машинах белградские номера. — Теперь наш визит для албанцев уже не секрет. «Албанец» на машине вновь объезжает нас и занимает ту же позицию в двухстах метрах впереди.

Решаем возвращаться назад, в Черногорию. Обе наши машины срываются с места. Пролетаем мимо «албанца», но чем выше в гору, тем меньше наша скорость... Через 300 метров застреваем, буксуем по гололёду... Всё — приехали. Возвращение в Черногорию невозможно. Двигаться в Косово.. к албанцам.. без конвоя?... Выхода нет. Возвращаемся, мимо «албанца», на место предполагаемой встречи с конвоем... Ждём... Проходит ещё 10 минут... С албанской стороны вновь засветилось горное пространство. Вглядываемся в завьюженную ночь с надеждой и вопросом, кто же это?... Медленно надвигались на нас три пары фар. Долгожданные итальянцы!..

Боже, как всё перевёрнуто и противоречиво в этом мире! Итальянцы, три года назад воевавшие как члены НАТО против Югославии, бывшие её врагами, а значит и нашими врагами, сейчас, появившись из снежной ночи, словно тати, воспринимаются нами как спасители. Ещё час итальянцы по своей связи решали вопрос с командованием, что делать с доставившими нас машинами. По первоначальному плану конвой принимал под охрану лишь кинематографистов, а машины должны были вернуться в Черногорию. Наконец свинтили с машин белградские номера и караваном в окружении бронетранспортёров двинулись в сторо-

ну Дечана. По гололёду двигались медленно и дорогу в 20 километров преодолели за 2 часа. И всё это время, высунувшись по пояс из бойниц на крышах бэтээров, подле своих пулемётов, на пронизывающем ветру, на холоде всматривались в горы и окружающий недобрый мир два солдата.



В шестом часу утра добрались наконец до Дечанского монастыря, где нас встретил не сомкнувший в эту ночь глаз отец Феодосий, сорокалетний чернобородый игумен с иконописным аскетическим лицом. Высокорослый, спокойный и доброжелательный, он прежде всего провёл нас в трапезную, покормил и пригласил на литургию. Отдохнув два часа, а кто и вовсе не спав, мы все собрались в храме.



Литургия на пороге смерти, в предошущении своего собственного распятия — особая литургия. Статные и прекрасные, в белом облачении, похожие на светоносных ангелов, монахи сосредоточенно и несуетливо совершали свою службу пред Господом. Полумрак величественного храма XIII века, освещённого разноцветными огоньками лампад и неяркими, падающими из высоких окон столпами утреннего света. Стены на десятки метров вверх, расписанные бесценными фресками. Пение пятнадцати монахов и мерный, ритмичный звук позвякивающего паникадила. Тихое причастие немногих прихожан из соседних местечек, добравшихся на утреннюю



службу под охраной испанских КФОРовцев.

Три года монахи Дечанского монастыря не покидают стен своей обители, охраняемой итальянским КФОРом в количестве 600 солдат. У них нет сообщения с другими монастырями и теми немногими



сербам, что ещё остались на территории Косова. Некоторые итальянские солдаты стоят на богослужении вместе с сербами, прикладываются к иконам и мощам православных святых, подставляют свой лоб для помазания игумену, прикладываются к его благословляющей руке. Кое-кто из солдат крестился в православную веру. Поэтому их недолго задерживают в Косово: четыре месяца и — домой (российские солдаты служат здесь больше года), но многие итальянцы уезжают другими людьми. Уже 21 итальянский солдат погиб здесь: часть подорвалась на минах, часть выкосили снайперы...

Таких творческих встреч в нашей жизни не было никогда: под охраной бронетехники и пулемётчиков, в трапезной монастыря перед тридцатью монахами и пятидесятью прихожанами, среди которых были и неизвестно как попавшие сюда три профессора итальянского университета, поклонники фильмов Тарковского.

Собравшиеся тепло принимали наши выступления, стихи о Косово в исполнении Иваны и Елены Жигон бесстрашного режиссёра Елены Бойович, снявшей о косовской трагедии уже не один фильм...

В этот же день под конвоем итальянской бронетехники в предоставленном нам военном автобусе с зашторенными окнами, которые нам запрещено было открывать, мы передислоцировались в женский монастырь Печь Патриаршия, где показали фильм «Мальчики» (по Достоевскому) и документальную дилогию «На поле Куликовом» и «Дума о поле Куликовом» выдающегося русского режиссёра Б.Л. Карпова. Все наши фильмы смотрятся здесь иными глазами, ибо чувства и эмоции косовских зрителей, забывших о кинематографе, обострены до предела.

Нет второго такого места на планете, как Косово, где на столь небольшом пространстве земли сосредоточено около 3000 уникальных монастырей и храмов XI—XIX веков. Более 130 из них уже разрушены. Только вокруг Печи Патриаршей уничтожено около 28 монастырей и храмов мирового исторического значения. Эти святыни вселенской культуры уже не обозначают на картах Европы. Стереть с лица земли культуру и память народную — значит уничтожить и сам народ.

— Настанут ли в Косово лучшие времена? — спросила меня одна из монахинь.

Я ответил ей словами легендарного сербского воеводы:

— Нам нет спасения — мы победим!

— У меня нет ненависти ни к одному албанцу, — сказала она. — Нельзя, ненавидя кого-то, любить Христа. Это даёт нам силу... всем сёстрам... Албанцев готовят к независимому Косово, ими умело манипулируют. Беда, что некоторые сербы тоже запятнали свои руки их кровью. Это даёт албанцам повод мстить...



И снова в путь. Вдоль дорог албанцы сняли все прежние сербские указатели селений и городков, разрушили кладбища и все красивые дома. На их фундаментах поспешно воздвигаются красные кирпичные коробки. Некогда цветущий, опрятный и прекрасный Косовский край превращён в свалку. Всюду грязь и разруха. Сербь, много раз бывавшие здесь, ничего не узнали.

Албанцам дана команда: уничтожать прежнее, строиться и размножаться. Из миллиона трёхсот албанцев, наводнивших сегодня Косово, триста тысяч доставлено сюда из Албании. Сегодня Косово — царство вора. Вора, осознавшего, что пришёл его час. Миг, когда при поддержке Запада он может предаться вождельённой вседозволенности. Я взгляды-

вался в лица албанцев, мелькавшие. У всех, у взрослых и детей, испуганно-агрессивное, вопрошающе-суетливое выражение лица, словно их застали врасплох на месте преступления.

Нет сегодня на нашей планете второго подобного места, где столь цинично и жестоко попираются все права и свободы человека. Даже при апартеиде у обитателей африканского гетто была возможность свободно дышать и передвигаться внутри оно́го. Но сербы не могут сделать свободно ни единого шага, не подвергая себя смертельной опасности. Старуху за лекарством и в храм, ребёнка в школу и домой водят под охраной два-три автоматчика. Даже Святейшего Патриарха Сербского Павла на богослужение в его резиденцию, в Печский монастырь, доставляют в бронетранспортёре, унижая многочасовыми задержками на блок-постах.

Косово для сербов — двойное гетто, двойной геноцид: албанский и КФОРовский. KFOR переводится как «Косовские Силы Разума», хотя правильнее было бы назвать всю эту кровавую вакханалию — безумием. Царство вора под прикрытием КФОРа.



От монастыря к монастырю, словно от острова к острову, переправлялся кинокараван «Золотого Витязя», укрепляя души осаждённых в них людей. Творцы «нового мирового порядка» хотят спрятать от мира свой косовский позор — оккупированное, арестованное православие. Они лгут ничему не ведающим людям планеты о том, что творится здесь. Впрочем, ещё 150 лет тому назад Ф.И. Тютчев писал «Славянам»: «Давно на почве европейской, где ложь так пышно разрослась, давно наукой фарисейской двойная правда создалась. Для них — закон и равноправность, для нас — насилие и обман, и закрепила стародавность их как наследие славян».

В местечке Осояны, в полуразрушенной школе собрались 180 сербов, первых возвращенцев в родные места. Они решились на это, доверяя испанским войскам, охраняющим этот сектор Косова. Живут в крохотных пластиковых контейнерах, словно в собачьих будках. У стариков и детей в глазах — страдание и немой,

но кричащий вопрос: «Что ожидает нас завтра?!» Мы раздали детям сладости, игрушки, учебники — скромный дар Общества сербско-русской дружбы. Они молча вертели в руках игрушки, словно видели их впервые.



Наше выступление перед суроволицей, но необыкновенно горячо, как-то ожесточённо аплодирующей аудиторией... Зрители тёрли свои глаза, казалось, выплакавшие весь запас слёз. Когда мы все вместе запели «Тамо далёко...», встали со своих мест, словно это зазвучал сербский гимн. Солдаты-итальянцы поражённые смотрели на это славянское священнодействие.

Когда тронулись дальше, Михаил Пташук угостил итальянцев белорусской водкой. Солдаты с удовольствием хлебали из горлышка, и мы вместе пели «О соли mio», «Тамо далеко...» и русскую «Ах, зачем ты меня целовала, Дуня?..» Итальянцы радовались, как дети, аплодировали, кричали «Достоевский!..» Контакт был налажен полный. И на видеокамеры наши позировали с удовольствием, и шторы на окнах позволяли нам распахивать когда угодно...

Итальянцы благополучно проконвоировали нас через всё Косово с юга на север. Въехали в город Косовская Митровица, поделённый мостом на две части албанскую и сербскую. Едва въехали на сербскую территорию, пейзаж разительно изменился. Даже в этой беднейшей части Сербии — чистота и порядок рачительных хозяев своей земли.

В придорожном кафе попрощались с нашими итальянскими друзьями. Заказали для них 23 рюмки ракии. Поблагодарили за заботу. Каждый из солдат подошёл к каждому из нас, и мы трижды, по-русски, сердечно лобызались.

Вечером в Приштинском университете состоялось открытие киноклуба «Золотой Витязь». Четырёхсотместный зал был набит битком, стояли вдоль стен и лестниц. Снимали на видеокамеры, записывали для радио, было много журналистов — это означало, что наше нелегальное положение закончилось.

Всё, что последовало за пределами Косовского края: путешествие по живописной Сербии, встречи, просмотры, пресс-конференции, киноакадемия, кинотека, горы, комфортабельная жизнь, всё воспринималось как сон. Все наши мысли были о Косово...

В Белграде, в переполненном зале Русского Дома, в присутствии послов России, Украины и Белоруссии и большого количества журналистов мы рассказали о своей военно-полевой кинематографической акции, рассказали правду о Косово. Все каналы телевидения и все газеты дали об этом информацию.

На открытии 49-го Белградского кинофестиваля документального фильма Международному Кинофоруму «Золотой Витязь» была вручена специальная грамота «За великую поддержку и помощь в наитяжелейшие годы для сербского народа и сербской культуры». Показанный на фестивале документальный фильм Татьяны Карповой «Видимое и сокровенное» был восторженно принят зрителями. А потом в рамках фестиваля прошёл «День МКФ “Золотой Витязь”» и было показано 10 сербских фильмов, премированных на Всеславянском кинофоруме за 10 лет...

Много было приятного, но всё это уже не радовало наши сердца: и Пташук, и Достоевский, и я постоянно думали о Косово. Там было наше пробуждение. Ибо вся жизнь человеческая — сплошной сон, и пробуждаемся мы только при соприкосновении с Истиной. На распятом Косово живёт Истина.

БЕЛГРАД, ФЕВРАЛЬ 2000 ГОДА

Путевые записки

Так случилось, что министр культуры Сербии Желько Симич пригласил меня и Никиту Михалкова в Белград в одно и то же время. Никиту — для представления его ретроспективы, меня — для вручения государственной премии Югославии «Вуковская Награда».

Едва наш самолёт начал выруливать на взлётную полосу, по трансляции на весь салон раздался голос замечательной сербской актрисы Иваны Жигон: «Дорогой Никита Сергеевич...» и далее

очень трепетные слова признательности за труды Никиты и за то, что он летит в Белград. Потом Ивана столь же нежно обратилась ко мне и моей жене, растрогав нас всех основательно. Когда её голос стих, я обернулся к Никите, сидящему за мной, и он ответил мне таким же потрясённым взглядом. Много приходится Никите летать по миру, но вряд ли его прежние перелёты начинались таким сердечным образом. И в моей жизни подобного не было.

В белградском аэропорту нас встречало множество знакомых и незнакомых лиц: министр Желько Симич, наш посол Я.Ф.Герасимов, вице-президент «Золотого Витязя», мой дорогой Йован Маркович, Ивана Жигон...

В этот же вечер нас ожидали около 5000 людей в Русском центре и на улице возле него, куда из-за несогласованности действий наших хозяев нам не суждено было попасть.

Нас повезли обозревать последствия бомбардировок НАТО. Многие из разрушенных зданий я уже видел, когда в апреле прошлого года неделю жил в уничтожаемом натовской авиацией Белграде, но многие разбомблённые уже после моего отъезда здания видел впервые.

«Экскурсия» была почти молчаливой. То, что мы лицецерели, говорило само за себя. Лишь иногда Желько Симич, Ивана Жигон или Йован Маркович рассказывали фрагменты из своей жизни под градом ракет, начинённых ураном. Последствия облучения уже начали сказываться на сербах. Удар по иммунной системе был настолько велик, что статистика зарегистрировала невиданное доселе количество заболеваний гриппом и прочими болезнями.

Мы брели по вечернему Белграду, смотрели, молчали, и каждый думал о своём. Мы не могли говорить, настолько ошеломляли виды современной «Герники», сознательно устроенной «цивилизованным миром» на территории избранного ими для публичного распятия маленького гордого народа.

В одном из храмов настоятель подарил нам по иконе Богородицы, и наконец нас ввели в самый высокий храм в Европе: собор Святого Саввы Сербского. Я давно мечтал попасть в этот собор, который отовсюду виден в центре Белграда, но он постоянно был закрыт, поскольку из-за нескончаемых тягот сербской жизни до сих пор не достроен. В соборе не было электрического освещения, но кто-то предусматри-

тельно принёс переносную лампу, и свет её вырывал из темноты стены, величественные своды храма, земляной пол...

В этот же вечер мы побывали в Народном театре на «Пигмалионе», где в роли Элизы Дулитл блистала Ивана Жигон. Я видел этот спектакль прежде и поэтому покинул зал несколько раньше его окончания. Посему я не слышал, как Ивана Жигон объявила о нашем присутствии в зале, назвав Никиту «Николай Сергеевич Михалков», и потом уже в видеозаписи я увидел, как зал горячо приветствовал Никиту, чья популярность в Югославии невероятно велика. Только что «Сибирский цирюльник» завершил своё триумфальное шествие по экранам страны, став абсолютным лидером проката 1999 года. Кроме того, сербам известна позиция Никиты Михалкова по отношению к агрессии НАТО против Югославии. Известно, что он, находясь во время этой агрессии в Каннах, дал пресс-конференцию, осудив это варварство, после чего Америка блокировала появление «Сибирского цирюльника» на своих киноэкранах. Разве не достоин уважения принципиальный и мужской характер друга моего светлого детства Никиты Михалкова, всегда говорящего прямо, часто в ущерб своему престижу, идущего наперекор толпе, но не предающего друзей и своей чести!

Утро 14 февраля началось с посещения первой репетиции выдающегося режиссёра Югославии, академика Стево Жигона. На сцене Народного театра он приступил к постановке «Чайки». Актёры с большим интересом слушали мысли выдающегося русского режиссёра Никиты Михалкова, делившегося с ними своим пониманием «Чайки» и Чехова, с которым его связывают давние творческие отношения. А потом на пресс-конференции, состоявшейся в зале Народного театра, где присутствовало более 300 человек, журналисты задавали Никите множество вопросов о творчестве и о политике.

После этой встречи, длившейся почти три часа, нас принял президент Слободан Милошевич. После речи президента выступал Никита Михалков. И начал он с того, с чего начал бы и я, хотя мы об этом не договаривались. Он рассказал о нашем вчерашнем посещении собора Святого Саввы Сербского и тактично высказал своё пожелание завершить строительство храма, который станет великим духовным, православным магнитом в центре Европы. Когда настала очередь говорить мне, я поддержал пожелание Никиты достроить собор и пригласил Президента на открытие IX МКФ «Золотой Витязь» в Москву 24 мая 2000 года.

Встреча проходила вполне сердечно, Никита умеет расслаблять напряжённость президентов, очаровывая своей простотой и остроумием. Президент трижды подавал сигнал помощникам вносить традиционный сербский напиток.

Слободан Милошевич лично проводил нас до парадного выхода из резиденции в парк. Из подъехавшей за нами машины я успел извлечь книгу-каталог прошлогоднего «Золотого Витязя» и вручил её президенту. Он при мне открыл первую страницу книги, на которой был изображён Золотой Витязь в пламени пожарищ с летящим «Стелсом-невидимкой» и надписью: ««Золотой Витязь» с вами, сербы!».

Вечером в переполненном зале Белградской кинотеки, самого мощного кинохранилища Европы (которое пытался защитить своим обращением от ракет НАТО Союз кинематографистов России в апреле прошлого года), состоялась встреча с ведущими кинематографистами Белграда. шестисотместный зал был переполнен, люди стояли в проходах. Нас щедро одарили медалями Кинотеки, Никите был вручён диплом «Почётного профессора Киноакадемии братьев Каричей», глава Парламента Югославии вручил мне «Вуковскую Награду». Мы произнесли ответные речи, после чего Никита провёл в этом зале свой мастер-класс.

Но на этом день не закончился. Как апофеоз состоялась встреча в одном из самых масштабных залов Белграда и Европы, в Савва-центре. Все пять тысяч мест были заполнены. Зрители встречали нас стоя продолжительной овацией. Министр культуры представил нас, мы ответили короткими речами. Завершая своё обращение к залу, я сказал о том, что сегодня сербов и русских хотят считать последними из всех народов, но Евангелие говорит: «Последние будут первыми». И началась ретроспектива фильмов Никиты Михалкова с показа «Утомлённых солнцем». И хотя этот популярный в Югославии



фильм зрители видели не менее двух раз каждый, никто не покинул зал и провожали автора так же тепло, как и встретили.

Метеором в течение полутора суток, промчался Никита по белградскому небосклону и умчался в Москву, а я продолжил свою программу уже в одиночестве.

Второй раз в жизни суждено мне было встретиться со Святейшим Патриархом Сербским Павлом. И если при первой встрече три года назад Его Святейшество уделил мне минут 20, то в этот раз аудиенция длилась около часа. Патриарх Павел говорил мне, но было понятно, что я лишь повод его обращения к России. Несколько раз Святейший Патриарх Павел сказал: «Самое главное сейчас — беречь свою душу», — и привёл евангельские слова: «что пользы в том, если ты приобретёшь весь мир, а душе своей повредишь...»

Попрощавшись и уходя, я оглянулся и увидел одинокую маленькую фигурку старца-Патриарха, медленно удаляющуюся во внутренние покои. Лишь в это утро Патриарх Павел с приключениями, через снежные горы прибыл в Белград из своей косовской резиденции, Печского монастыря, где он молится о Сербии и России, живя под охраной оккупационных войск НАТО. На небольшой Косовской земле около 3000 храмов и монастырей. Нет на планете такой плотности памятников духовной архитектуры на столь малом пространстве земной поверхности. Памятники XII–XIX веков. Около 100 храмов разрушено варварами, находится под опёкой «нового мирового порядка», и мир молчит об этих беспрецедентных злодеяниях...

Отбирая по кино- и телестудиям фильмы на конкурс «Золотого Витязя», я с радостью отмечал, что многие сербские кинематографисты снимают их специально для нашего кинофорума. Я провёл два мастер-класса в Государственной киноакадемии и в частной киноакадемии братьев Каричей, где был принят в почётные профессора. Завершая свою последнюю встречу, я говорил молодым людям, которым предстоит вершить судьбы кинематографа в XXI веке, о нравственной ответственности тех, кто снимает кино, перед теми, для кого мы снимаем. Советовал не забывать евангельские слова: «Невозможно не прийти в мир соблазнам, они должны прийти, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». И последнее, что я сказал: «Снимайте не для Оскара и для Канн, а для “Золотого Витязя”!»

Резонанс в югославских СМИ о нашем визите — невероятный. Сербь говорят, что о приезде Марлона Брондо и Элизабет Тейлор к Тито не было написано и показано столько, сколько об этом событии. Перед моим отлётом Йован Маркович вручил мне подборку из 30 газет, освещавших наш визит за эти семь дней (и это лишь то, что попало в поле его зрения).

Сербь — едва ли ни единственный народ в Европе, никогда не во-евавший против России. Они генетически любят, а точнее, боготворят Россию, страдают за наше общественное безволие и смутные времена. Они понимают, что от России многое зависит не только для Сербии, но и для мира. Они знают: произойдут перемены в России, произойдут они и в Сербии, и во всём мире...

Сербь щедро одарили своей любовью нас, двух кинематографистов из России, которым выпало принять эту любовь, адресованную ко всей нашей великой стране.

«ЗЛО МГНОВЕННО В ЭТОМ МИРЕ. НЕИЗБЫВНА ДОБРОТА»

Моим друзьям — грузинским кинематографистам

В Святом Писании сказано, что в последние времена брат пойдёт на брата и сын восстанет на отца. Зная об этом, разум отказывается верить в то, что эти *последние* времена наступили. Трагедия, произошедшая в Южной Осетии, не укладывается в сознании. Как могли православные убивать православных? Зверски, словно дикие варвары, расправляться с братьями по вере? Разве не говорил нам Христос: «Все, взявшие меч, мечом погибнут». Не стану вдаваться в политические и психиатрические аспекты случившегося планетарного позора — история обязательно даст объективную оценку этой катастрофы.

Народ и власть не всегда едины. Например, большинство русского народа не признало «перестроечных» деяний Горбачёва, преступного расчленения великого Союза, расстрела Ельциным российского Парламента, сталкивания России в пропасть волчьего капитализма... Власть — понятие временное. Правители приходят и уходят — народ остаётся.

Великий ум, М.Ю. Лермонтов, боготворивший Кавказ, Грузию, её культуру и её солнечный народ, говорил: «Есть чувство правды в сердце человека». Это чувство правды никогда не предаст всё то, что связывает Россию и Грузию. На протяжении столетий наши народы сплетались в венец обоюдной любви и уважения. Это дало миру великих поэтов, полководцев, художников, кинематографистов. Вместе мы были прекрасной, столь различной и столь уважающей друг друга семьёй. Вспомним, с какой любовью всегда встречали в России Тенгиза Абуладзе, Отара Иоселиани, Софико Чиаурели, Резо Чхедзе, Маю Брегвадзе, грузинских певцов, танцоров. Многие были свидетелями сердечных встреч с российскими кинематографистами, посетившими Грузию в непростые времена с фестивалями «Эхо Международного Кинофорума “Золотой Витязь”». Навсегда в наших сердцах останутся эти светлые дни и встреча с Божественной совестью Грузии — Святейшим Патриархом Илиёй II.

Лично для меня любовь и преклонение перед красотой и щедростью грузинского народа остаётся категорией неизменной. Неустойчивая политическая погода не в силах глубинно повлиять на православную русско-грузинскую генетическую связь. Главное — не продаваться за 30 заокеанских сребреников, не поддаваться искушениям князя мира сего. Ибо как говорили мудрые: «Поверить заморскому купцу в том, что он вам хочет помочь, всё равно что поверить волку, который говорит, что он хочет помочь вам пасти ваше стадо». Вспомним мудрые пословицы: «старый друг лучше новых двух...», «не плюй в колодец — пригодится воды напиться...» А.С. Грибоедов, навсегда оставивший в Грузии своё сердце, писал: «Ах! Если любит кто кого, зачем ума искать и ездить так далёко?»

В эти скорбные дни, вновь перечитывая великого сына грузинского народа Шота Руставели, нахожу у него слова, обращённые к нам, потомкам: «Из врагов всего опасней враг, прикинувшийся другом...» И ещё: «Мудрый друг не бросит друга, несмотря на все лишения. Кто в беде покинул друга, сам узнает горечь бед...» И ещё: «Надругательство над дружбой — это с мудростью разлад...»

Во времена умопомрачения «вождей», разрывающих братские узы, закрывающих информационное пространство своего госу-

дарства, дабы легче было мутировать сознание населения, бесконтрольно лгать и клеветать, дезориентируя свой народ, вспоминаются слова Василия Великого, сказанные в далёком IV веке: «Трёх лицам пакостит клеветник: оклеветанному, слушающему и самому себе».

Впрочем, движение человечества к добру и гармонии осуществляется не мучителями, а мучениками. «Надо другу ради друга не страшиться испытаний», советовал нам мудрый Шота Руставели. Придётся перетерпеть. Всё преходяще в мире. Время уклоняться от объятий и время обнимать. Но нам, деятелям культуры, тем, кому доверяют наши народы, нужно не разрывать наших братских объятий. Нужно продолжать встречаться поверх всех барьеров. Даст Бог, в скором времени осуществится запланированная встреча российских и грузинских кинематографистов на третьем фестивале «Эхо Международного Кинофорума “Золотой Витязь”» в Тбилиси. И сможем вновь одарить друг друга и зрителей своим искусством и своей любовью.

Не будем терять веры друг в друга и надежды на то, что пройдут времена иудинного предательства и безумия, обуявшего сегодня «слепых вождей», детей лжи. И вновь Грузия и Россия будут духовно едины, потому что мы любим друг друга не по расчёту, а по сердцу.

Кто оспорит слова Руставели: **«Зло мгновенно в этом мире. Неизбывна доброта»?**

ПАЛОМНИЧЕСТВО ЗА БЛАГОДАТНЫМ ОГНЁМ

Фонд Андрея Первозванного оказал мне честь паломничества в Иерусалим, чтобы впервые присутствовать при чудесном таинстве нисхождения Благодатного Огня.

Рано утром 25 апреля 2008 года, подъехав к зданию Фонда, я увидел подле автобуса много родных лиц: Валентин Григорьевич Распутин, Владимир Николаевич Крупин, — в аэропорту с радостью встретил руководителя нашей делегации Владимира Ивановича Якунина, министра культуры А.С. Соколова, старых знакомых из Государственной Думы и Совета Федераций. Всего летит 120 человек.

И началось наше незабываемое паломничество...

Едва приземлившись в Тель-Авиве, на автобусах двинулись в Иерусалим и, не заезжая в гостиницу, с 10 до 22 часов в темпе бегунов на очень длинные дистанции посетили все основные святы места Иерусалима. К ночи, не чувствуя ног, добрались до отеля.

На следующий день в 7.00 — подъём, завтрак и по автобусам. Инструктаж бывалых паломников настраивал на самый боевой лад. Предупреждали, что такого количества паломников в Иерусалиме никогда не было. Обещались всевозможные испытания: и то, что кто-то может не попасть в Храм Гроба Господня, и то, что любого могут вытолкать прикладами прочь, не взирая на чины и достоинства, что всем надо держаться друг за друга... Вспомнился эпизод из «Иванова детства», когда капитан Холин перед переходом линии фронта требует всех участников похода попрыгать — «не звякает ли в карманах и не шваркают ли в них спички». Страх не было, была уверенность, что мы всё преодолеем. Каждому выдали по цветастой косыночке на шею для опознавания нашей группы и к ней какую-то карточку с надписями на иврите, которую я, сочтя знаком производителя товара, оставил в автобусе. Потом оказалось, что я оставил в автобусе пропуск в Храм Гроба Господня.

И мы пошли... Вернее побежали по старому городу, как конвоируемые пленные: «шаг влево, шаг вправо — расстрел». Отстал — пропал! И всё же было радостно: со всех сторон слышалась только русская речь. Со всех улиц и переулочков толпами валили православные, ведомые батюшками с крестами. 100 000 паломников прибыли нынче в Иерусалим воспринять Благодатный огонь, из них 50 000 русских!

Перед первым же контролем всех заставили приготовить пропуска, а моего пропуска — нет! Сообщил об этом идущим рядом. Те лишь пожали плечами. Первый заслон одолел, так как полицейские запутались с проверкой пропусков, и я просочился, как прослойка в пироге, между двумя собратями. Перед вторым кордоном, как манну небесную, наш красноярский коллега вручил мне пропуск (у него по счастливой случайности оказалось два!). Перед третьим кордоном нас разделили: В.И. Якунина с несколькими сотоварищами повели одним путём, а оставшихся — другим.

Оказалось, что нас привели в тупик. Путь закрыт. Крики: «Поворачивайте обратно!» Бежим по каменным улочкам обратно. Давка, крики израильской полицейской девицы: «Назад, стрелять буду!»

Вот и двери Храма Гроба Господня. Идущие впереди просачиваются внутрь. Передо мною двери начинают закрывать. Что-то кричу, толкаюсь и всё-таки прорываюсь внутрь. Двери закрывают прямо за мною, отрубив часть наших собратьев. Несусь по свободному патриаршему проходу едва ли ни до самых заветных Дверей Гроба Господня. Ищу наших. Понимаю, что наше место не здесь. Возвращаюсь назад, и нас втискивают в ограждение отведённого нам пространства, рассчитанного человек на 40, нас же — около 100, не считая просочившихся с нами украинцев, молдаван, грузин и прочих православных. Цепляюсь за перекладину парапета, занимая передовое место у патриаршего прохода. И начинается великое стояние. С 10 до 14 часов. В непередаваемой духоте — 40 градусов по Цельсию. Пот течёт по шее и лицу. Трудно вытащить из сумки бутылку с водой и камеру, чтобы запечатлеть происходящее. Меня пытаются отеснить, но я держусь за перекладину ограждения изо всех сил. Рядом ухватила за ту же перекладину пожилая хохлушка. Её, как лишнюю, пытается вытеснить, обороняя меня, приятель из Государственной Думы. Но бабуся не сдаётся! Оглядываюсь, ищу глазами — где Распутин? Не вижу его (Уже потом узнал, что он был придавлен к стене и ему, 70-летнему сибиряку, было ещё тяжелее.) Кто-то упал в обморок, кому-то несут воду.

Напротив нас за аналогичным ограждением — такое же по метражу, как и наше, но почему-то пустующее пространство. Но вот и в него вгоняют сотню греков. Тех, кто не втиснулся, выпихивают прочь. Грек в рясе, следящий за порядком, кричит по-английски нашей сотне: «Не давите!» Шепчу ему на ухо, как это нужно говорить по-русски, он повторяет: «Не давить! Не давить!» — довольный улыбается: контакт налажен! Но вот его место, прямо передо мною, занимает здоровенный молодой араб в грязной красной майке. Его спина, как мартеновская печь, впаялась в меня, поддавая излишнего жара. Смиренно молчу, терплю, но не выдерживает мой сосед слева, сотрудник аппарата Правительства РФ. Вступаясь за меня, он толкает араба и требует, чтобы тот ото-

шёл. Но тот непоколебим, как скала. Вход в Кулуквию запечатали огромной печатью. По проходу движутся оседлавшие друг друга молодцы с барабанами в руках и дикими воплями. Так проходит четыре часа!

Смиренно взирая на этот Содом, успев помолиться всего раза три за всё время стояния, я то и дело думал об одном: разве мы, грешники, спрессованные у Гроба Господня, как сельди в раскалённой бочке, толкающие друг друга и ругающиеся, достойны того, чтобы Господь ниспослал нам Благодатное Чудо, простил нас и поверил нам ещё раз?.. А снизойдёт ли в этот раз Огонь?..

Наконец в 14 часов прямо мимо меня прошёл со свитою Патриарх. С моего места плохо виден вход в Кулуквию. Кто-то сообщает о том, что Патриарх совершил крестный ход, его обыскали и впустили ко Гробу Господню. Прошло всего 12–15 минут, и единый выдох шквалом пронёсся по двенадцатитысячному собору христиан: из Кулуквии вышел Патриарх со свечами, слепящими несказанным белым огненным светом. Благодатный Огонь вновь послан человечеству. Нам дарован ещё год жизни. Спустя несколько секунд я поджог свои пучки свеч у кого-то из собратьев.

И несказанная радость, восторг охватили и меня грешного. Признаюсь, что я не видел никаких чудес вокруг: ни световых всполохов (разве что вспышки фотокамер), ни нисходящую огненную росу.. Но я ощущал всем сердцем, что Чудо — свершилось. Благодатный Огонь снизошёл. Вокруг всеобщее ликование. Всеобщее братство во Христе, во Благодати Божией.

Как было наказано — немедленно двинулись к выходу, побежали по старому городу к автобусу. Огненное море плескалось вокруг. Тысячи людей несли полыхающие свечи и фонарики, которые они должны разнести по всему миру. Все, как и мы, торопились в аэропорт к своим рейсам, взлетающим из Тель-Авива один за другим.

В самолёте В.И. Якунин заглянул в наш салон и протянул мне восковой шарик от Печати с Гроба Господня. А в аэропорту нам вручали специальные лампы «летучая мышь» с благодатным огнём. Взял две и не напрасно: в автобусе обнаружил, что у В.Г. Распутина лампы нет. С радостью дал ему одну, он с благодарностью принял.

Тронулись в центр Москвы. По всему пути следования мерцали благодатные огоньки. Их мерцание сливалось в светоносные ручейки и реки: православные бережно несли огонь в свои жилища. Около полуночи добрались до Храма Христа Спасителя. Протиснулся со своей лампой внутрь. Вижу — в ложе стоят два президента: В.В. Путин и Д.А. Медведев. Оба, как положено православным, крестятся. Видеть это было радостно для сердца. Ведь если это искренне, то значит ещё не всё потеряно для Руси.

КИНО, ТЕАТР И РЕЛИГИЯ

Некогда Тертуллиан сказал: «Душа по природе христианка». Опровергнуть это ещё никто не посмел.

Душа, наделённая свободой выбора, посылается в мир Создателем, чтобы претерпеть все страдания и искушения и возвратиться на Суд Божий с отчётом о свободно пройденном земном пути. Тягот и испытаний в жизни каждого человека предостаточно, *ибо золото испытывается в огне, а человек — в горниле унижений.*

Душа приходит в мир чистой и безгрешной. Грязью и грехами она обрастает потом. Усердно способствует процессу грехопадения *князь мира сего* с легионом продавших ему душу существ. Очень много подобных *существ* среди наших коллег в кинематографе и театре. Один очень известный режиссёр в порыве алкогольного откровения признавался: «Я продал душу дьяволу». Впрочем, и без признания это давно заметно по поступкам и «творчеству» этого *существа*. Заметим, что продавшим свою душу нынче живётся комфортнее и богаче, нежели тем, кто стремится к спасению своей души.

Повсеместно размётаны сети для уловления души: безверие, секты, пьянство, наркомания, стяжание, блуд, похоть, эстрада, телевидение, радио, пресса, кинематограф, театр...

Кинематограф... Это яркое и самоуверенное, новорожденное искусство: что есть 100 лет в многотысячелетней истории цивилизации?

Заметим, что именно в тот момент, когда в голову братьев Люмьеров было ниспослано это открытие и началось запечатление

на плёнку изображение мира сего, там же, в Париже, миру была явлена *Туринская Пещаница*, с запечатлённым на ней нерукотворным ликом Христа.

От рождения у кинематографа был выбор, по какому пути ему пойти. А путей, как всегда, было лишь два: или к Богу, или к Дьяволу. Либо содействовать исполнению Промысла Божия на земле, либо способствовать грехопадению человека. И кинематограф сделал выбор: устремился в рынок, в коммерцию, в доходный промысел, не внимая евангельскому предостережению, гласящему: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Правда, в начале своего пути были попытки православных кинематографистов запечатлеть Богоугодные события: коронацию последнего российского царя-мученика, лица архиереев-мучеников, впоследствии причисленных к лику святых, лица героев Отечества, бытие православного русского народа... Но это было скорее исключение из правил. Доходный промысел в кино одержал победу, он процветал. Впрочем, даже во времена советского атеизма исключения из правил продолжали появляться. Лучшие кинематографисты, лучшие сыны России создавали то, что собственно и уцелело во времени, как классика советского кино: фильмы Довженко, Бондарчука, Шукшина, Тарковского и других мастеров экрана, признававших в глубине своей души то, что *душа по природе христианка*.

СЛОВО О ВГИКе

ВГИКу — 90! Немногим больше ста — кинематографу. В масштабах тысячелетней цивилизации, в измерениях вечности и тот, и другой — новорожденные. Несмотря на то что ВГИК преуспел за столь недолгое время дать России и миру столько замечательных имён, служивших и учившихся в нём кинематографистов, это всего лишь первые его шаги.

Почти 70 лет ВГИК существовал в атеистическом безвременье и только 20 с небольшим лет — в «новом русском», но достаточно «смутном времени».

Лично я ко ВГИКу испытываю сложные чувства: уважения, благодарности, тревоги, надежды... С ним я знаком ровно полвека. Впервые переступил его порог в 1959 году благодаря моему крёстному отцу по кинематографу, студенту ВГИКа тех давних времён, Андрею Кончаловскому. Навсегда остался в памяти вечер встречи Нового 1960 года. Я, тринадцатилетний, шёл за своим провожатым по этажам института. Вместе с ним заглядывал в тускло освещённые аудитории, где в красном полумраке попивали из горлышка вино и сладко танцевали те, кому через четверть века предстояло принять активное участие в распаде великой империи и великого кинематографа. За полночь, встретив Новый год, те, кто ещё стоял на ногах, добрались до актового зала, чтобы посмотреть полупорнографический, по меркам того времени, фильм с участием Бриджит Бордо. Знакомство со ВГИКом я начал с шока.

Заворожённый режиссёрским обаянием моих первых учителей Андрея Кончаловского и Андрея Тарковского, я мечтал о режиссуре. Михаил Ильич Ромм, посмотрев дипломный фильм своего ученика, болгарина Маргарита Николова, в котором я не только сыграл главную роль, но с разрешения Маргарита придумал и снял эпизод «известие об окончании войны», узнав о моём желании стать режиссёром, благословил моё намерение. Но в то время очередной курс уже был набран и проучился почти год... Нужно было ожидать нового набора. Вскоре Михаила Ильича не стало. Руководство мастерской принял на себя Лев Александрович Кулиджанов. Как-то я отважился прийти к нему в Союз кинематографистов. Выслушав меня, Лев Александрович неожиданно предложил поступить к нему на третий курс. Об этом я не мог и мечтать. На собеседовании во ВГИКе он задал мне вопрос:

— Если бы тебе предложили в Пушкинском музее выбрать одну картину, любую... Что бы ты выбрал?

Не долго думая я ответил:

— Я бы, пожалуй, выбрал Терборха.

— И я бы его выбрал, — улыбнулся Лев Александрович.

Судьба моя была решена. Я был зачислен на третий курс с условием сдачи всех предметов, пройденных курсом за три года.

Весь период моего недолгого обучения был похож на бесконечное истязание экзаменами. За год — 55! В день по два-три. Историю партии пришлось сдавать дважды. Для меня, заикающегося человека, ненавидящего экзамены, это было серьёзное испытание. Сдал всё! И сделал вывод: когда очень чего-то захочешь, можно преодолеть себя, сделать невозможное.

ВГИК подарил мне счастье воплощения мечты. Моей первой курсовой работой стал чеховский рассказ «Егерь». С упоением работал за всех, за себя, за оператора, за директора... Утром выносил за группой помой, бегал в колхоз выпрашивать трактор, а потом колдовал у камеры с замечательными актёрами Мишей Кононовым и Натальей Бондарчук.

Работа была оценена на 5, выставлена на вгиковский кинофестиваль.

Первый раз в жизни я, до того вполне удачливый актёр, выслушивал во вгиковском зале критику в свой адрес. И чью... — мальчишки-студента: мол, артист он был хороший, а чем он нас удивил в своём «Егере»?.. С этой «подножкой» мне предстояло продвигаться к диплому. «А что, если он прав и я вовсе не режиссёр?...»

В качестве диплома выбрал новеллу «Ванька Каин» из «Пошехонской старины» М.Е. Салтыкова-Щедрина. «Пробить» почти запрещённого писателя помог С.А. Герасимов. На эту дипломную работу пошёл, как на последний, решающий бой; словно игрок, всё поставил на карту. Думал: «Если, закончив работу, сам для себя пойму, что я режиссёр — буду им. Если нет... Что ж, мой актёрский кусок хлеба всегда при мне...»

Работалось гармонично, празднично. Это был полёт.

Неожиданно для меня мою киноновеллу отправили на Международный кинофестиваль в Оберхаузен (ФРГ). А меня не выпустили — в те годы я почему-то был невыездной. Бродя по Москве и ни на что не надеясь (ну чем может быть интересен Западу мой крепостной раб-цирюльник Ванька Каин?), я неожиданно получил известие, что удостоен главной награды за режиссуру. Ни одной награде в жизни я не радовался так, как этой. Но первая же дипломная работа чуть не стала для меня последней. Запад-

ная пресса окрестила «Ваньку Каина» *«фильмом русского диссидента»*, поставив его в один ряд с самыми опальными фильмами того времени: «Зеркалом» — А. Тарковского, «Прошу слова» — Г. Панфилова, «Агонией» Э. Климова и «Пасторалью» О. Иоселиани. Лестная для молодого режиссёра компания... После чего последовали 10 лет негласного запрета на режиссёрскую деятельность.

Прошли годы, и состоялась моя новая встреча со ВГИКом, но уже в другом качестве. С.А. Герасимов привлёк меня к работе на его курсе в качестве педагога. Это продолжалось не долго, и вскоре я забыл о первом своём педагогическом опыте. Но спустя несколько лет, повзрослевшие и уже прославившиеся выпускники того «герасимовского» курса сделали мне неожиданный комплимент: «За несколько месяцев работы с нами вы дали нам больше, чем иные педагоги за 4 года». Не скрою, что помимо удивления: мол, чего там я мог «дать» за три месяца, — испытал и чувство удовлетворения.

А ещё через 15 лет набрал свой курс во Всероссийском институте переподготовки и повышения квалификации кинематографистов при Госкино. Имея полную свободу в формировании программы, кроме обязательных, классических, вгиковских предметов, которые вели лучшие педагоги ВГИКа, я ввёл то, что мне лично никогда не преподавали ни в Щукинском училище, ни во ВГИКе. Например, «историю стилей». Я возил своих учеников в Московскую Духовную академию, где им читали лекции лучшие профессора. Практику мои студенты проходили в Польше у моего старого друга Кшиштофа Занусси. Вгиковские профессора, работавшие на нашем курсе, говорили: «Мы бы сами были рады здесь учиться». Этот опыт укрепил во мне уверенность в том, что пришло время наполнить классическую вгиковскую форму образования глубоким духовным содержанием. Уж если государственная власть наконец созрела до понимания необходимости введения во всех школах России предмета «Основы православной культуры», так неужели целесообразно лишать этих сокровенных знаний будущих кинематографистов, призванных возвышать душу народа? Само время диктует необходимость

более глубокого постижения религиозных истин. Исторический опыт человечества и русской культуры свидетельствует о том, что остаётся во времени лишь то произведение, которое создавалось творцами, признающими над собою Божий Промысел. Религиозно мыслящий художник устремлён к совершенству и помогает другим возвыситься душой. Он понимает, сколь узок путь к тесным вратам спасения, осознаёт истинность слов: «Спасись сам, и тысячи спасутся вокруг тебя».

ВГИКу — 90 лет. Он полон сил. Вместе с обновлённым, обретшим, наконец, *идею* Союзом кинематографистов может сделать решающий шаг к духовному прорыву. Несмотря на мировой кризис, время для кинематографа и для ВГИКа благоприятное. Руководство страны постепенно приходит к осознанию того, что экран — духовно-стратегическое оружие государства. Неслучайно помогать кинопроцессу государство начало со ВГИКа. Пожелаем же дорогому для нас университету смелее идти в одухотворённое будущее российского кинематографа, воспитывать художников, творящих во славу Господа и Отечества.

«КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» — МУТАЦИЯ РУССКОГО ДУХА

И вновь наступила пора ожиданий, надежды на позитивные сдвиги в российской культуре. Служа искусству 50 лет, я невольно наблюдал за развитием нашей культуры на протяжении половины столетия. Наблюдал, размышлял, делал выводы.

Попробуем проанализировать динамику развития (или деградации) российской культуры и составной её части — кинематографа — в последние 23 года, со времени «перестройки» всей нашей жизни.

«Перестройка» высвободила скрытую энергию и агрессивный напор серой «творческой» массы, которую смело можно назвать российской «пятой колонной». Окрылённые, подняли головы те представители «творческой интеллигенции» и кинематографа, которые прежде были не столь заметны. Они провели Пятый

съезд кинематографистов СССР, на котором предали анафеме выдающихся мастеров экрана и провозгласили эру свободы, демократии и вседозволенности. Наступил великий перелом в судьбе культуры, в судьбе самой России — надругательство над великим советским кинематографом, которым по праву гордились не только мы, но и передовые умы мирового кинематографа.

Когда в России грянула «перестройка», великий итальянский режиссёр Федерико Феллини говорил великому русскому режиссёру Андрею Тарковскому: «Что же вы делаете? Ведь мы когда-то глядели на вас и удивлялись, что можно вот так свободно, за государственный счёт, работать в кино... Когда у тебя стопроцентное финансирование и ты можешь делать то, что ты хочешь. У вас мощнейший прокат, ваши фильмы видят миллионы зрителей. Но вы пошли по нашему пути. Вы полезли в рынок... Я, Феллини, никому здесь в Италии не нужен. Я умираю, и умирает мой зритель...»

Последний руководитель Госкино СССР Филипп Тимофеевич Ермаш рассказывал мне, как он был призван в Кремль на ковёр к М. Горбачеву и «главному прорабу перестройки» А. Яковлеву. Ему было объявлено: «Давай план перестройки кинематографа». Он ответил: «А зачем перестраивать то, что прекрасно работает? Кинематограф приносит государству огромные деньги — 6 миллиардов рублей в год. Кинематограф — вторая статья дохода госбюджета. Прокат отлажен. Успешно работает принцип «госзаказа». Ермаш не представил «плана перестройки кинематографа», за что и был отстранён от поста руководителя Госкино СССР.

Поставили выдвигенца ЦК партии Камшалова, который выполнил «задание партии», прислушался к голосу разбушевавшихся кинематографистов, безудержно требовавших свободы, самокупаемости, самофинансирования, считая, что именно тогда в их карманы потекут барыши. Один из тогдашних ретивых лидеров киноперестройки бросил клич: «“Ассу” — в массы, деньги — в кассу!» Кинематографисты, телевидение, а вслед за ними и власть начали заигрывать с подрастающим поколением. За сто лет до этих событий умный государственный муж Победоносцев говорил, что плохо и слабо то государство, которое заигрывает с

молодёжью. С нею нельзя заигрывать — её надо вести за собой. Аналогичное заявление сделал ещё ранее, в 1826 году и А.С. Пушкин. На вопрос государя Николая Павловича: «С чего бы ты начал реформы?» — великий поэт ответил: «С *образования*, ибо неокрепшие души пойдут за любым водителем».

В «перестройку» эти «неокрепшие души» пошли за новыми водителями. Те, кто постарше, помнят, каким стали 20 лет тому назад наш кинематограф, наши афиши, похожие больше на ругательства. В те годы я выписал из афиши названия фильмов, обрушенных на «перестраивающихся» зрителей и «неокрепшие души»: «Месть», «Поджигатели», «Бабник», «Псы», «Шакалы», «Живодёр», «Метастазы», «Чокнутые», «Только для сумасшедших», «Кома», «Шок», «День казни», «Палач», «Автопортрет в гробу», «Катафалк», «Распад», «Нечистая сила», «Бес», «Сатана» «Нелюдь», «Бля»... Открыли все заслоны и для западного мутного телекинопотока, хлынувшего во все щели российского эфира и проката. То, что было непристойным до «перестройки», о чём и говорить-то вслух было неприлично, порочно и патологично, — стало заполнять телеэфир. В программах «Про это» и «про то» — про всё! Про голубых, про розовых... Россию начали приучать к тому, что это нормально. Надо быть «толерантными», терпимыми ко греху. Нужно говорить обо всем. Ведь «эти» — тоже люди, у них тоже есть «права», — кричали и кричат по-прежнему «правозащитники». Ну, хорошо, взрослые понимают «что к чему», имеют духовный иммунитет. А «неокрепшие души»?.. Новое поколение формировалось под агрессивным влиянием чужебесия. Именно в те годы радио «Свобода» откровенно признавалось: «Цель перестройки в том, чтобы произошла мутация русского духа. Нужно русских выбить из традиций».

Именно эту программу мутации русского духа вольно или невольно начали выполнять руководители российского государства, чиновники от культуры, топ-менеджеры теле- и кинокомпаний и частных прокатных фирм. Старались изо всех своих «демократических» сил, вовсе не заботясь о том, какое влияние оказывает их деятельность на «неокрепшие души». Моя партнёрша по фильму «Иваново детство» актриса Валентина Малявина

как-то призналась мне, что зэки в зоне говорили ей о том, что многому научились, глядя кино. Экран помогал им понять про жизнь то, что они про неё поняли; относиться к людям так, как они начали к ним относиться — убивать, грабить, насиловать, пить, колоться. Экран — это величайшая сила, изощрённый и могущественный учитель. Экран — это духовно-стратегическое оружие государства. Плохо то государство, которое не понимает этого. Но на «заре перестройки» государство, обременённое множеством проблем, подумало: «Да ладно, делайте вы со своим кино что хотите. Требуете самофинансирования, самоокупаемости, свободы — извольте. Творите что хотите. У нас и без вас проблем по горло».

Прошли годы, и при такой «культурной политике» оказалось, что проблем у руководства государства и у всего общества стало гораздо больше. Начали зашкаливать показатели преступности, алкоголизации народа, наркомании, проституции, гомосексуализма, самоубийств... Появилась такая преступность, о которой раньше не было речи: педофилия, детская проституция, разгул геев, лесбийских забав и прочих модных извращений, раскручиваемых раскрепощённым «голубым экраном», пробуждавшим и будоражившим низменные инстинкты.

На смену Камшалову в Госкино назначили нового председателя — А.Н. Медведева, человека умного, образованного, знающего кинематограф и кинематографистов, но, как оказалось — не Дон Кихота. Не решился он восстать против «мутации русского духа», вступить в бой с ветряными мельницами младореформаторов, не стал менять то, что менять было необходимо. Деградация русской культуры продолжилась...

Затем кресло председателя Госкино занял бывший директор «Ленфильма» А.А. Голутва, многие годы помогавший замечательным «ленфильмовским» режиссёрам А. Сокурову, А. Герману, Л. Бобровой, но не сумевший помочь кинематографу. Кинематографисты помнят те тревожные дни, когда решили уничтожить Госкино России, подмять Комитет кинематографии под Министерство культуры. Кинематографисты, сознавая угрозу, нависшую над судьбой российского кинематографа, возвысили свой голос

в СМИ, проводили митинги. В эти дни я навестил А.А. Голутву, сказал ему: «Ни в коем случае не соглашайтесь на ликвидацию Комитета, боритесь до последнего. Мы вам поможем. Если сдадитесь — сомнут и вас и всех нас заодно...» Но он сдался на волю победителя...

Наступила «эпоха Швыдкого», поставленного младореформаторами у руля российской культуры, эпоха системного вытеснения культуры на панель доходного промысла. «Делайте деньги, — было объявлено всем деятелям культуры. Вы этого хотели. Вы это получили. Вот вам — самокупаемость, самофинансирование, свобода... Ищите деньги где хотите... Мы, конечно, будем поддерживать из государственного бюджета отдельные проекты, но только на одну треть, а прочее — ищите сами. Государство должно дистанцироваться от кинематографа...»

Началась «культурная революция» — печальная эпоха вытеснения культуры в рынок. Выдающиеся деятели русской культуры обратились к Президенту с требованием уберечь культуру от Швыдкого и его «культурной революции». Обращение подписали В.Г. Распутин, Г.В. Свиридов, В.М. Клыков, В.Н. Ганичев, десятки писателей, учёных, кинематографистов и других деятелей культуры. Под обращением была и моя подпись.

Несмотря на то, что Швыдкого переместили с поста министра культуры в кресло руководителя Агентства по культуре и кинематографии. Назначили нового министра культуры А.С. Соколова, но все рычаги власти и все бюджетные средства оставили в руках руководителя Агентства по культуре. Попробовал, было, новый министр возвысить свой голос против очевидных безобразий: коррупции и мздоимства, процветавших в «швыдковском» ведомстве... Но А.С. Соколову дали понять, что «сор из избы» выносить негоже. Чтобы удержаться в кресле министра, пришлось согласиться с требованием начальства. Должность министра культуры стала иллюзорно-представительской, своеобразной ширмой для деятельности руководителя Агентства по культуре.

В личной беседе с М. Швыдким, состоявшейся 4 июля 2006 года в его кабинете, я объяснил ему, почему требовал его отставки с поста министра культуры. «Вовсе не потому, — сказал я, — что я

плохо отношусь лично к вам. Я с интересом следил за вами как за одарённым театроведом, когда вы занимались своей прямой профессией... Но я бы потребовал отставки любого министра, если бы он, как вы, начал осуществлять процесс системного вытеснения культуры, искусства, кинематографа в рынок. Лично для меня, служащего искусству уже около полувека, понятия искусство и рынок несовместимы. У культуры — иные задачи: не делать деньги всеми дозволенными и недозволенными методами, но поднимать дух нации, укреплять этот дух, воспитывать, вести за собою поколения, которые примут от нас Россию с её величайшими традициями. Задача министра культуры, на мой взгляд, и состояла в отстаивании перед вышестоящим руководством приоритета культуры в жизни страны. Вы же публично говорили на пленуме Союза кинематографистов о том, что «государство должно дистанцироваться от кинематографа». На это я получил ответ, что всё это идёт сверху: от Грефа и Кудрина... Возникает вопрос: «А вы-то где были, господин министр?..» Россия давно дивится на младореформаторов, загоняющих Россию в «капитализм», запикивающих в рынок «всё и ещё две вещи». Но не всё туда входит, господа, не всему там место. Рынок для культуры — вырождение и смерть.

Без отрыва от производства г-н Швыдкой стал телевизионным шоуменом. Выплеснув на экран телевидения свою «культурную революцию», занимался провокацией, не допустимой для чиновника столь высокого ранга. Одни названия его передач чего стоили: «Пушкин безнадёжно устарел», «Без мата нет русского языка», «Патриотизм — прибежище негодяев...»

Постепенно плоды «культурной революции» г-на Швыдкого стали очевидными для многих. Реституция — разбазаривание национального достояния, удушение выдающихся деятелей культуры. Например, Евгения Светланова. Всемирно признанный дирижер был удалён господином Швыдким с поста руководителя оркестра. Не пережив этой пощёчины, великий дирижёр вскоре после своего увольнения скончался. Выдающийся танцовщик и балетмейстер Владимир Васильев был лишён поста руководителя Большого театра. Выдающийся музыкант Е. Чернушенко был

освобождён от должности ректора Санкт-Петербургской консерватории. Несмотря на постановление Президента В.В. Путина, требовавшего сохранить и поддержать Государственный академический концертный оркестр «Баян», возглавляемый народным артистом СССР А.И. Полетаевым, этот уникальный оркестр был изгнан из занимаемого помещения на улицу. Можно продолжать этот список до бесконечности.

Но самое главное — начали удаляться из кинопроцесса и из жизни тысячи деятелей кинематографа, театра, культуры, люди, принесшие на алтарь Отечества всю свою жизнь, на чьих фильмах и образах воспитывались многие поколения людей. Тысячи киноактёров — гордость нашей страны — остались буквально без корки хлеба, с мизерной пенсией в 3000 рублей, которой едва хватало на квартплату. О питании уже и речи не было. Им приходилось буквально просить у окружающих кусок хлеба. Имена называть не буду, но поверьте, это величайшие имена, известные всей России и миру. Радость созидания сменилась тревогой выживания. Актёры умирали, и не на что было их похоронить: Георгий Вицин, Борис Новиков, Люсьена Овчинникова, Тамара Носова, Геннадий Корольков... Незадолго до смерти тяжелоболевшей Клары Румяновой я навестил её. При встрече, патриотка России Клара Михайловна Румянова, критически относившаяся к Америке и американскому кинематографу, с детской радостью сообщила мне новость: «Американцы назвали меня королевой российской анимации». А в любимой ею России «королева российской анимации» умерла, и у её гроба не было ни одного представителя Агентства по культуре.

Как-то я задал вопрос одному высокопоставленному чиновнику Минкульта: почему Агентство по культуре два года ни копейки не выделяет на Международный театральный форум «Золотой Витязь»? Ведь «Золотой Витязь» практически выполняет заказ государства. (Все мы помним, как в прошлом году Президент в обращении к Федеральному Собранию говорил о культуре, о том, что её развитие возможно только при опоре на традиционные духовно-нравственные ценности. Именно этим и занимается «Золотой Витязь».) Так почему же нас душат? Меня спросили: «А

вы им что-нибудь откатываете?» — Нет, признался я. — Ну вот вам и ответ». Печально, но факт.

Была создана коллегия Агентства по культуре, набранная из людей, приближённых к руководству, которая фактически стала ширмой для 2—3 лиц, которые принимали решение о том, что запускать, а что нет. Помню, сколько заявок и сценариев православной киностудии «Отечество» было отклонено. Например, заявка на фильм о православном маршале Жукове — такой образ Жукова оказался не нужным Агентству. И заявка на документальный фильм о вымирающем народе российского Севера: от этого народа осталось всего несколько сотен человек, и об исчезновении этого народа с лица земли следует не только говорить, но и кричать! Но и это оказалось не интересно чиновникам Агентства. Не нашёл отклика в их сердцах чиновников и проект художественного фильма по повести В.Г. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана» и многое, многое другое...

Самое печальное, что удалось г-ну Швыдкому на посту министра культуры, — это подготовленный им и доведённый до подписи Президента указ об акционировании и приватизации кинематографа. Этим указом был подписан приговор государственному кинематографу. Начали на законном основании уничтожать государственные киностудии, передавая их акционерам и в частные руки. Так погибла Центральная студия документальных фильмов, летописная кузница нашего Отечества. Её больше нет. И этим мы обязаны г-ну Швыдкому. Уничтожена Киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького. Я некогда работал в штате этой Киностудии, помню её расцвет, когда там кипела большая творческая жизнь, работали выдающиеся режиссёры С. Герасимов, Л. Кулиджанов, С. Ростоцкий, М. Донской, М. Хуциев, В. Шукшин, Т. Лиознова... Киностудия создавала замечательные фильмы для детей и юношества. Недавно зашёл на некогда родную студию — пустота, разруха как после войны. Огромная кинофабрика отдаётся в аренду телекомпаниям. Фильмы для детей не снимаются. Дошло до того, что в этом году на очередной кинофорум «Золотой Витязь» мы не могли найти ни одного детского фильма. Уничтожены все периферийные киностудии. Угроза нависла и над «Ленфильмом», и над «Леннаучфильмом». Работает

указ об акционировании и приватизации. Остался нетронутым только «Мосфильм», но указ-то существует, и до «Мосфильма» когда-нибудь руки, не дай Бог, дойдут.

Итак, вступил в должность новый министр культуры А.А. Авдеев. Появилась надежда... Хотя заместителями министра оставлены всё те же «птенцы гнезда Швыдкого», люди, в большинстве своём далёкие от веры и высокой духовности. А разве могут руководить русской культурой люди, «дистанцирующиеся» от Бога! Да и самого Швыдкого не обидели: вновь назначили на тёпленькое местечко — Специальным представителем Президента Российской Федерации по вопросам культуры и связям с зарубежными странами. Назначение тревожное, свидетельствующее о нежелании державной власти отказаться от «культурной революции», от «рёва-люцифера» и заняться культурным возрождением России.

И всё же надежда появилась. Бой за душу человека продолжается. Ведь если в Послании Президента РФ к Федеральному Собранию 2007 года уделено столь же серьёзное внимание культуре, как и экономике и обороне, то, возможно, и средства в культуру будут вкладываться не меньшие, чем в оборону? Собственно культура и есть оборона народной души, а значит — оборона нашей державы.

Возможно ли возрождение российской культуры?

Вполне возможно.

Что для этого нужно?..

Прежде всего — новая культурная политика.

1. Признание культуры приоритетом государственной политики. Придание министру культуры Российской Федерации статуса вице-премьера Правительства РФ.

2. Принятие «Закона о культуре». Ведь существуют же законы об образовании, о физкультуре и спорте, а закона о культуре — нет! Хотя закон о культуре следовало бы принять первым.

3. Провозглашение нового Национального проекта в области культуры и духовного развития государства. Существенное увеличение бюджетного финансирования культуры. Строительство по всей России центров национальной культуры.

4. Выведение культуры из рынка. Утверждение системы государственного заказа. Не унижительное «частичное финансирование» — «одну треть дадим, а всё прочее ищите сами», — а Государ-

ственный заказ со 100-процентным финансированием программ и проектов, работающих на традиционные духовно-нравственные установки государства.

5. Прекращение государственной поддержки проектов, носящих характер «демократической вседозволенности», наносящих вред нравственным основам и душе подрастающих поколений.

6. Учреждение экспертных советов, курирующих российский телевизионный эфир.

7. Возвращение крупнейших киностудий России в государственное управление.

Воссоздание государственного кинопроката и государственных кинотеатров.

Хочется надеяться, что новый министр культуры А.А. Авдеев проявит волю и мужество в борьбе за российскую культуру, в поединке с ветряными мельницами «торгующих во храме», «мутирующих русский дух», «выбивающих нас из традиций».

ДУХОВНАЯ СИЛА СЛОВА: ОСНОВА ЕДИНСТВА НАРОДА

*Речь, произнесённая 5 декабря в Зале Церковных Соборов
Храма Христа Спасителя, на Соборной встрече
Всемирного Русского Народного Собора,
посвящённой 50-летию Союза писателей России*

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.. В Нём была жизнь, и жизнь была свет человеков...» — так начинается Евангелие от Иоанна. Возможно ли большее свидетельство значения Слова для самого существования «человеков», напоминание о том, что только через Слово возможно прийти к Богу, а значит, спасти свою душу?



Выдающийся русский писатель и поэт Иван Бунин, проходя крестный путь своих окаянных дней, исторг из души слова, адресованные всем нам, его соотечественникам:

*Молчат гробницы, мумии и кости, —
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.
И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный — речь.*

Так как же мы бережём данное нам Богом Слово и дар бессмертный — речь? Это высшее, судьбоносное достояние нашего народа? Нужно признать, что русская литература и сами литераторы в ХХI веке потеряли своё духовное лидерство в обществе. Оно похищено молодыми, агрессивными видами массовой коммуникации: кинематографом, телевидением, радио и другими СМИ. Как же обращаются со Словом новые лидеры? Берегут ли они русское слово, язык, речь?

Если анализировать российский кинотелерадиоэфир, безбрежный океан Интернета и загламурные СМИ, вывод однозначный: и не думают беречь! Напротив: извращают, загрязняют, коверкают, денационализуют, деформируют, насилуют и предадут повсеместно. И не мудрено, если один из главных чиновников от культуры, призванный беречь русскую культуру, а значит, и русское слово, провозгласил в эйфории, верша свою «культурную революцию»: «Без мата нет русского языка!» Что это? Недомыслие чиновника, цинизм кочевника, диверсия?.. А что взять с простых смертных словоблудов, воюющих с русским словом на всех фронтах СМИ? Ведь маленькому, ничтожному человечку, «богатеющему пером», хочется вписаться в новый порядок, дабы не отстать от медийной «пятой колонны», выглядеть своим среди своих, получить вожделенные 30 сребреников.

Нужно признаться, что «крышует» этот, как образно говорил Победоносцев, «сброд» хунвейбинов новой «культурной револю-

ции» само государство, на протяжении двух десятилетий трусливо занимающееся государственным попустительством, изо дня в день способствующее уничтожению русской культуры, русского слова.

А ещё нужно с болью признать, что программа «мутации русского духа», откровенно провозглашённая в эфире радио «Свобода» 20 лет назад, успешно претворяется в жизнь. Затянутый «новым порядком» эксперимент в России удался вполне. Поколение духовных мутантов уже появилось. Корчится Россия в пламени адского огня, выжигающего её истинное слово. Впрочем, народившееся после «перестройки» поколение уже возможно и не корчится, ибо для него мир грязных слов вполне привычен — ведь он был рождён и воспитан именно в этом мире. Мгновенно перестроившиеся СМИ искушали его зрение и слух «свободным словом». Киноафиши запестрели названиями фильмов: «Мечь», «Поджигатели», «Бабник», «Псы», «Шакалы», «Живодёр», «Метастазы», «Чокнутые», «Кома», «Шок», «Палач», «Распад», «Нечистая сила», «Бес», «Сатана» «Нелюдь»... Не стеснялись употреблять в заглавие и матерные слова, ведь «без мата нет русского языка».

Включишь радио, а там шустрые ведущие с признаками недержания речи. Вот уж поистине языки без костей. Агрессивная попса, коверкающая русское слово. Впрочем, в российском радиоэфире русского мало, больше иноземное. Русское слово отступает, сдаёт позиции, вытесняется чем-то неудобопонятным, чужеродным.

Заглянешь в Интернет, а там: сайты, файлы, блоги, провайдеры, хакеры, хостинги, контенты... Выйдешь на улицу — кругом искушающая реклама: макдональдсы, стейк-хаусы, фаст-фуды, супермаркеты, шопинги, фитнесы... Полистаешь журнал, газету: сплошные киллеры, сикьюрити, рейтинги, пиары, месседжи, ипотеки, олигархи и сладкая английская жизнь супернового русского Романа Абрамовича...

Захочешь пойти в театр, насладиться МХАТом — и там тебя покروют матом.

Включишь телевизор — тебе, не стесняясь в выражениях, расскажут «Про это...» и «про то...» На всех каналах сплошные шоу с непристойной, набившей оскомину пошлой эстрадой: Моисеев, мадам «Брошкина», нижепоясной юмор «Комеди клуба», клони-

рующего по всем каналам своих ёрников-ведущих, похожих на распоясавшихся алигофренов. Они уже и на «Первом канале», и на НТВ в новом матерном ток-шоу «Ты смешной», — самодеятельном примитиве, «народных юмористов». Весьма грустное зрелище. Круговая порука всеобщей деградации. Угрюмый пир мутантов, где всё — на одном уровне: и ведущие, и исполнители, и юные зрители в зале. Глядя на этих «смешных», не было бы так грустно, если бы эта пошлость не транслировалась одновременно в миллионы российских домов. В приличные дома подобных «шутников», конечно, не пустили бы и на порог, но через телевизор их насильно впихнули во все дома — «смотри, Россия!».

Попадёшь на канал MTV, а там — «Школа ведьмы Дженис», пошлые, скабрёзные программы «Следующий», «Обыск и свидание», бесконечная ярмарка тщеславия пустых «секс-символов». Канал MTV ежедневно легализует в России патологию, гомосексуализм, лесбиянство, примитив тех же расплодившихся мутантов.

Наткнёшься на канал ТНТ, там — нескончаемый бардак в «дурдоме» Собчак. Ярчайший пример деградации нравственных основ. Вот уж где «Русское слово» представлено во всём своём блеске и «русские «человеки» в своём развитии», в каком они явились на Руси через 200 лет после Пушкина! «Дом-2» — ежедневная школа безнравственности и примитива. Если бы Пушкин послушал словесный бред этих молодых особей, он бы очень удивился и не понял, в какую страну он попал. А на сон грядущий предложат «секс с рогатой Анфисой», порадуют новой программой о юных транссексуалках, конкурсом стриптиза, сатанизмом тяжёлого рока, порнографией.

И как же тут было не смутиться, не «смутироваться» новому поколению, рождённому и живущему в этом кошмарном мире чужеродных, холодных, бездуховных слов и безобразия, санкционированного государственными «менеджерами», изо всех сил способствующими процессу «мутации русского духа»?

При этом власть утверждает, что «в России самое лучшее телевидение», продолжает заигрывать с молодёжью, не понимая, что заигрывать с детьми нельзя. Их надо вести за собой и желательно в правильном направлении. Запуганные «вседозволенной демо-

кратией», навязанной России, государственные мужи и не помышляют посягнуть на так называемую свободу слова. Любого слова, пусть даже грязного, пошлого, непристойного. Нельзя! Ещё скажут, что ты не «демократ», и введут войска ООН. Государственные мужи бездействуют, словно у них самих нет детей, а духовное будущее России их мало тревожит.

Есть ли выход из создавшегося положения? Выход всегда есть. Нужно признать пагубность «культурной революции», совершаемой в России с начала «перестройки», покаяться перед народом и на государственном уровне перейти к новой культурной политике, основанной на традиционном, духовно-нравственном фундаменте русской культуры и русского слова.

В сфере экранных искусств, радио, издательств и всего, что имеет в основе своей работу со словом, возродить институт редактуры. На телевидении узаконить наблюдательные советы.

На законодательном уровне принять законы, охраняющие духовно-нравственную основу и русское слово от агрессии чужебесия. Лишать лицензий каналы, преступающие установленные правила приличия. Штрафовать телевизионных сквернословов и пошляков.

И делать это нужно незамедлительно. Промедление смерти подобно — духовной смерти последующих поколений и самой России.

Сделаем это, тогда, может, вновь обретём духовную силу Слова, а значит, и единства народа.

«НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ»

Выступление на международной конференции Первого славянского форума искусств «Золотой Витязь», состоявшейся в Союзе кинематографистов Российской Федерации 28 мая 2010 г.

Пятого мая в Московской консерватории, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, при поддержке Председателей обеих палат Парламента, Министерства культуры и Союза кине-



матографистов России, открылся Первый славянский форум искусств «Золотой Витязь». Он продлится 36 дней, до 10 июня, охватывая все виды искусства. Сейчас трудно подсчитать, какое количество программ и участников представит наш форум.

Только в Москве планируется провести около 350 творческих мероприятий, будет показано более 250 фильмов, выступят несколько тысяч исполнителей и фольклорных коллективов в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Краснодаре, Иваново, Сыктывкаре и других городах страны. На литературном форуме состоится около 100 встреч с писателями, в выставочных залах Москвы и других городов России будут представлены картины сотен художников, на II Международном форуме русского боевого искусства покажут своё мастерство около 300 витязей, будут показаны десятки театральных постановок, проведены благотворительные программы для детей и ветеранов кинематографа... Невозможно перечислить всего, что совершится в рамках Первого славянского форума искусств, но уже сегодня, не ожидая окончательных статистических данных, можно свидетельствовать о рождении некоего исполина славянской культуры.

Цель Славянского форума искусств «Золотой Витязь» — собрание в единый славянский венец всего самого лучшего, высокого, духоносного, просветленного, что есть в славянской культуре в области кинематографа, театра, музыки, литературы, живописи, фольклора. Именно поэтому образован Союз деятелей славянской культуры. Он был создан 22 мая, в день Николая Чудотворца, а объявлено о его создании 24 мая, в день равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей словенских, сопокровителей Европы. В центре России — в Кремле, в Грановитой палате, — торжественно было оглашено об учреждении этого творческого союза, цель которого — консолидация позитивных сил деятелей культуры славянского мира. Впрочем, не только славянского. СДСК вырастает на основе организации, существующей уже 11 лет: Международного объединения кинематографистов славян-

ских и православных народов (МОК СПН), которое насчитывает 11 тысяч членов из Австралии, Перу, Италии, Швейцарии, Австрии и других стран мира. На нынешнем XIX Кинофоруме представлены фильмы кинематографистов Японии, Израиля, Ирана, Узбекистана и других, далёких от славян по менталитету и верованиям стран. Русские люди всегда были открыты миру. Быть может, за это стремление ко всеобщей гармонии, за эту открытость, за это доверие и любовь мы и платим в истории столь большую цену. Но иначе относиться к миру и людям мы не можем.

Поскольку в двери нашего МОК СПН стали стучаться представители других профессий: писатели, музыканты, литераторы, деятели театра, журналисты, — было принято решение о создании Союза, объединяющего представителей всех видов искусства и культуры. Символично то, что СДСК учредили люди разных творческих профессий: литератор Валентин Распутин, художник Александр Шилов, музыкант Владимир Федосеев, кинорежиссёр Николай Бурляев. Организация создана, избраны вице-президенты — 19 человек из разных стран, которым предстоит открывать отделения у себя на родине. Через 4 месяца мы планируем объявить о том, что эта организация из региональной превращается в международную. Этим сейчас занимаются профессиональные юристы.

Союз создан не вдруг и не на голом месте. Девятнадцать лет работали, прокладывая своей грудью дорогу новому союзу, Кинофорум «Золотой Витязь» и Международное объединение кинематографистов славянских и православных народов. «Золотой Витязь» поднялся 19 лет назад с простым девизом: «За нравственные идеалы, за возвышение души человека». Ведь деятели искусства собственно и должны заниматься возвышением человеческой души. По силе своего духовного воздействия экран должен стремиться быть похожим на икону. Белый квадрат экрана может содействовать исполнению Промысла Божьего на земле, помогать людям выходить душою в горний мир, становиться лучше и возвышеннее, устремляться к Создателю. Но этот белый квадрат экрана всё больше становится чёрным квадратом, устремляющим человека в бездну преисподней, в грязь, пороки и патологию. Неосознанно или сознательно наши экранные искусства,

наша культура последние четверть века, со времён объявления перестройки, занимаются «мутацией русского духа» — большой вопрос.

Художникам, не согласным с происходящей в стране «культурной революцией», очень нелегко, поскольку культурой правят законы рынка, ошибочно внедрённые в культуру правящими младореформаторами, втягивающими Россию в рынок, не спрашивая позволения у граждан России, не проводя референдума о том, а нужен ли России этот новый, капиталистический порядок? Всё ли в России можно мерить рублём? Никогда рублём не мерилось в России «в с ё». Поэтому православная Россия и поднималась, укреплялась, превращалась в экономический и духовный центр планеты. Не дали ей этого сделать, провели революцию.

Но сегодня, здесь мы будем говорить о том, чему служим мы, о кинематографе, о культуре. Здесь собраны бессребреники, те, кто работает не за гонорары, не обогащается экраном, кистью, пером, не занимается рыночным искусством. Великий русский мыслитель Иван Александрович Ильин метко назвал рыночное искусство доходным промыслом. Собравшиеся в этом зале доходным промыслом не занимаются. Быть может, поэтому наши лица не мелькают на телеэкранах так часто, как лица иных наших коллег, сделавших его целью своего существования.

Кинематограф — самое мощное духовно-стратегическое оружие государства. И руководство нашего государства всё больше и больше присматривается к кинематографу, уделяет ему всё большее внимание благодаря нашему лидеру Никите Сергеевичу Михалкову, который по Промыслу Божьему возглавляет Союз кинематографистов России. Уже 11 лет он принимает на себя ядовитые стрелы тех, кому «нужны великие потрясения», кто не хочет, чтобы Россия развивалась по законам, оставленным нам нашими предками.

Мы находимся в Союзе кинематографистов России, который в мае прошлого года открыто провозгласил «Манифест кинематографистов», мы обозначили наше дальнейшее движение. Позитивная направленность нашей программы вызвала с трудом скрываемую ярость оппонентов. Но оппонентов-то один процент, а нормальных людей большинство.

Почему мы должны в своём доме жить не по своим законам? Простят ли нам это наши предки и наши потомки? До коих пор мы будем молчать, лукавить, заигрывать с теми, кто выбирает иные, кривые пути? «“Ассу” — в массы, деньги в кассу!», — радостно восклицали в начале перестройки некоторые наши коллеги, наивно надеявшиеся на то, что, добившись вожделенного «самофинансирования и самоокупаемости», неслыханно разбогатеют. Они пошли по этому пагубному пути — и пришли к разбитому корыту. К рыночному кинематографу, понижающему духовный уровень народа.

Руководители государства слышали голос Н.С. Михалкова и выделили киноиндустрии в два раза больше средств, чтобы наш кинолокомотив попытался совершить рывок из духовной пропасти. Но я считаю, что совершена серьёзная ошибка, ибо все эти деньги поделены только 7–8 успешными в рыночном плане кинофирмами. Я-то наивно полагал, что если всё это пробил Н.С. Михалков, то он и будет за всё это отвечать. Ему я могу доверять. Под его руководством не появится на экране пошлости, «доходного промысла» будет меньше, кинематограф начнёт думать о душе, помогать России подниматься. Но эти деньги получили люди, многим из которых я лично не доверяю. Да, они — успешные прокатчики, рыночники. Их фильмы, раскрученные «первыми каналами» и мощной рекламой, собирали наибольшие дивиденды. Но эти господа уже показали, на что они способны: «Ночной и дневной дозор», «Ирония-2», «Любовь-морковь», «Стиляги», сериал «Школа»... Вчера показали последнюю, к счастью для России, серию этого школьного паноптикума. И вчера же Первый канал устроил завершающую попытку возвысить этот, на мой взгляд, низкий, безнравственный, достаточно вредоносный телепроект, который 60 дней внедрял в сознание россиян порочный образ школы. Видимо, в такой школе училась автор данного фильма, которая, если верить прессе, недоучилась и купила диплом. Видимо, так она относилась к своим одноклассникам и педагогам. Видела их такими. Видимо, так она относилась и к сексу, к наркоте, пьянству и ко всем своим школьным проблемам, которые теперь, при помощи своего продюсера и руководства Первого телеканала выплеснула на всю страну — «смотри, Россия! Школа

у нас именно такая! Дети наши — именно такие!». Но дети бывают разные. Мои дети, например, другие. Школа, в которой они учатся, — другая школа. Педагоги — другие. Бывают ли такие дети — возможно, бывают. Хотя и тут создатели соврали, потому что играют-то 15-летних школьников 20-летние «артисты», уже совершившие своё грехопадение и ныне, в течение нескольких месяцев, навязывающие России свой образ жизни. Создатели этого «шедевра» и руководство канала, не ведая, что творят, утверждали этот кошмар как абсолютную реальность нашего бытия. Что же мы творим, кинематографисты..?

Некогда создатели «Ассы» радовались своему успеху: на фильм пошла молодёжь! Радовался автор фильма. Но прошли годы, и он увидел, какое поколение выросло вместе с его фильмом. И он вынужден был создать другой фильм с участием собственного сына, ужасаясь тому, какую жизнь они сотворили. Дорогие деятели экрана, мы должны понимать, что мы сами, своими творениями формируем этот мир, а потом удивляемся: «Боже! В каком мире мы живём?» И ужаснувшись, отражаем этот мир, созданный нами же, лукавыми, заигрывающими с тем, с чем заигрывать нельзя. Русский мыслитель Победоносцев высказался на этот счёт замечательно точно: «Слабо то государство, которое заигрывает с молодёжью». С ней нельзя заигрывать, её нужно вести за собой, и лучше в правильном направлении. Император Николай I задал вопрос Пушкину при их встрече в 1826 году в Кремле, почти в том же месте, где мы три дня назад создали наш Союз. Вопрос был такой: «С чего бы ты начал реформы?» И великий Пушкин ответил: «С образования, с культуры, ибо души неокрепшие пойдут за любым водителем». И ныне эти души идут за лукавыми кинематографическими и телевизионными водителями. Ведь дети взирают на экран как на абсолютную истину: «Вот она, наша жизнь!» Лжёте, господа, это — не наша жизнь, это — ваша жизнь! Наша жизнь — другая! Жизнь России — другая жизнь. Она должна быть другой: высокой и прекрасной.

Пришло время говорить без обиняков, без иносказаний, не оглядываясь на то, что будут шептать наши оппоненты и коллеги-журналисты, которые в большинстве своем продают свое перо.

Тот же Победоносцев метко высказался и о журналистике, ещё только-только зарождавшейся в его время. Он говорил, что создавалась новая каста «кормящихся и богатеющих пером», их цель — не гармонизация общества, не умиротворение, не поиск истины. Их цель прямо противоположная: дезорганизация, дезинформация, выплескивание рыночной грязи, катастроф, сплетен, патологии. Потому что именно это и есть цель рыночной прессы. Ведь только тогда она имеет спрос на рынке.

Что же нам делать? «Золотой Витязь» будет продолжать говорить и делать то, что говорил и делал всегда, не ожидая того времени, когда руководство государства провозгласит, наконец, то, что утверждал «Золотой Витязь» в 1990-х годах: «Самое главное в культуре — сохранение традиционных, духовно-нравственных ценностей». Мы дождались этого. Дождались того времени, когда нас приняли в Кремле, когда наш голос стал доходить до нашего народа.

При общении с министрами культуры последних четырёх призывов я каждому говорил одно и то же: что на их месте я бы все силы употребил на то, чтобы вывести культуру из рынка. На это «отец культурной революции» ответил мне, что это, мол, не он, это — Греф и Кудрин. Ну а где вы-то были, господин министр, почему вы не предпринимали спасительных для культуры шагов? Держались за собственное кресло? Тогда что же это за власть? Или все-таки нужно было стать Дон Кихотом и выйти на бой с корыстной политикой младореформаторов-рыночников и доказать им, что души наших детей, и их детей тоже, будут подвергаться дальнейшей мутации, если культурная политика будет продолжать ориентацию на «доходный промысел»!

Фильм «Андрей Рублёв» не стал лидером кассового сбора в «первый уик-энд». А ведь именно на это направлены все силы современных кинотелебизнесменов. Их фильмы, раскрученные рекламой их же телеканалов, собирают в «первый уикенд» все деньги обманутой России. «Андрей Рублёв» был лишён проката вообще, 7 лет пролежал на полке. Но прошло более 40 лет — и «Андрей Рублёв» перекрыл все кассовые рекорды. Свидетельством этому — сегодняшние очереди в Лос-Анджелесе, Венесуэле, Париже и

других городах мира. Фильм живёт и будет жить, служа возвышению души человека. А «эффектная пустота», раскрученная российскими телеканалами, отомрёт, и памяти о ней не останется, разве что в тайниках греховного сознания обманутых, искушённых лукавой «культурой» поколений.

Распределив средства по кинофирмам, ориентированным на «доходный промысел», упустили самое главное, то, чего, видимо, и хотел добиться Н.С. Михалков. Упустили возможность коренного перелома ситуации в российском кинематографе, духовного перелома, способствующего появлению фильмов, нужных России, долгожданных фильмов, таких как «Поп», «Верую», «Воробей», тех немногих, может быть, не столь эффектных, но поистине национальных фильмов, с трудом просачивающихся на современный вненациональный экран. Фильмам, относящимся к благим социальным проектам, новый кинофонд намеревается выделить всего лишь одну десятую часть полученных средств. Государство, на мой взгляд, поступает не совсем по-государственному, раздавая деньги кино-бизнесменам, занимающимся «доходным промыслом», что не имеет никакого социального значения, но препятствует подлинно духовному развитию кинематографа и страны.

Так что же? Будем продолжать торговать в храме киноискусства, делать на кино большие деньги и понижать духовный уровень народа, обманывая друг друга и наш доверчивый народ тем, что эти фильмы — шедевры? Будем продолжать раздавать этой «эффектной пустоте» призы российских кинотусовок?

Цель нашей конференции в том, чтобы мы подумали о дальнейших путях славянской культуры. Мы, россияне, будем говорить о том, что делается у нас. Думаю, это будет созвучно с тем, что творится в Болгарии, Сербии, Украине, Белоруссии, Польше. Ведь во всех славянских культурах, во всём мире лукавый действовал одни и те же рыночные механизмы.

Я кинематографист и естественно начал с кинематографа, хотя тема нашей конференции гораздо шире — «Настоящее и будущее славянской культуры».

* * *

Никого не нужно убеждать в том, что на планете существует непреходящее явление — уникальная и самобытная славянская культура. Произведения славянской культуры восхищают и покоряют сердца всех народов, соприкасающихся с ней. Значение русской культуры в духовном развитии планеты неоспоримо. Правда, однажды, некий господин одной из самых благополучных стран Европы — Швейцарии — позволил себе высокомерно отозваться о России и её культуре. На что наш друг, сербский драматург Йован Маркович, остроумно заметил: «В XIX веке в России творили Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Достоевский, Чехов, Иванов, Крамской, Глинка, Мусоргский, Рахманинов, Чайковский и десятки других великих музыкантов, писателей, поэтов, художников... А чем может похвастаться в XIX веке благополучная Швейцария? Изобретением шоколада и часов с кукушкой? Как говорится: “Ку-ку!”»

В XX веке мир восторгался пением Шаляпина, музыкой Прокофьева, Шостаковича, Свиридова, Овчинникова; фильмами Эйзенштейна, Тарковского, Бондарчука, Шукшина, Михалкова, Сокурова, Вайды, Занусси, Кустурицы, Паскалевича; живописью Шилова; поэзией Пастернака и Ахматовой; прозой Булгакова, Солженицына, Распутина, Цернянского, Чосича; системой и театром Станиславского и балетом Большого театра; дирижёрами Светлановым и Федосеевым... Можно продолжать перечень выдающихся имён деятелей славянской культуры. Только нужно добавить, что почти все эти люди были и есть люди верующие в Творца и преданные своему Отечеству. Возможно, отсюда и высота их художественных откровений.

В XXI веке мы прожили всего 10 первых, тревожных лет. Тревожных по причине неслыханного доселе наступления на человечество «нового мирового порядка». Тотальная американизация планеты, глобализация худших человеческих проявлений, всемирная дехристианизация. Наступление на человечество тьмы легионов массовой антикультуры, примитива и патологии, воцарившихся в кинематографе, телевидении и других видах искусства, шоу-бизнеса и СМИ.

Славянский мир, как и всё человечество, ввергнут в тотальный обман. Творцы «культурной революции» толкают культуру на панель «доходного промысла» — делайте деньги, господа кинематографисты, музыканты, артисты, художники! Шоу-бизнес и гламур рекламируются как заветная «сладкая жизнь». По всем каналам твердят о том, что Голливудское кино — лучшее в мире! На аукционах Европы и Америки взвинчивают цены на подделки примитивных, не владеющих кистью авангардистов и модернистов, выдавая за высочайший художественный идеал мазню Малевича и Пикассо, игнорируя полотна великих художников-реалистов. Мир всё больше сходит с ума, не замечая подмены и лжи.

Чтобы выжить и не затеряться, деятели культуры заигрывают с «новым культурным порядком», подыгрывают навязанной России «культурной революции». Несогласные вытесняются из «голубого эфира», а значит, из общественной жизни, высмеиваются как пережиток прошлого, записываются в маргиналы.

По культуре каждого славянского народа, через рыночные механизмы, нанесён сокрушительный удар. Или «торгуй во храме», подпевай лукавому и вырождайся со всеми, или погибай в нищете и невостребованности. Единственная альтернатива наступающей всемирной антикультурной глобализации — в единении славянских культур и славянских народов, в сохранении своей самобытности, традиционных, духовно-нравственных ценностей.

Возможно ли единение славянских народов в современных условиях по-прежнему — большой вопрос. Такой же большой, как и во времена А.С. Пушкина, не ведавшего, сольются ли Славянские ручьи в едином море или ему суждено иссякнуть? Великий русский дипломат, мыслитель, поэт Ф.И. Тютчев неистово прокричал в лицо славянам: «Опально-мировое племя, когда же будешь ты — народ? Когда же упразднится время твоей и розни и невзгод, и грянет клич к объединенью, и рухнет то, что делит нас? Мы ждём, мы верим Провиденью — Ему известны день и час».

Надо признаться, что в современных политических условиях единение славянских народов проблематично. Не просматривается стратегия славянского единства в политике руководства России и других славянских стран. Не заметны усилия МИДа в

практическом решении судьбоносного «славянского вопроса». Славян растаскивают, разделяют, чтобы властвовать над ними. Одурманенные своими политиками, они предают друг друга, забывая о том, что корни у нас одни. Недаром Ф.И. Тютчев подчёркивал: «Но всё же мы народ единый, единой матери сыны. Но всё же братья мы родные. Вот, вот, что ненавидят в нас. Вам не прощается Россия. Россия не прощает вас...» Славяне — единый народ, говорящий на разных наречьях, но понимающий друг друга без переводчиков. Нужно не забывать нам и того, что говорит Вечная Книга: «Народ, разделившийся в себе — погибнет!» И нечего славянам уповать на мачеху — Единую Европу. Славяне ей не нужны. Они для Европы — люди второго сорта. Мы помним, как относился к славянам европеец Гитлер. Вряд ли в сознании европейцев с тех недавних пор что-то круто поменялось в отношении славян.

Так что не будем тешить себя лишними иллюзиями. Признаем, что политическое единство славян пока невозможно. Но единение славянских культур не только возможно, но необходимо и спасительно. Именно поэтому «и грянул клич к объединенью». Именно поэтому и создан Союз деятелей славянской культуры — единственно возможная альтернатива славянскому и мировому распаду. Союз деятелей славянской культуры — единственно возможные узы, скрепляющие генетическое, духовное славянское единство и родство. Окрепнув, Союз деятелей славянской культуры может стать жизненно необходимым институтом, помогающим славянским государствам не растерять друг друга, уцелеть в новом мировом, антикультурном, псевдodemократическом порядке.

«Друзья, прекрасен наш союз!» Пока есть силы, мы должны продолжать бой за душу человека. Уже много лет я завершаю почти каждое своё выступление во Всемирном Русском Народном Соборе словами о необходимости коренного изменения культурной политики в России, выведении национальной культуры из рыночного унижения, отвода культуры с панели «доходного промысла», куда её загнали лукавые творцы «культурной революции».

Необходим Национальный проект в области культуры и духовного развития России. Руководству нашего государства с

этого нужно было бы начинать. Начали с других, тоже немало-важных проблем. Но душа-то и культура — первичны! Нужно осознать нашим державным «менеджерам» то, что, если они изменят культурную политику России, обратят внимание на духовное развитие общества, — общество начнёт меняться на глазах. Ведь как говорят ученые-психологи, личность формируется в первые четыре года жизни. Если мы начнём сегодня, то уже через 4 года будем пожинать добрые плоды. Ведь только тогда поднимется экономика, когда она станет нравственной, когда руководителями экономических процессов будут люди, живущие по заповедям Божиим, понимающие, что за всё придётся отвечать перед Создателем.

Руководителям страны нужно менять отношение к культуре. Думаю, что настанет то время, когда министр культуры будет возведён в ранг Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации. Нужно строить по всей Святой Руси не торговые, а культурные центры и сеть государственных кинотеатров. Нужно вкладывать в культуру, кинематограф, театр, музыку, живопись, фольклор средства, сопоставимые с бюджетом обороны государства. Ибо культура и есть оборона народной души, а значит — оборона страны.

РОССИЙСКИЙ КИНЕМАТОГРАФ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

*Слово на круглом столе в Липецке
и в Московском клубе*

«Ценности нации и национальные интересы России»



Прежде чем говорить о сегодняшнем российском кинематографе и о том, каким он должен быть завтра, вспомним, каким был наш отечественный кинематограф «вчера». Вчера, то есть до так называемой перестройки советский кинематограф был

поистине могучим. Великие режиссёры мира завидовали нам. Федерико Феллини в разговоре с Андреем Тарковским высказывал своё удивление тем, как функционирует кинематограф в России: 100-процентное финансирование, единая мощнейшая сеть государственного кинопроката, предоставляющая возможность единовременного кинопоказа по всей стране.

А самое главное, какого высокого, не только творческого, но и нравственного уровня достигали высшие творения наших кинематографистов, приносивших всемирную славу нашей стране! Эйзенштейн, Довженко, Чухрай, Герасимов, Ростоцкий, Бондарчук, Тарковский, Шукшин, Михалков, Панфилов, Тодоровский... Подавляющее большинство режиссёров носили в кармане партбилет, но при этом снимали поистине христианские фильмы, ставшие источником живой воды для миллионов людей на планете. Источником, к которому припадали и будут припадать грядущие поколения. Нашему послевоенному поколению повезло: мы имели возможность укрепляться духовно замечательными фильмами об Ушакове и Нахимове, Суворове и Кутузове, Петре I и Иване Грозном, Богдане Хмельницком, Глинке, Сурикове... Мы постигали нашу историю благодаря высокохудожественным историко-биографическим фильмам и экранным образам подлинных героев Отечества, которым хотелось подражать...

Но это было светлое «вчера»...

Грянула «перестройка», обозначив собою наступление новой, рыночной эры российского кинематографа и телевидения. Передачи позитивной энергии советского кинематографа, позволяющей новым поколениям гордиться своей страной и своей историей, не произошло.

Что же мы имеем сегодня?..

Почти до основания разрушенную государственную киноиндустрию. Крупнейшие государственные киностудии подвергнуты «акционированию и приватизации», а точнее «прихватизации», кинофабрик наиболее ловкими нашими коллегами. Фактическое уничтожение российских киностудий, ликвидация летописной кузницы государства Центральной студии документальных фильмов (ЦСДФ), агония «Леннаучфильма», «Ленфильма» и других киностудий России.

Благодаря культурной политике, а точнее «культурной революции» бывшего министра культуры г-на Швыдкого, практически умерщвлён детский кинематограф и его флагман — Киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького. Российским детям предложено ориентироваться на Гарри Поттера, Шварценеггера и заокеанских анимационных монстров... Не мудрено, что на уроках рисования сегодняшние дети рисуют не витязей, не Илью Муромца, не Ивана-царевича, не Марью-царевну, а Барби, бетменов, монстров, вампиров и одноглазых инопланетян.

Уничтожена некогда мощнейшая сеть государственного кинопроката. Наступила эпоха «торгующих во храме», новоявленных частных прокатных дельцов.

Апологеты рыночного кинематографа, приторговывающие «искусством кино», в эйфории сообщают народу о том, что всё идёт прекрасно. Построено около 1500 кинотеатров с «долби-стерео» и попкорном в кресло-кровать. Обнадёживают, что в скором времени количество подобных суперкинотеатров возрастет вдвое. Вроде всё красиво, только вместо радости — тревога.

Невольно задаёшься следующими вопросами.

А на чьи деньги построены эти кинотеатры? Оказывается, преимущественно на иностранные.

А что показывают эти кинотеатры? Преимущественно голливудский примитив.

Однажды я заглянул в мультиплекс «Атриум». Во всех залах, на двух этажах — либо американское кино достаточно пошлого содержания, либо российский «продукт», подражающий «продукту» американскому. Заметьте — киноискусство с лёгкой руки лукавых телевизионных топменеджеров и обслуживающих их кинокритиков-рыночников стали упорно называть «продуктом».

О «кривом зеркале» насилующей зрителей примитивной эстрады и сериальных «продуктах» российского телевидения и говорить не хочется. Россию Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Россию Эйзенштейна, Бондарчука, Шукшина, Тарковского год за годом, день за днём, «степ бай степ», опускают всё ниже и ниже.

Кинокритики, увенчанные степенями и солидным возрастом, уже отказываются серьёзно относиться к фильмам, говорящим

о высоких идеалах. А где же в вашем фильме гомосексуалисты? — недоуменно вопрошают кинокритики. Где любовь друг к другу девочек... Где инцест?.. Фильмы без патологии и пошлости такие критики и топ-менеджеры называют «нерейтинговыми», «неформатными». Имена этих критиков и топ-менеджеров называть не стану. Те, кому надо, поймут, что это относится и к ним. При содействии этих наших коллег ведётся разлагающая, лукавая работа по внедрению чужебесия в сознание нашего народа, наших детей.

Хочется напомнить этим критикам и топ-менеджерам евангельские слова: «Невозможно не прийти в мир соблазнам, они должны прийти, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит».

На протяжении двух десятилетий идёт последовательная вестернизация российского кино- и телеэкрана, вытеснение, подмена традиционной, духовно-нравственной сердцевины русского народа и его культуры. Происходит смена того, что называют социокультурным кодом, ядром русской цивилизации, к которому относятся все базовые, фундаментальные ценности нации — родной язык, вера, мораль, нравственные принципы, историческая память, любовь к Отечеству. Происходит последовательное мутирование сознания новых поколений, нарождающихся на «Святой Руси». Впрочем, вряд ли Русь станет святой при такой обработке.

Глядя на этот медийный армагеддон, невольно вспомнишь откровение радио «Свобода», изречённое в эфир в начале «перестройки»: «Цель перестройки в том, чтобы приблизить русских к западным стандартам, в том, чтобы произошла мутация русского духа. Нужно русских выбить из традиций».

В кумиры и звёзды гламурного эфира записывают, как правило, именно тех, кто наиболее радикально и сознательно отрицает совесть как предрассудок, а мораль и хороший вкус как пережиток.

«Будьте бесстыдными!» — призывают нас с экранов кино- и телевизионных каналов. Основой большинства телепрограмм стали сегодня идеологический цинизм, жажда развлечений любой ценой, отказ от уважения к человеку, от категорий добра и зла, от осознания ответственности за своего зрителя. Нескончаемый поток сюжетов об отклонении от нормы, о всевозможных разновидностях патологии в любви и сексе, в дружбе, в деловых

отношениях, в искусстве, в религии. Ликвидировано всякое общественное влияние и контроль за кинематографом, а главное, телевидением, функционирование которого как самого общедоступного социального института давно вышло на уровень угрозы национальной безопасности.

Очаги сопротивления этому злу существуют. И в нашем перестроечном «сегодня», с великим трудом удерживая высоту, продолжают творить лучшие российские режиссёры: Михалков, Сокуров, Панфилов, Тодоровский, Лунгин, Абдрашитов, Прошкин, Бортко, Хотиненко...

Решительные шаги, наконец, предприняло вновь избранное руководство Союза кинематографистов Российской Федерации, давшее давно назревавший бой за душу человека, недавно обратившееся к руководству государства и народу с «Манифестом кинематографистов».

Что будет завтра? Либо — либо... Либо Россия покорно согласится не быть собою и откажется от себя как от уникальной и неповторимой исторической и культурной субстанции, либо сумеет, собрав все свои силы и волю, не дать случиться этой планетарной катастрофе, проложит мосты в будущее, по которым русский мир сможет пройти над пропастью нигилизма и безверия в духовное начало человека.

Во многом это зависит от всех нас. Пора осознать и нам, кинематографистам, и руководству государства, что экранное искусство есть духовно-стратегическое оружие нашей державы и оружие это не должно служить массовому духовному поражению народа.

Необходимо кардинальное изменение российской культурной политики и её составной части — национального кинематографа. Нужно рекомендовать высшей государственной власти задуматься о разработке нового национального проекта в области культуры и духовного развития нашего государства. Возродим отечественную культуру и кинематограф — преобразим жизнь нашего Отечества.

Необходимо значительно увеличить средства федерального бюджета на культуру и кинематограф. Они не должны жить исключительно по законам рынка, ставя главной целью извлечение

прибыли всеми дозволенными и недозволенными методами, и не должны финансироваться государством по привычному для правительства «остаточному принципу».

Российская культура, кинематограф и телевидение должны быть переориентированы на воспитание духовно-нравственного иммунитета молодого поколения к пошлости, цинизму, разнузданной пропаганде наживы любой ценой, попранию достоинства исторического прошлого нашего народа и страны.

Необходимо введение системы государственного заказа со стопроцентным государственным финансированием на производство фильмов, способствующих духовному возрождению, развитию исторической памяти, укреплению созидательного духа, воспитанию воли жить и творить во славу нашего Отечества.

Пора задуматься о возрождении государственного кинопроката и разбазаренных киностудий, в первую очередь Киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького.

Кинематографическая политика Министерства культуры должна определяться в творческом содружестве с Союзом кинематографистов Российской Федерации.

Российские кинематографисты прошли свой переломный рубеж, консолидировали позитивные силы нашего сообщества. Продемонстрировали стране сплочённость подавляющего большинства кинематографистов вокруг созидательной миссии вновь избранного руководителя Союза кинематографистов, безусловного лидера российского и мирового кинематографа, творчеством своим и жизнью своей доказавшего преданность Отечеству и российской культуре.

России предстоит сделать осознанный политический выбор. Последствия безвластия в России намного более жестоки и кровавы, чем последствия любой, даже самой жёсткой власти. Отсутствие вектора, определяющего, в каком направлении должны развиваться страна и культура, чрезвычайно опасно. Государство должно продемонстрировать политическую волю в понимании того, что только при наличии позитивной определённости в стратегии социальных отношений и стратегии культуры может быть выстроена и политическая стратегия государства в целом.

«ЭКОЛОГИЯ ДУШИ – СПАСЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

*Слово на международной конференции Первого Международного
Кинофорума экологических фильмов «Золотой Витязь»*

Дорогие друзья!

Сегодня мы пригласили в Союз кинематографистов России не только деятелей кинематографа. Здесь представители Российской академии наук, экологи, политики, политологи, журналисты, представители СМИ... Сегодня мы все вместе вышли на поле боя за душу человека, за экологическое выживание на планете тех душ, которым ещё только предстоит прийти в этот прекрасный, Божий мир.

I

Душа первична

Возможно, при слове «Божий» кто-то напряжётся. Мол, мы не верим в Бога и гордимся тем, что мы — атеисты. Мы сами себе боги, сами творим свою судьбу. Хочется напомнить уважаемым атеистам слова выдающегося поэта Державина, учителя великого поэта и христианина Пушкина:

*...Но будучи я столь чудесен,
Отколе происшёл, безвестен?
Но сам собой я быть не мог!
Твоё создание я, Создатель!
Твоей премудрости я тварь!
Источник жизни, благ податель,
Душа души моей и царь!
Твоей-то правде нужно было,
Чтоб смертну бездну преходило
Моё бессмертно бытие,
Чтоб дух мой в смертность облачился
И чтоб чрез смерть я возвратился,
Отец, в бессмертие Твоё...*

Впрочем, для просвещённых атеистов, увенчанных высокими научными степенями и нобелевскими премиями, вряд ли будет весомым аргументом то, что жившие до них сотни, тысячи не менее учёных и великих людей были людьми верующими: Ломоносов, Менделеев, Пирогов; литераторы — Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Пастернак, Солженицын; композиторы — Глинка, Мусоргский, Рахманинов, Свиридов; художники — Рублёв, Феофан Грек, Дионисий, Суриков; полководцы — Суворов, Кутузов, Ушаков, Жуков; кинематографисты Бондарчук и Тарковский ...

Если для наших атеистов нет пророков в *своём* Отечестве, вспомним *чужих*: Леонардо да Винчи, Коперник, Микеланджело, Ньютон, Галилей, Паскаль, Пастер, Гёте, Вальтер Скотт, Дидро, Дарвин, Диккенс, Спиноза, Кеплер, Фарадей, Кант, Бор, Эйнштейн...

Не случайно я начал, казалось бы, с такой далёкой от экологии темы, как душа и вера человека.

Не случайно тема нашей конференции, как и девиз первого Международного Кинофорума экологических фильмов «Золотой Витязь», гласит: «Экология души — спасение человечества». Об экологии окружающей среды говорится и пишется достаточно много. И на нашем кинофоруме мы покажем несколько десятков фильмов, посвящённых этой проблеме. Но мы решили поставить во главу угла понятие *экология души*. Ибо душа первична. Душа изначальна и бессмертна. Тело без души жить не может. А душа, как известно, живёт и без тела. Возродим бессмертную душу человека, поможем ей укрепиться и возвыситься — спасём и экологию окружающей нас среды.

II

Планетарная экологическая катастрофа

Готовясь к экологическому кинофоруму и к данной конференции, нам пришлось начать погружение в глубины столь необъятного, столь же и устрашающего океана экологических проблем. Погружаясь, мы всё больше открывали, к какому убийственному состоянию привели нашу планету люди, всё более *теряющие нравственный закон внутри себя*.

Восемьдесят два миллиарда тонн мусора буквально придавили Россию грязным покрывалом. Горы зловонных отходов разбросаны по российским просторам. Только вокруг Москвы — несколько десятков гигантских мусорных свалок, своеобразное «пятое мусорное кольцо». А если прибавить к этому *200 миллионов тонн* особо токсичных сельскохозяйственных и ещё более убийственных *радиоактивных отходов*, да ещё *сотни тонн отходов*, остающихся буквально *от каждой отрасли производства*, от всех сфер деятельности «царя природы» — человека... Эти отходы никуда не исчезают, напротив, *ежегодно прирастают на 4 миллиарда тонн*. Человек ухитрился замусорить даже космос, в который стало летать ещё опаснее.

Загрязнение, уничтожение водных ресурсов.

Истребление лесов и животного мира.

Реки нефтепродуктов, отравляющих моря и океаны.

Генно-модифицированные продукты, мутирующие человека изнутри.

Испытания атомного и химического оружия.

Бесконечные войны. Агрессия НАТО на Балканах: разрушение девятнадцатью цивилизованными странами непокорной Югославии. Бомбардировка этой Балканской страны ракетами, начинёнными обеднённым ураном, сегодня, спустя 10 лет, отозвалась по всей Сербии резким ростом раковых заболеваний, особенно среди молодёжи. В этот же ряд можно поставить другие смертоносные войны: атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, сожжённый напалмом Вьетнам, «буря в пустынях» Ирака и Афганистана...

Впрочем, не меньше бед приносит и «мирный атом». Чернобыль показал планете, сколь этот атом «мирен». Мины замедленного действия, заложенные по всей России в виде «мирных» атомных электростанций и затонувших в разных местах морей и океанов атомных подводных лодок...

В фильме выдающегося русского режиссёра Валентины Гуркаленко «Звезда Полюнь», повествующем о Чернобыльской трагедии, есть такой эпизод. Ведущие учёные-атомщики во главе с главным атомным гомункулом страны академиком Александровым буквально накануне Чернобыльской трагедии справляют

свой корпоративный шабаш. Иначе это действие назвать невозможно. Мы видим на экране парад-алле, шествие по стадиону учёных-атомщиков, разряженных в чертей, ведьм на помеле и прочей нечистой силы. В огромном котле восседает крупный атомный специалист с хвостом и рогами. Этот котёл везут, на ходу поджаривая атомного беса на огне, бесенята помельче, видать, младшие научные сотрудники. А над ними возвышается красноречивый транспарант: «Чёрт с нами!» Шествию нечистой силы аплодирует академик Александров, олицетворявший в то время всю полноту ответственности за «мирный атом» страны, но не предусмотревший элементарной защиты реакторов двух десятков атомных электростанций, понастроенных по всей стране. Через несколько дней после этого безумного корпоративного веселья взорвался чернобыльский реактор, накрыв радиоактивным покрывалом Украину, Белоруссию, Россию и почти всю Европу.

Глобальное потепление, изменение климата. Снег в Африке и жара на севере. Стремительное таяние казалось бы вечных льдов. Азоновые дыры. Парниковый эффект. Уходящие под воду города — начало всемирного потопа... Обо всё этом говорят фильмы, собранные нами на кинофоруме, об этом и многом другом будут говорить специалисты на нашей конференции...

Вред окружающей среде человек приносил во все века. Однако дело заспорилось, когда дехристианизированный западный мир и атеистический советский мир начали вместе, с двух сторон рубить сук природы и жизни, на который их усадил Господь,. Ещё живее процесс экологического безрассудства пошёл с начала 1990-х годов, когда российские младореформаторы, не спрашивая согласия народа, начали «перестраивать», переводить Россию на западные, капиталистические рельсы. Причём Россию приняли впихивать в капитализм на последней стадии его существования, на стадии издыхания оно, накануне того, когда мыльный пузырь капитализма лопнул и вверг всю планету в мировой кризис.

Закон капитализма «Человек — человеку, а тем более природе — волк», принцип «После нас — хоть потоп!» восторжествовали на всём экономическом и географическом пространстве планеты,

не исключая и нашу, чересчур доверчивую и терпеливую Россию. Россия, населённая экологически мало грамотным народом, и не менее экологически безграмотными временщиками, «новыми русскими» бизнесменами не отстаёт от процесса мирового экологического апокалипсиса.

Из этого следует вывод: весь этот планетарный экологический армагеддон — прямое следствие не только экологической безграмотности, но и духовной деградации обезверившегося человека.

III Что делать? Смена планетарной идеи

Для экологического спасения человечества необходимо позаботиться не только об экологическом просвещении, об экологии души человека. Возможно, пришло время задуматься о необходимости смены планетарной идеи.

Много говорится и пишется о двух духовно разнонаправленных цивилизациях: западной — атлантической — и восточно-европейской — русской. Разнонаправленность их выражена в том, что западная цивилизация исповедует идею *«самоутверждения»*, а русская цивилизация — идею *«самоотдачи»*, *«самопожертвования»*.

Мир безудержного накопительства, потребления, благодаря постигнутому человечество планетарному кризису, себя изжил. Алчное, безрассудное стремление некоторых особей обрести все блага мира и Куршавель в придачу — потерпело крах. Об этом просто и исчерпывающе сказано в Евангелии: «Что пользы — если ты приобретёшь весь мир, а душе своей повредишь?»

Человечество подведено к необходимости принять новый закон существования, полярно противоположный общепринятому *закону потребления* — *принять закон самоограничения*. Мир потребителей, ожесточённо борющихся за свои «права», должен преобразиться в мир самоограничивающихся личностей, исполненных чувства долга, обязанности, жертвы... Должна восторжествовать *вечная*, временно преданная забвению, *истина нравственного закона*, *сопряжённого с вечной идеей долга и жертвы*.

Человечеству следует признать, что возведённое в ранг планетарной религии понятие *«права человека»* имеет ложное направление. Ибо юридически-правовой основой «прав человека» является эгоизм, эгоцентризм, гордыня, тщеславие: целый букет грехов. «Права человека» подразумевают войну каждого против всех. Плодотворно лишь то право, которое видит в себе обязанность. Без обязанности право — мыльный пузырь, не сила, но слабость. Утверждение «я имею право делать всё, что захочу» имеет ложный посыл, если человек не считает себя обязанным сделать то, что должно. Право истинно тогда, когда способствует воплощению в жизнь высших религиозно-нравственных законов — праведности, милосердия, любви, создаёт условия торжества добродетели и обуздания порока.

IV

«Спасись сам, и тысячи спасутся вокруг тебя»

С пришедшим в мир Интернетом, окутавшим планету электронной «ноосферой» — сетью мировой паутины, человечество вступило в новую фазу своей эволюции. Сегодня и бедуин в своей палатке в пустыне, и дети доярки Маши, сидя у компьютера в своей избе в глухой сибирской деревне, могут обмениваться мыслями по любому вопросу и получить информацию обо всём на свете. Мир стал воистину единой субстанцией, а это означает, что и людям планеты придётся стать единым существом, устранив противодействующие этому процессу силы и обстоятельства.

Что делать человеку, чтобы спастись самому и спасти окружающую его среду? Прежде всего, человеку необходимо обрести убеждённость в существовании Создателя. Осознать благодарность Творцу. Чувство долга перед Ним и перед миром. Понять смысл жизни как реализацию своей индивидуальной жизненной программы ради исполнения Промысла Божьего на Земле. Необходимо изменение сознания человека, религиозное постижение смысла бытия.

А России необходимо кардинальное изменение культурной политики. О путях выхода из духовного кризиса было внятно сказа-

но в недавно опубликованном «Манифесте кинематографистов» — основополагающем документе нашего творческого союза.

Необходим «Национальный проект в области культуры и духовного развития народа», включающий серьёзное экологическое образование населения, изучение основ православной культуры и культур, основных конфессий России. Духовно воспитанный, впитавший традиции своей культуры человек, живущий в согласии с Евангелием или Кораном, не станет губить окружающий его мир.

Возможно, следует создать государственное экологическое ведомство, которое должно быть подчинено президенту и премьер-министру Российской Федерации.

Культура и искусство — самый кратчайший путь к формированию сознания и возвышению, просветлению души человека. Только через культуру и искусство возможно осознание гармонии мира и смысла бытия. Культуре и искусству государство должно предоставить роль духовного лидера, надёжного локомотива, выводящего народ из долгого, тёмного туннеля к свету. Культура и искусство не должны жить по законам рынка, ставя главной целью извлечение прибыли любыми способами, и не должны финансироваться государством по остаточному принципу. Бюджет Министерства культуры должен быть сопоставим с бюджетом Министерства обороны. Ведь культура — это оборона души нашего народа.

Особенно важную роль играют экранные искусства: кино и телевидение. Этим искусствам государство должно уделить особое внимание. Кинематограф и телевидение должны быть переориентированы на формирование экологии души человека, на воспитание духовно-нравственного иммунитета молодого поколения.

Даже во времена жестокого атеизма советского кинематографа были созданы экологически чистые произведения: «Земля» Довженко, «Девять дней одного года» Ромма, «Белый Бим, чёрное ухо» Ростюцкого, «Степь» Бондарчука, «Живёт такой парень» и «Калина красная» Шукшина, «Солярис», «Сталкер» и «Жертвоприношение» Тарковского... Экологией души занимаются Михалков и Сокуров, Герман и Панфилов, Рязанов и Хуциев, Прошкин и Хотиненко и десятки документалистов и мультипликаторов...

ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ. КИНЕМАТОГРАФ ХРИСТИАНСКОГО МИРА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

*Речь, произнесённая на международной конференции,
состоявшейся на МКФ «Золотой Витязь»*

Выдающийся русский мыслитель XX века Иван Александрович Ильин писал: «Гениальное искусство всегда возносится к Богу... Плох тот художник, который не требует от своего создания художественного совершенства. Но каждое касание к совершенству приводит человеческую душу к дверям Царства Божия... Вот почему *всякий истинный художник творит дело религиозное и есть Божий слуга*, независимо от своей конфессиональной принадлежности и независимо от того, как он сам про себя осмысливает своё дело».

Мы пригласили на нашу конференцию истинных художников экрана. Здесь присутствуют верующие и не до конца верующие, крещёные и некрещёные, православные и католики. И поэтому я начал с абсолютно, на мой взгляд, верного постулата И.А. Ильина о религиозной сути творчества, уравнивающий всех нас перед Престолом Господним.

Первый раз в России, на исходе XX века, уже успев отметить 100-летие со дня рождения кинематографа, собрались кинематографисты, чтобы вслух поразмыслить о том, о чём нельзя было открыто говорить в нашей стране ещё совсем недавно.

Человек — Божие творение — смог изобрести 100 лет назад кинематограф. От истоков у кинематографа было два пути, и люди, взявшие в руки киноаппарат, должны были решать, по какому из них пойти. Кому служить: Богу или дьяволу? Помогать ли исполнению Промысла Божия на земле или содействовать падению души человека в бездны ада? Кинематограф и кинематографисты в большинстве своём выбирали и выбирают сегодня второй путь. Путь «коммерческого, рыночного кино». Выбирают, не задумываясь о последствиях для своей души и души зрителей. Забывая, а может быть, и не ведая, о евангельском предупреждении: «Горе тому человеку, через которого соблазн приходит».

Постановка вопроса данной конференции для многих из нас нова. Вероятно, проще говорить о духовных традициях, нежели о кинематографе славянского христианского мира. Каждый из присутствующих здесь — продолжатель тех духовных традиций, которые создали национальные культуры наших народов, и того лучшего, что создано человечеством в пространстве мировой культуры.

Однако здесь собраны лучшие представители экранного искусства славянских, христианских стран, и это даёт нам право поразмышлять о кинематографе христианского мира в прошлом, нынешнем и грядущем дне.

Мы должны признаться, что художников, отважившихся пройти в кинематографе стезёй духовного служения, не так много — единицы в каждой стране, но именно эти «немногие» являются подлинными маяками, и в конечном счёте именно они, «немногие», определяют ход развития мирового киноискусства. Довженко, Тарковский, Бондарчук, Шукшин, Михалков, Герман, Сокуров, Феллини, Бергман, Вайда, Занусси, Кольский, Кишлёвский, Паскалевич, Кустурица. Ряд славных имён можно продолжить, но их всё равно будет значительно меньше, нежели ремесленников, избравших коммерческое приспособленчество, ставших разносчиками пошлости и духовного спада.

И.А. Ильин, мыслитель, к которому я часто прибегаю, ибо его суждения о сути творчества необыкновенно точны, писал: «Душа, живущая пошло и заселённая пошлыми содержаниями, не имеет религиозного опыта... Она не создаёт ничего, кроме пошлости: в философии, в науке, в искусстве, в критике, в ответственности и в политике. Ибо человек *творит в жизни только то, что он сам есть в религиозном измерении*: пустая душа не создаст духовного богатства; мелкая душа не сотворит величия: пошлый человек не узрит Бога и не воспримет его лучей, и не передаст их другим. Как бы затейлива, изощрённа, льстива или «эффектна» ни была внешняя видимость его созданий или проявлений, — это будут лишь упадочные творения, эффектные пустоты, угодливые соблазны...

Оправдано только то искусство, которое ответственно и точно стремится выразить созерцаемые сокровенные духовные содержания. Искусство, которое не сводится к этому главному, «не есть искусство: это есть безответственная игра, баловство или же доходный промысел, а может быть, и то и другое одновременно: автор кощунственно балуется и богатеет (Пикассо). Бороться с этими промышленниками трудно; устранить их из жизни совсем, может быть, даже невозможно. Но если такие затеи начинают вытеснять художество или заменять его, тогда искусство вступает в критический период, в эпоху упадка, оно отрывается от своего призвания и от своего главного назначения».

Эти слова написаны более 50 лет тому назад. И сегодня мы должны признать, что нынешнее человечество, почти всецело, предаётся безбожному кинематографу, ставшему праздным развлечением, нервирующим зрелищем. Достигнув высокого уровня технического совершенства, кинематограф сегодня наносит непоправимый ущерб совершенству духовному. Третье измерение — измерение художественности и священности в кинематографе — едва ощутимо. Современные кинематографисты, потеряв веру, предпочитают говорить о вещах ничтожных, плотских, пошлых, безнравственных, предавая забвению такие понятия, как Бог, душа, совесть, сокровенные созерцания, подвижничество. Стремление современной кинорежиссуры, променявшей высокое служение на кинобизнес, выбор ими нехристианского пути, — есть дезориентация цели и смысла жизни целых народов. Это можно смело назвать преступлением перед человечеством, оправдания которому нет. Едва ли не 95% современного кинематографа следует путями сладострастного вырождения и увлекательной смерти.

Так правомерно ли сегодня вообще говорить о кинематографе христианского мира, частью которого мы все являемся? Существует ли вообще христианский кинематограф? Ведь христианский кинематограф может творить только христиански устроенная душа.

Русское православие утверждает, что любая человеческая душа по сути — христианка. И конечно же подобные души были, есть и

будут в кинематографе. А значит, мы можем смело говорить о существующих *духовных традициях и кинематографе христианского мира*. Более того, мы должны говорить об этом, должны встречаться как можно чаще, чтобы ясно понимать, что мы не одиноки. Мы будем заряжаться подвижнической энергией своих коллег, воплощённой в их судьбах и в их фильмах. Мы будем учиться измерять своё творчество и творчество друг друга единственно истинной мерой — мерой Христа и при этом не бояться, что мы останемся в одиночестве. Количественный и качественный состав участников нынешней конференции показывает: желающих свидетельствовать об истине не так мало, а в будущем, я уверен, станет ещё больше. Хочется надеяться, что художники кинематографа, которые хотят спастись сами и помочь спастись через свои творения другим, будут существовать всегда.

«Художник духовно страдал и творил. Он страдал не только за себя и творил не только для себя; но за других; за всех и для всех, — писал И.А. Ильин. — И вот он выносил и прозрел. Он создал: через него прореклось то главное, чем он сам исцелился и умудрился. Он создал новый способ жизни; новый путь к духовному целению и духовной мудрости». Служение художника пророческое не потому, что имеет силу обличать и предсказывать, «а потому, что через него прорекает себя Богом созданная сущность мира и человека».

Наверное, каждый из присутствующих здесь не раз задавал себе вопрос: «Зачем я живу, зачем творю? В чём смысл жизни человека?» И, вероятно, многие приходили к одному и тому же ответу: «Смысл жизни — возведение души к Всевышнему. Я творю, дабы содействовать исполнению Промысла Божия на земле». А это значит, что и кинорежиссура должна быть мышлением и волей, устремлёнными к Богу. Значит, кинематографист-христианин осознанно вступает на «узкий путь, ведущий к тесным вратам» спасения. Он вступает в единоборство с самим собою, за самого себя — христианина, возрождённого, очищенного, одолевшего внутренних демонов блуда, гордыни, тщеславия. Он начинает учиться одолевать самость покаянием, молитвой, пытается внутренне следовать спасительному для художника завету:

«Не мне, Господи, не мне, но имени Твоему дай славу». И тогда художник расстаётся с тщеславной гордыней «творца» и начинает ощущать, что он не «творил», а лишь воспроизводил, созерцая и воплощая тайную сущность предмета, что он не придумал, не создал новое творение, а только нашёл его как уже объективно существующее, что его произведение возникло через него, а не только из него.

«Время собирать камни». На нашей конференции мы собрали тех кинематографистов, которые, как нам кажется, уже идут или желают идти этим «узким путём».

Итак, существуют ли сегодня в кинематографе духовные традиции? Что такое кинематограф славянского христианского мира? Существует ли понятие «христианский кинематограф»?

Лично я ответил бы на последний вопрос вполне определённо: да, христианский кинематограф — существует. Христианский кинематограф — это кинематограф веры, кинематограф души, кинематограф любви.

Я назвал бы художниками христианского кинематографа и православного беспартийного А.А. Тарковского, и православных партийных А.П. Довженко, С.Ф. Бондарчука, В.М. Шукшина, Г.Н. Чухрая, С.И. Ростоцкого, Л.А. Кулиджанова, и православного грека Тео Ангелопулоса, и поляка католика Кшиштофа Занусси и многих других мастеров экрана, чьи имена я упоминал вначале и чьи имена ещё не называл.

Более того, в России в последнее десятилетие сложилось достаточно осязаемое явление русского православного документального кинематографа, признанным лидером которого был рано ушедший из жизни создатель киностудии «Отечество», выдающийся режиссёр-документалист Борис Карпов. И каждый из мастеров, творящих кинематограф веры, души и любви, неизменно продолжает духовные традиции своей национальной и мировой культуры.

Андрей Тарковский, явившийся ярким новатором экрана, презиравший общепризнанные авторитеты в кинематографе, однозначно высказался о своём отношении к национальным традициям: «Истоки кинематографа таятся в глубинных пластах русской

национальной культуры, которая имеет глубокие корни, очень древние и мощные традиции. Кино — это искусство, способное создавать нетленные шедевры, подобные тем, которые уже были созданы в своё время, на которые следует равняться. Есть смысл создавать шедевры». Сколько молодого задора и вызова в этом восклицании гениального режиссёра!

Да собственно и само искусство кино — явление вполне молодое. Сто лет для искусства — период младенчества. Шедевров создано пока не так много. Даст Бог, всё — впереди. Вспоминаю фразу Тарковского, произнесённую им за трапезой в моём доме вскоре после завершения работы над «Андреем Рублёвым»: «Уровень современной кинорежиссуры настолько низок, что подняться над ним не составляет большого труда».

Последние годы мне пришлось заниматься собиранием фильмов для Международного Кинофорума «Золотой Витязь», в котором участвуют естественно не только славяне, но едва ли не половина кинематографического мира. Мне пришлось посмотреть за эти годы, вероятно, более 6000 картин, чтобы отобрать на конкурс игровых, документальных, телевизионных, анимационных и студенческих, дебютных фильмов 2000 названий (сегодня, в 2008 году, 4700), соответствующих высокому девизу нашего форума: «За нравственные, христианские идеалы. За возвышение души человека».

Сегодня я могу ответственно утверждать, что в мире существует реальное явление славянской, христианской кинематографической культуры, всё более заявляющей о своём существовании перед лицом цунами коммерческого, рыночного кинобизнеса.

Главные награды на престижных рыночных фестивалях, вынужденных признавать духовное направление, всё чаще вручают художникам славянского христианского мира. Причём одновременно на Каннском фестивале чествуют грека Тео Ангелопулоса и югославов Эмира Кустурицу и Горана Паскалевича, русских Н. Михалкова и А. Сокурова, П. Лунгина. Премии «Оскар» вручены русским режиссёрам Бондарчуку, Меньшову, Михалкову, Петрову, поляку Анджею Вайде, чеху Яну Свераку. А это означает, что наш кинематограф продолжает бой за душу человека.

«МАСТЕР И МАРГАРИТА»



Итак, спустя 17 лет после своего создания фильм «Мастер и Маргарита» выходит на экраны. Расчётливые прокатчики всколыхнули прессу за три месяца до выхода фильма. Поднимается новая волна искушений для всех участников этого давнего проекта. Булгаков оказался прав: не только рукописи, но и плёнка — не горят.

Меня, как и 18 лет назад, когда я решился на участие в этом проекте, посещают противоречивые чувства. Радость и тревога. Радость, потому что я воплотил свою мечту, прожил пусть недолгие, но светлые, неземные мгновения молитвенного контакта со своим Образом, в который я вложил всю свою любовь, всё самое светлое, лучшее, на что был тогда способен. Первый и, видимо, последний раз в моей актёрской жизни мне была предоставлена возможность столь высокого духовного полёта.

Но вместе со светлой радостью шевелится в душе серая тревога. Всю жизнь я борюсь со своей актёрской и человеческой самостью, стараюсь ощутить всю ничтожность своей персоны перед недостижимой Истиной, а тут, глядите — дерзнул эту Истину воплощать... Партнёры по фильму и услужливые журналисты, кинокритики вливают в уши елей: «Гениально... ничего подобного не видели в мировом кинематографе...» Сладость лестных охаживаний актёрского самолюбия нарастает, искушения продолжают-ся... Держись Николай Петрович!

Роман «Мастер и Маргарита» я прочитал сразу, как только он появился в журнале «Москва». Как и все советские интеллигенты, был ошеломлён неслыханностью литературного прорыва Булгакова: его яркими образами, его словом, его вторжением в библейские времена. Впервые нам, советским читателям, было дозволено прикоснуться к сокрытому от нас образу Спасителя, законспирированному под именем странствующего учителя Ие-

шуа Га-Ноцри. Но мы-то понимали, о ком идёт речь, и были благодарны смелому автору. Вряд ли кто-нибудь в то время анализировал роман и понимал, что он абсолютно не православный, а кое-где, например, в репликах Иешуа о том, что он не знает, кто его мать, и всё, что Левий Матфей записывает за ним — ложь, отдаёт откровенным антихристианством. Не задумывался над этим и я, подпавший под всеобщую эйфорию.

Многие режиссёры театра и кино грезили о воплощении романа.

Мечтал ли я тогда сыграть Иешуа? Нет, не мечтал.

С годами, став кинорежиссёром, я начал задумываться над созданием фильма по Евангелию. Мучался над неразрешимым вопросом: имеем ли право мы, грешные кинематографисты, касаться этой темы, этих святых образов? Разные духовные лица отвечали на этот вопрос по-разному, чаще отрицательно. Доминировало жёсткое, ортодоксальное отношение к искусству: к литературе, кино и театру. Лишь к концу XX века, благодаря личностям высокого интеллекта, культуры и образованности — Святейшим Патриархам Алексию II и Кириллу, ставшими Почётными Попечителями Международного Кинофорума, а следом и театрального форума «Золотой Витязь» (быть может, отчасти и под воздействием позитивной духовно-просветительской деятельности наших форумов), начало постепенно меняться отношение Церкви к кино и театру. И теперь в новой социальной концепции Русской Православной Церкви написано о том, что Церковь признаёт искусство как опыт обновлённого, просветлённого сознания человека.

Мою душу согрели слова выдающегося русского игумена-иконописца, который сказал мне приблизительно так: кинематограф — реально существующее в мире искусство, имеющее огромное влияние на сознание людей. Никто не может запретить кинематографистам снимать фильмы на эти темы. Такие фильмы будут создаваться. Всё дело в том, кто, как и зачем касается этого. Поскольку вам, православному человеку, Господь определил быть актёром и режиссёром — вы не только можете, но и должны это делать. Иначе это за вас сделают другие, и эти другие могут выполнить свою задачу иначе, не по-христиански».

Однако снимать фильм по Евангелию я так и не дерзнул. Но на протяжении многих лет внутренне готовил себя к возможному соприкосновению с главной темой жизни. На кинопробах многих фильмов просил гримёров о приближении моего облика к иконописному. Это визуальное приближение можно заметить в «Игроке», в «Ваньке Каине», в мини-фильме «Выбор» и даже в «Юности Бемби».

И вот мне предложили роль Ивана Бездомного в фильме Юрия Кары «Мастер и Маргарита». Режиссёру я при встрече объявил, что на роль Бездомного пробоваться не буду, это — не моё.

— Есть лишь одна роль, на которую я бы согласился, — и в своей актёрской гордыне добавил: — И возможно, только я из всех советских актёров к этому сегодня готов.

— Какая же это роль? — улыбаясь, спросил Юрий.

— Иешуа Га-Ноцри.

Его лицо стало серьёзней, взгляд пронзительней.

Кинопроба состоялась.

Мои дорогие православные родственники не на шутку встревожились. Крестник — племянник, студент Духовной академии, передал мне книгу профессора Московской Духовной академии Михаила Дунаева, анализирующего роман «Мастер и Маргарита». С его выводами сложно было не согласиться. Да, действительно, роман Булгакова написан с позиции Воланда. Он — обаятельный, остроумный сатана — правит бал: он карает и милует своих героев. Образу Иешуа Га-Ноцри автор уделяет всего пару эпизодов, пусть важных, но эпизодов, приправленных антиевангельскими фразами, а на всём остальном пространстве романа доминирует Воланд. Осуществимо ли моё дерзкое желание — дать бой Воланду на его территории и одержать победу? Достаточно ли для этого сценарных возможностей и моих скромных сил? Я находился в постоянном борении сам с собою.

Видно, кинопроба моя была достаточно убедительна, для того чтобы Юрию Каре удалось отстоять перед худсоветом мою кандидатуру, опальную в те после-«лермонтовские» времена. Мне позвонил радостный ассистент режиссёра, объявил, что я утверждён на роль Иешуа Га-Ноцри, и попросил подписать договор.

Вместо благодарности я сказал, что отказываюсь от роли. Остаётся лишь догадываться, какие чувства испытал ассистент, а потом и Юрий Кара... Мол, сам предложил, а теперь отказывается...

Прошло около года. Смятение в моей душе не прекращалось: прав ли я, что отказался?.. Моя сестра решила совершить паломничество на остров Залита, к старцу отцу Николаю Гурьянову, пользующемуся большим авторитетом в православном мире. Старец принял её. Она ему пожаловалась: мол, брат думает сыграть Иешуа Га-Ноцри, мы все — против. Мы его отговариваем...

— А зачем вы отговариваете? — спросил старец. — Ведь всё — по Промыслу Божьему. Будет так, как должно быть...

С этим, можно сказать, косвенным благословением, сестра вернулась ко мне. А тут вновь поступила просьба киногоруппы не отказываться от роли. И я согласился. Но поставил перед режиссёром условие — я вымараю из текста Булгакова антиевангельские реплики. Он с лёгкостью принял мои условия.

Перед отлётом в Иерусалим, где я прежде никогда не бывал, я попросил благословения на съёмки в «Мастере и Маргарите» у митрополита Питирима, но он коротко сказал:

— В Иерусалиме получите.

Нашу киногоруппу доставили в Хайфу. До начала съёмок было полных два дня. Я понимал, что не могу приступить к работе, не побывав у Гроба Господня, не получив благословения. Услышав об этом, один добрый еврей, оказавшийся бывшим советским гражданином и моим поклонником, сказал, что поможет мне в этом.

Мы сорвались с места и в рейсовом автобусе помчались через весь Израиль — в Иерусалим. Жара, духота, толкотня, как в одесском трамвае, сидящие на полу и висящие на перекладинах автоматчицы и автоматчики... В Иерусалиме заглянули в дом к родственникам моего «Вергилия» передохнуть, подкрепиться и дожидаться ночной литургии.

В полночь я в сопровождении уже двух «вергилиев» отправился ко Гробу Господню. Надо отдать должное мужеству моих сопровождающих: безоружным евреям ночью в арабскую часть старого

города вступать небезопасно. И вот мы втроём шествуем по пустынным узеньким, восходящим в гору ночным улочкам старого Иерусалима, по которым когда-то ступала нога Спасителя... Вокруг ни души, мёртвая тишина... Вдруг откуда-то слева, сверху слышался нарастающий шум голосов, пение, топот ног... На нас накатывалась «орда» — три здоровенных юных араба, горланящих весёлую песню. Мои «вергилии», осознав надвигающиеся большие неприятности, отошли в тень к стене дома. Я как вкопанный продолжал стоять на самом перекрестии дорог и с достоинством смотрел в сторону возможного удара волны — казак не привык отступать! Молодые арабы на ходу просчитали ситуацию с непонятным препятствием, возникшим на их пути. Поравнявшись со мной, они вдруг грациозно обтекли меня, не задев, но лишь обдав энергией своего мощного движения...

В эту ночь в самом главном храме христианского мира не было никого, кроме трёх русских паломников, двух евреев и нескольких монахов во главе с архиепископом, готовившихся к литургии. Около получаса я простоял на коленях у Гроба Господня. Надо мною проносили Чашу, Евангелие, Крест... Меня никто не тревожил, не мешал находиться здесь — в святая-святых.

Я подошёл к архиепископу, рассказал зачем прибыл в Иерусалим, попросил благословения на предстоящий труд и был благословлён.

Совершили Литургию. Когда я подошёл к причастию, Чаша в руках архиепископа покачнулась, и из неё пролилось несколько капель. Монахи стремительно вытерли красной тканью и выжгли то место на полу, где была пролита Святая Кровь. Потом меня причастили.

Именно предо мною была пролита Святая Кровь... Это был явный знак. Но что он означал, не знаю до сих пор. Несколько раз я задавал этот тревожащий меня вопрос монахам. Один из них сказал, что, возможно, это напоминание о моих нераскаянных грехах, сигнал к более строгому отношению к своей духовной жизни. Другой сказал, что, возможно, это знак того, что я не должен был совершать того, что потом совершил.

Я старался поститься, молиться, жить несуетной жизнью. Готовил свою душу к предстоящему свершению.

Наступил первый съёмочный день. Снимали сцену, когда Понтий Пилат отправляет на казнь Иешуа Га-Ноцри. Загримированный и одетый в белый хитон, я стоял на возвышении рядом с двумя разбойниками. Сейчас крикнут: «Мотор!» А я совершенно не готов: скован и бездарен. В голове паническая мысль: «Я обманул всех — режиссёра, группу, самого себя! Я ничего не смогу!..»

Режиссёры не так часто помогают актёрам в работе, чаще мешают, запутывая их своими «умными» рассуждениями. Но тут было иначе. Режиссёр, стоя внизу у камеры, приблизительно в восьми метрах от меня, вдруг, словно почувствовав моё состояние, крикнул:

— Да ведь Он же всех любит!..

И меня пронзило от сердца до головы! Словно пробку выбило из темени, из канала, связывающего меня с горним миром. В меня вошёл поток невиданной прежде любви и светлой силы. Я присоединился к спасительному лучу и устремился ввысь, к этому светоносному потоку. Я полюбил всех: режиссёра, Понтия Пилата-Ульянова, массовку, статистов, стоящих рядом, всех, всех, всех... Раздалась команда «мотор»! Был снят первый дубль. В этом несказанном светлом потоке любви я просуществовал всё последующее время съёмок. Не было ощущения того, что я делаю что-то запретное...

Приблизительно на седьмой день нашей работы, когда я уже отснялся во всех главных сценах, из Москвы прилетел Валентин Гафт, который должен был исполнять роль Воланда. Он зашёл в наш номер, где мы дружно жили вместе со Львом Дуровым. Время было позднее, и я лежал в постели, готовясь ко сну. Тепло поздоровались, и взор Валентина Гафта упал на фотографию, стоящую на моей тумбочке: я в образе Иешуа Га-Ноцри. Валентин взял фото, долго молча всматривался, потом сказал:

— Коля!.. Какие глаза!.. Да ведь в них же боль и страдание за всех за нас... Что же они болтают о тебе, что ты — шовинист и бог знает кто... Ну, я им покажу!.. Какие глаза!..

Каждую свою роль я всегда оцениваю внутри себя достаточно строго. Отчётливо вижу промахи, штампы, не достаточно хорошую игру. Так было и в «Ивановом детстве», и в «Андрее Рублёве»,

и в «Военно-полевом романе»... На первый просмотр «Мастера и Маргариты» в 1993 году я пришёл настроенный на то, чтобы раскритиковать себя, придрататься к просчётам, убедиться в том, что я не должен был сниматься в этой роли. Просмотр длился около четырёх часов. Помню, что тогда фильм не произвёл на меня большого впечатления, но меня удивило, что впервые в своей актёрской практике я не смог придрататься к себе. Разве только к самому факту своего участия в этом фильме. Я впервые в жизни не видел на экране себя — я видел другое существо. Речь, пластика, движения, походка, глаза — всё было не моё.

Сегодня я конечно же не согласился бы участвовать в подобном проекте. Но дело, как говорится, уже сделано, и Бог мне судья. Я искренне покаяться в содеянном. Выхода фильма не ожидал вообще. Думал, что фактом невыхода фильма на экран Господь оберегает меня от лишних искушений. И вот фильм — выходит.

И если это неизбежно, нужно использовать волну интереса к фильму для напоминания о бдительности зрительского восприятия, для прояснения окружающим, и прежде всего коллегам-кинематографистам, истинного предназначения искусства — служение Господу и России. Сказать, наконец, что книга о Мастере и Маргарите наставляет читателя на путь мрака. Книга Булгакова показала Иисуса Христа, как модель человека, а не живого Сына Божьего. В книге Булгакова Иисус — не Божье создание, а его создание. Этот персонаж не имеет отношения к Создателю. В книге Булгакова Он — безвольное, несчастное, страдающее от людей создание. Тогда как Иисус Христос, сын Божий, не был страдальцем. Его миссия на земле была воинствующей — дать людям веру в Отца Небесного. То, что Воланд - сатана, умеющий обращаться к людям на языке им понятном, усыпил Маргариту и Мастера, дал им покой — это вещь невозможная. И Понтий Пилат не с Иисусом, а в мрачных обителях, навечно заключённый в мрачную небесную сферу. Он не вмешался в судьбу Иисуса и тем осуждён на Небесным Судом на вечное страдание. Остаётся вопрос — отчего сын священника, уповал на мрачные силы ради освобождения от земных страданий. Книга Булгакова много зла сделала, ибо она направила людские души по ложному пути. А ложными путями

к Свету не придёшь. Есть повод вспомнить об ответственности артиста за каждую свою роль.

Мы, грешные артисты, в своей повседневной практике должны всегда руководствоваться простой молитвой: «Не мне, не мне, Господи, но имени Твоему дай славу!»

ДРУЗЕЙ МОИХ ПРЕКРАСНЫЕ ЧЕРТЫ

Судьба одарила меня дружбой, сотрудничеством и встречами с необыкновенными личностями XX века: режиссёрами, актёрами, писателями, музыкантами, спортсменами... Сосуществуя рядом в одной жизни, эти люди не задумывались о том, что они творят нечто необыкновенное, что их имена будут вписаны в историю кинематографа и русской культуры.

Как мне везло! Моими режиссёрами, близкими для меня людьми были Андрей Тарковский, Сергей Бондарчук, Андрей Кончаловский, Юрий Завадский, Никита Михалков, Алексей Герман, Станислав Ростоцкий, Лев Кулиджанов, Алексей Баталов, Виталий Мельников, Михаил Швейцер, Игорь Таланкин...

Каждый из них достоин отдельных воспоминаний.

* * *

Пётр Ефимович Тодоровский. На протяжении нескольких десятилетий мы сталкивались то на Одесской киностудии, то на «Мосфильме», то в Доме кино. Мы не были знакомы, но раскладывались, как положено коллегам, знакомым с творчеством друг друга.



В 1982 году ассистентка Тодоровского, с Одесской киностудии, принесла мне сценарий «Военно-полевого романа» и самоуверенно заявила: «Этот сценарий Вам понравится». Эта самоуверенность мне не понравилась: я читал в своей жизни сотни сценариев и чаще

отвергал их. Почему же этот одесский сценарий должен мне «понравиться».

Не скрою, что к чтению приступил с предубеждением, думал, быстро пробегу... Однако захватило меня с первых страниц. Читаю и не могу оторваться, смеюсь и плачу. Какой восторг! Какая высокая драматургия! Какие образы! Мой Саша Нетужилин проник в сердце, взволновал меня так, как, пожалуй, не одна прежняя роль, разве что Иван, Бориска в «Рублёве» и шукшинский Стенька Разин. Но Иван и Бориска — это достаточно жёсткие образы из палитры Тарковского. А Нетужилин это я. Я — такой, каким меня никто прежде не видел на экране.

Придя на кинопробы, двигаясь по длинному коридору студии Горького, заметил Тодоровского, приближающегося ко мне на встречу вместе с Марианной Вертинской. С разлёту я обнял и поцеловал человека, с которым не был прежде лично знаком. Обнял, как родного, потому что он стал мне родным после написанного им и прочитанного мною сценария.

— Оканчивайте кинопробы, — сказал я тоном, не допускающим возражений — Эту роль я никому не отдам.

Меня одели и привели на грим. Почти сразу я попросил стоящего рядом Тодоровского и гримёра попробовать оттопырить мне уши. От физиономии с лопоухими ушами, смотревшей на меня из зеркала, и взгляд мой становился «лопоухим», добрым, светлым и беззащитным. И я, и Тодоровский видели перед собой Сашу Нетужилина. Образ был найден мгновенно и тут же нами утверждён.

И началась упоительная работа. Успех будущего фильма я просчитал в своём сознании изначально, вывод лежал на поверхности. Сценарий великолепный — выстроенная, как песня, история жизни самого автора. Автор — по счастливому стечению обстоятельств — сам же он ещё и профессиональный кинооператор, снявший «Два Фёдора», «Весну на Заречной улице», и «Жажду». Значит, и за изобразительное решение можно не волноваться. Он же сам и музыку напишет, какую нужно его душе и фильму. Да ещё и с выбором артистов не промахнулся. Пригласил Инну Чурикову, с которой я давно мечтал встретиться в работе, утвердил красавицу Наталью Андрейченко, да и я — не подкачаю!

С первого до последнего дня съёмок фильма я был абсолютно уверен в будущем успехе фильма. Поэтому, видя, как иногда нервничает Пётр Ефимович, говорил ему:

— Это будет потрясающий фильм.

— Что вы! Что вы, сплуньте, — пугался поначалу Тодоровский.

Но я повторял это каждый день и вскоре заметил, что он начал подходить ко мне за получением очередной порции допинга моей уверенности и радости.

Работали вдохновенно, импровизировали с восторгом, радуя режиссёра, группу и самих себя. Снимали в Москве, Одессе и под Одессой в лиманах. Жили весело и дружно. Наташа Андрейченко недавно родила, и ей частенько приходилось в гриме и игровой одежде мчаться со съёмочной площадки домой кормить дочку, а потом возвращаться в кадр. Наташа очень переживала за свою роль, понимая, что такие, глубокие по амплитуде колебаний роли в советском кино предлагаются не часто. Она нервничала, думала, что не достаточно хорошо играет. Однажды, когда мы снимали сцену с пирожками около ЦУМа и Большого театра, она, зайдя погреться в машину, разрыдалась на моём плече. Мы подружись настолько, что Наташа не стеснялась выплеснуть на меня свои переживания, зная, что получит поддержку и утешение.

Помню первый съёмочный день Инны Чуриковой, наш с ней танец и разговор о том, что «если разбогатеет — поедет в Ялту». Я уже к этому времени снялся во многих эпизодах фильма и освоился в роли абсолютно. Инна только переступила рабочий порог. И неожиданно для себя в первом же нашем дубле я ощутил, что великую артистку зажало. Я начал успокаивать её, в танце поглаживая по спине. Уже во втором дубле и до конца съёмок Инна была не только абсолютно свободна, но и поражала меня и режиссёра своей гениальной непредсказуемостью. Инна переписывала под себя все тексты, импровизировала на ходу, и Пётр Ефимович с восторгом принимал полёт её актёрской души.

Я влюблён в этот фильм и в его автора, остроумного, брызжущего шутками-прибаутками Петра Ефимовича Тодоровского. Преклоняюсь не только пред его большим талантом, но и пред его непростой судьбой. Офицер Тодоровский воевал на фронтах

Великой Отечественной войны, был ранен, контужен, дошёл до Берлина. Видел смерть, гонения, унижения и всегда оставался солнечным и остроумным, верящим в жизнь, в хороших людей и в кинематограф.

Работа над фильмом завершилась, началась его триумфальная жизнь: восторженная пресса, десятки призов на международных кинофестивалях.

Именно этому фильму я обязан тем, что прорвал блокаду своего невыездного советского бытия. Мне присвоили звание заслуженного артиста РСФСР. Меня принял министр кинематографии Ф.Т. Ермаш. В беседе я выразил своё удивление по поводу того, что фильмы с моим участием уже давно и успешно представляют страну за рубежом, я же не был ни в одной стране мира. Филипп Тимофеевич искренне удивился, и через несколько дней я был назначен главой киноделегации, направляемой на неделю Советских фильмов в Бельгию и Люксембург. Делегация состояла из двух человек: меня и Инны Чуриковой.

Мы с Инной провели потрясающую, дружную, насыщенную событиями неделю в двух странах «Бенилюкса». Помню показ «Военно-полевого романа» в Брюсселе для бельгийской прессы. После просмотра все вышли в фойе на стоячую пресс-конференцию. Пьём с Инной кофе в уголке, пресса топчется поодаль, внимательно разглядывая нас, словно заморских див. Наконец один из журналистов отважился приблизиться, задал мне вопрос:

— А у вас в России есть такие люди, как ваш герой..?

— Да, у нас — все такие, — с улыбкой ответил я. Напряжение прессы испарилось, посыпались вопросы к нам обоим.

Мы жили в отеле, бывшем королевском дворце на Гран Пляс, посещали картинные галереи Брюсселя, музей Рубенса в Антверпене, бродили по улицам Брюсселя и Ам-



стердама. Суточные нам с Инной выдали мизерные, советские, иной валюты не имели. Едва хватило на скромные сувениры нашим близким. Идём по ночному Брюсселю, разглядываем шикарные витрины. Стёкла витрин настолько чисто вымыты, что их не ощущаешь. Разглядывая капиталистическую невидаль, с размаху, впился лбом в стекло. Инна улыбнулась и с печальным юмором изрекла:

— А мы зато душою богаты...

Завершая поездку, в самолёте, я написал и подарил Инне Чуриковой стихи.

*Семь дней во Фландрии не сон.
Мы чудо видели с тобою.
Фламандский гений всех времён
Людей пленяет красотой.*

*Верхарн, Ван Вейден, Метерлинк...
Фламандия — земля таланта...
Босх, Рубенс, Брейгель и Мемлинг,
И светлый гений Изенбрант.*

*В Москве мы, встретясь, непременно
Помянем сказочный Брюссель,
Антверпен, Брюгге и Ассель,
И Люксембург разноплеменный.*

*Бельгийской рампы свет угас,
Но путешествия стихия!
Ещё сильнее сдружила нас,
Двух слуг искусства из России.
Фламандский гений всех времён
Людей спасает красотой!
Мы чудо видели с тобою!
Семь дней во Фландрии — не сон!*

Сколько радости принёс мне «Военно-полевой роман», сколько стран увидел я благодаря этому фильму! Дважды побы-

вал в Южной Америке — Венесуэле, Перу, Колумбии, Эквадоре. С Петром Ефимовичем мы провели светлые дни в Вене, посетили знаменитую Венскую оперу. Все страны, где с успехом шёл наш фильм, сегодня трудно перечислить. Запомнилась премьера в Венесуэле. Когда после просмотра я шёл, как сквозь строй, через зрительный зал, сотни благодарных, увлажнённых глаз лучились вокруг, сотни рук тянулись ко мне со всех сторон. Эти руки бережно касались, гладили, кто-то обнимал, решался поцеловать меня в щёку... И здесь, за морями и океанами, подтверждалась простая истина: фильм, сделанный сердцем, всегда найдёт отклик в сердце зрителей.

* * *

Кинематографическая судьба подарила мне знакомство и добрые отношения с выдающимися кинематографистами мира: греком Тео Ангелопулосом, сербами Эмиром Кустурицей и Гораном Паскалевичем, итальянцами Джузеппе де Сантисом и Бернардо Бертолуччи, американцем Тони Кёртисом, поляками Анджеем Вайдой и Беатой Тышкевич, Кшиштофом Занусси, Ежи Хофманом, Ежи Штуром, Барбарой Брыльской, Даниэлем Ольбрыхским, Малгожатой Потоцкой... Как-то за кулисами московского Театра эстрады я взял единственный в своей жизни автограф — у знаменитой Марлен Дитрих.

Благодаря «Золотому Витязю» я сроднился с великими сербскими кинематографистами — драматургом Йованом Марковичем, Стево Жигонем и Ивановой Жигон, Батой Живоиновичем, Лазарем Ристоским, Любишей Саморджичем, Гораном Марковичем, Драганом Кресойя... Благодаря всё тому же «Витязю» я упрочил свою дружбу с необыкновенной болгарской душой — кинорежиссёром и педагогом Маргаритом Николовым, однокурсником Никиты Михалкова, у которого я снимался в 1970 году в его дипломном фильме «Стихи».

Духовно сблизился со своими украинскими коллегами: Раисой Недашковской, Адой Роговцевой, Богданом Ступкой, Юрием Ильенко, Николаем Олялиным... Моими верными соратниками

стали белорусские кинематографисты Виктор Туров, Николай Ерёмченко (старший), Владимир Гостюхин, Ростислав Янковский...

Я благодарен своей судьбе за встречи и дружбу с выдающимися писателями и поэтами России: Виктором Некрасовым, Арсением Тарковским, Сергеем Михалковым и Натальей Кончаловской, Виктором Астафьевым, Василием Беловым, Валентином Распутиным, Юрием Бондаревым, Ираклием Андрониковым, Юрием Нагибиным, Геннадием Шпаликовым, Виктором Проскуриным, Виктором Лихоносовым, Юрием Кузнецовым, Вадимом Кожиновым, Юрием Селезнёвым, Беллой Ахмадулиной, Валерием Ганичевым, Станиславом Куняевым, Владимиром Крупинным, Владимиром Личутиным...

Сама Анна Андреевна Ахматова через Наталью Горбаневскую передала мне, мальчишке, книжечку своих стихов с бесценным автографом. Эта книжечка долго пребывала на моём столе, пока её не унёс кто-то из многочисленных приятелей, забредавших на огонёк в гостеприимную квартиру моих родителей на улице Горького.

О моём герое Иване из «Иванова детства» писали Жан Поль Сартр и Константин Симонов. На западе в прессе меня именовали «звездой», печатали мои портреты рядом с Марчелло Масто-яни, Софии Лорен и Аленом Делоном... Но «звёздной болезнью» я не заболел: взрослея, учился строго относиться к своей персоне. Может быть, поэтому и выжил.

* * *

Виктор Платонович Некрасов. Казалось бы, что общего может быть между ветераном Великой Отечественной войны, лауреатом Сталинской премии, автором знаменитой повести «В окопах Сталинграда» и опальных путевых заметок «По обе стороны океана» и двадцатилетним юнцом-артистом?.. Однако мы крепко сдружились. Я, снимаясь в Киеве, непременно заходил в гости к Виктору Платоновичу, он, приезжая в Москву, всегда звонил мне. Помню экскурсии по его любимому Киеву, которые он с упоением дарил мне. Андреевский спуск... Дом Булгакова... Киево-Печерская Лавра... Он стремительно вёл меня по каштановым

аллеям и горбатым улочкам, непременно принимая стаканчик в каждой попутной забегаловке. Я пытался останавливать его, но он был непреклонен:

— Со мной боролись и Хрущёв, и Брежнев... И ничего у них не получилось. Может быть, и у тебя не получится!

Во хмелю он дарил мне книжки живописи из своей библиотеки: Ван Гога, Матис... — и делал надписи от их имени по-французски: «Pour Nikola! Avec amitie! Anri Matis».

В день рождения Андрея Тарковского, 4 апреля 1968 года, Виктор Платонович подарил мне толстый серый сборник своих избранных произведений, написав аккуратным подчерком: «Дорогому Коле Бурляеву на добрую память! В. Некрасов». Потом, видимо крепко выпив за здоровье нашего друга Андрея, Виктор Платонович потребовал подаренную книгу обратно и расплзающимся, нетрезвым строением букв и строк приписал:

«Коля! Хотелось бы сказать тебе всё! Но как это сделать? Ведь я берегу твою молодость... Я, чуть-чуть выпивший, прошу тебя об одном — не будь ..., это очень важно! Люби меня, не б..., и я буду любить тебя».

Похоронив мать, оставшись один, Виктор Платонович покинул Россию. Прекрасно говоря по-французски, он избрал местом жительства Париж. В 1990 году, снимая в Париже свой второй режиссёрский фильм «Всё впереди», я побывал на кладбище Сен-Женевьев-дю-Буа. В печали постоял над могилами своих друзей, двух русских художников — Андрея Тарковского и Виктора Некрасова, нашедших приют в чужой для них земле.

* * *

Сегодня утром, 29 ноября, печатая воспоминания о Театре Моссовета, я написал о первой встрече с юной Беллой Ахмадулиной именно в этом театре. Видно, не случайно я вспомнил о ней сегодня. Давно не вспоминал, а сегодня... Вечером, у стоматолога, мне напомнили о Белле второй раз за этот день. В кабинет заглянула медсестра и тихо оповестила: «Умерла Белла Ахмадулина...»

Я вздрогнул, перекрестился и попросил Господа об упокоении души новопреставленной рабы Божьей Беллы, не думая в этот миг о том, была ли она христианкой...

...В памяти всплыл образ девятнадцатилетней чернобровой печальноокой красавицы, читающей-поющей свои хрупкие голубиные стихи на «актёрском четверге» в фойе Театра Моссовета, в том бесконечно далёком 1962 году. Я вместе со всей труппой любовался и восторженно аплодировал этому нежному юному созданию.

Спустя два десятилетия Белла принимала меня в своём доме, мастерской моего давнего знакомого Бориса Мессерера. В тот памятный для меня апрельский день мы общались часов шесть подряд. Сидели на кухне, пили шампанское, всматривались, постигали друг друга, и я не стесняясь читал ей свои стихи. Одно из стихотворений — «Люблю весну. На даче беспорядок... Московского семейства дух предметный...» — настолько понравилось Белле, что она попросила его повторить. В дом то и дело заходили друзья Беллы, и она говорила:

— Послушайте, какие замечательные стихи... Коля, прочтите ему: «Люблю весну...»

И я с удовольствием, в который раз, читал, исполненный сердечной радости — Белла Ахмадулина признала меня поэтом.

На прощанье она подарила мне новый сборник своих стихов, начертав на титульном листе дарственную надпись: «Дорогой Николай! Вы внушаете уважение и веру в свою силу и талант...» Я был на седьмом небе.

Вернувшись домой, написал несколько стихотворений и посвятил Белле.

*С крыши сбрасывают снег. Грядёт апрель.
Так сказочно, как будто стало время.
Наш первый, наш пречистый, брачный день —
Поэтов двух, как взрыв соединенье.
Как уберечь, спасти, помочь, понять?..
Безмолвный диалог всеведающих глаз.
И озареньем, будто истинное знать
Дано лишь нам, — улыбка на устах.*

* * *

*С твоим благословением в душе,
Начну писать легко, глубоко, просто,
Вести за правдою сограждан и потомство.
Страницу новую, открыв в своей судьбе,
Страницу эту я дарю тебе.*

*Любовь поэта разве бесполезна?..
Его любовь и вера мир спасает,
Живит, содержит, будит, возрождает.
Любить всё сущее — закон его чудесный,
А гений и злодейство — не совместны.*

*Меня однажды не увидят мои стены.
Моя «чужая плоть» подвластна тленью.
Но брренное жильё своё покинув,
Успею ли открыть я тайну — сыну,
Пред раствореньем в нём иль во Вселенной.*

*Быть может, смерти не бояться научу...
Любить гармонию вселенского движенья...
Но ни его, и ни себя не излечу
От реквиемной грусти опьяненья:
Божественная жизнь — подарок на мгновенье,
Чудесное, реальное явление.*

* * *

Моими партнёрами по кино и театру были великие и неповторимые актёры.

Мой незабвенный учитель по театру и по жизни, последний трагик, романтик русского театра Николай Дмитриевич Мордвинов...

Нежная, всегда смотрящая на меня с доброй улыбкой знаменитая Вера Петровна Марецкая...

Легендарная, царственная, вечно молодая Любовь Петровна Орлова...

Источающий духовное здоровье и юмор, озорник Ростислав Янович Плятт.

Печальная, ироничная и трогательная Фаина Георгиевна Раневская...

Древняя, гортанно-говорящая Серафима Германовна Бирман...

* * *

Прославленный Евгений Урбанский, которого Андрон Кончаловский уговорил сняться в крошечном эпизодике без слов в своём курсовом фильме «Мальчик и голубь». Тем самым Андрон подарил мне возможность несколько часов побыть партнёром этого замечательного русского артиста.

Владимир, о котором я уже написал отдельные воспоминания.

Мои партнёры, мои старшие друзья по «Иванову детству» — участник войны, обаятельный и заботливый Валентин Зубков. Выдающийся украинский артист Дмитрий Милютенко. Высокорослый и застенчивый Николай Григорьевич Гринько. Душевный, скромный и красивый, несмотря на преклонный возраст, ленинградский актёр Степан Иванович Крылов, с которым я переписывался до конца его жизни...

Девятнадцатилетний красавец-ловелас Женя Жариков... Юная, очаровательная Валя Малявина...

Мои дорогие соратники по «Андрею Рублёву», знаменитая «Андреева артель»: застенчивый и трепетный, лысый, похожий на сельского учителя, книгочей-интеллигент Толя Солоницын. Как и я, бесконечно влюблённый в Тарковского. Постоянно комплексовавший из-за внушённой самому себе неполноценности перед гением-режиссёром...

Мой обожаемый и неподражаемый друг Ролан Быков, едва не ставший моим родственником, на коленях умолявший маму отдать за него мою старшую сестру, Людмилу...

Выдающийся артист, не похожий на артиста — Иван Герасимович Лапиков. Тарковский не любил артистов, похожих на

артистов, так называемых «актёр актёрычей». У него все его избранники не были похожи на артистов: ни Лапиков, ни Солоницын, ни Гринько, ни, надеюсь, я.

Скромный, ни на кого не похожий, обаятельный Миша Конов...

До невозможности простой, остроумный, со скрытой печалью в глазах Юрий Никулин, с которым мы до конца жизни сохранили сердечные отношения. До конца своих дней он радушно принимал меня с моими детьми в цирке на Цветном бульваре.

Звёздный, но не уверенный в себе, Владимир Ивашов, с которым мы впервые встретились в 1961 году на кинопробах «Иванова детства» и которого почему-то не утвердил Тарковский. Спустя три года мы продолжили наше знакомство и сотрудничество на «Герое нашего времени»...

Гениальный Иннокентий Смоктуновский, ставший моим отцом в «Скупом рыцаре» из «Маленьких трагедий»...

Великая Алиса Фрейндлих, поцелуй которой в чеховском фильме С. Соловьёва «От нечего делать» я помню до сих пор... В этой же картине судьба свела меня с Вячеславом Тихоновым, с которым мы вместе наслаждались своими комедийными ролями. Ни мне, ни ему подобные острохарактерные роли прежде не предлагались. И он и я испытывали несказанное творческое наслаждение от предоставленной нам возможности на пару поозорничать в кино...



* * *

Мои соседи по дому № 6 на улице Горького — Великий Борис Николаевич Ливанов и его не менее талантливый сын, мой друг, Василий Ливанов. Борис Николаевич почему-то царственно рас-

кланивался во дворе со мною, пацаном, ещё задолго до того, как я подружился с его сыном. Наш дом соседствовал с МХАТом, и я частенько встречал в колодце двора шествующих на работу в свой театр великих Кторова, Грибова, Яншина, Станицына, Тарасову, Зуеву, Степанову...

С 25-летним Васей мы познакомились на съёмках фильма Григория Рошаля «Суд сумасшедших», в котором я играл роль сына миллионерши-красавицы Ирины Скобцевой, а Василий — роль седовласого учёного-физика, доктора Вернера, которому покровительствовала миллионерша. Вася в шутку прозвал этот шедевр «Бред сумасшедших».

Потом, когда мне было уже 25, а Василию — 35, мы ещё больше сдружились на съёмках фильма Алексея Баталова «Игрок». Гусарили на пару вовсю. Вместе широко гуляли ночи напролёт. А утром, плечо к плечу, в халатах размашисто шествовали по коридорам «Ленфильма», так, что все уважительно расступались. В жизни друзья, в фильме мы играли непримиримых антиподов. Когда настал день съёмки нашей парной сцены, в которой мы должны были взаимно ненавидеть друг друга, мы порознь прибыли на студию.



Не поздоровавшись, не разговаривая друг с другом, сели рядом в гримёрные кресла. Мы заранее договорились с Баталовым, что репетировать не будем, всё сыграем, проживём перед камерой. После команды «Мотор!» мы разыграли такую сцену, что наэлектризовали всё вокруг. Оператор Д.Д. Месхиев, оторвавшись от глазка кинокамеры, словно от электросети, выдохнул: «Ну вы с Васькой даёте!..» Ограничились одним дублем, который и вошёл в картину.



Помню, как-то ночью, во время очередного загула, Вася, уморив меня на кухне чтением любимого Пастернака, сорвался из дома:

— Поедем к Генке Гладкову!

Я попытался возразить: мол, ночь, три часа... Но остановить Василия Ливанова, если он что-то замыслил, — занятие бесполезное. Приехали к Гладкову. Вася начал трезвонить в дверь. Открыл заспанный Геннадий:

— Вася, ты что..? Ведь четыре часа...

— Дружба — это понятие круглосуточное! — Изрёк Ливанов, и веселье продолжилось.

* * *

С Николаем Губенко мы сошлись тоже в шестидесятых. Ярчайший, темпераментнейший артист. Герой опального фильма Марлена Хуциева «Застава Ильича». А как темпераментно, заводно играл он в «Добром человеке из Сезуана» у Любимова!.. Глядя, как он в одном из фильмов лихо вскакивает на галопе в седло, я подумал — вот бы и мне так. И повторил этот трюк в своём «Лермонтове». Николай режиссёром стал замечательным. Но вспоминается мне забавный случай из нашей жизни.

В далёком 1965 году Николай пришёл ко мне в гости. Отец покормил нас вкуснейшим ужином. Поздний вечер — пора прощаться. На улице промозглый октябрь, ненастье, а Николай в одном пиджачке.

— Как же ты в таком виде пойдёшь? Холод-то какой...

— Ничего, не размокну, — улыбнулся Коля.

— Нет, подожди. — Я достал из гардероба пальто брата Бориса. — Надень. Брату купили перед самым уходом в армию. Он даже походить в нём не успел. Надевай, завтра отдашь...

Коля не стал ломаться, оделся, сказал «спасибо» и пошёл.

Больше я это пальто не видел.

И Коля, видать забыл... А я и не напоминал. Потом встречались мы редко. Николай пошёл в гору — стал министром культуры, председателем комитета по культуре Государственной думы, депутатом, главным режиссёром театра. При встречах тепло обнимаемся. О пальто я не напоминаю, так как давно, по-христиански простил.

* * *

Горжусь своей дружбой с великими артистами балета — Володей Васильевым и Катей Максимовой, Натальей Макаровой, Марисом Лиепой и его замечательными детьми Илзе и Андрисом. Помню, как Катя и Володя доверяли мне, мальчишке, ключи от своих машин и я часами гонял по Москве без прав. Помню, как въехал на новеньком Володином «Ситроене» в забор, слегка поцарапав бампер. Помню триумф Володи в «Спартаке» и блистательные балетные номера моих друзей в концертах прославленного Касьяна Голейзовского. .

Первая встреча с Марисом Лиепой, произошедшая на улице, где он жил. В этот вечер мы (как мне кажется) оба опаздывали в Консерваторию на вечер Максима Шостаковича. Столкнулись у дома на Неждановой, где жил Марис. Он сел за руль, чтобы двигаться в сторону Консерватории, до которой было не более восьмисот метров. Я подошёл к нему, надеясь, что он прихватит меня с собой, ведь у нас так много общих друзей. Марис, как мне кажется, не узнал меня, посчитал, что это очередной назойливый поклонник, довольно резко что-то сказал мне, сел за руль и уехал. Ни он ни я не представляли, что через десяток лет станем сердечными друзьями, будем вместе сниматься в фильме «Детство Бемби» и я предложу ему сыграть роль Императора Николая I в моём «Лермонтове», и мы подружмся ещё крепче.

Моим школьным другом был фигурист Алёша Уланов. Совершенно неожиданно для меня они с Ириной Родниной, учившейся в нашей же школе на пару классов младше, стали чемпионами Европы, потом — мира, а вскоре и Олимпийских игр. Я с восторгом следил по телевидению за их триумфальным спортивным взлётом, сердечно радовался их победам. Потом мне стали грезиться сны, в которых я видел себя на льду, творившим подлинные чудеса вплоть до прыжков в пять оборотов и сальто на льду! Я видел во сне, как становлюсь чемпионом мира и мне рукоплещут трибуны. Ах, как я катался во сне! И, главное, всё виделось так реально, так подробно так музыкально, танцевально: от начала и до конца. А потом ликование трибун.

Я задумался: а почему бы мне не выйти на лёд и быстренько ни стать чемпионом мира? А что? Танцевальную подготовку в театральном училище я проходил, на «гагах» в парке Горького в детстве катался. Немножко, правда, нужно поработать, повисить класс... Но у меня такие друзья — Алёша, Володя и Катя! Я преступил к реализации своих дерзких мечтаний.



Попросил Алёшу Уланова поговорить с его хореографом — старенькой, добренькой Сац и тренером Станиславом Жуком, чтобы они поработали со мной. Каким-то образом Алёша уговорил их, привёл в ЦСКА на тренировку и дал мне свои чемпионские коньки. Я с гордостью надел их, вышел на лёд, сделал шаг и — упал... Какой конфуз! Не учёл, что у фигурных коньков впереди — зубцы. Но отступать я не желал. Упорно посещал тренировки каждый день. Я был допущен Станиславом Жуком на тренировки чемпионов, когда на всём пространстве катка были только великие фигуристы: Алексей Уланов, Ирина Роднина, Сергей Четверухин и я — недостойный. Ах, как мы любили гонять в перерывах по льду и играть в хоккей — двое надвое: я — с Алёшей, Ира — с Сергеем. Катался я почти полгода, начал делать элементарные перекидные прыжки, но Жук не торопился «работать» со мной.

Продолжая стремиться к своей мечте и понимая необходимость усовершенствовать своё танцевальное мастерство, я попросил Володю Васильева предоставить мне возможность посещать вместе с ним в Большом театре их ежедневный класс. И Володя привёл меня в Большой театр, ввёл в легендарный класс Асафа Мессерера. У станка — Майя Плисецкая, Владимир Васильев, Екатерина Максимова и все легендарные звёзды Большого театра. Они тянут ногу до потолка, я — до пояса, с трудом. Слава богу, я быстренько сообразил, что позориться самому и позорить своих друзей не должен. Повторно приходить на занятия в Большой театр я не рискнул. Так и закончилась моя несостоявшаяся карьера великого фигуриста.

* * *

Сергея Апполинариевича Герасимова, как и положено, в киносообществе многие не любили, но уважали все. Не любили, потому, что он был фигурой авторитетнейшей, а это коллеги, как ныне, так и в доперестроечные времена, не прощали. И мне наговаривали на него друзья-приятели, киношники разные небылицы. Однако когда пришло время нам познакомиться, я целиком и полностью подпал под обаяние этой незауряднейшей личности.

Сближение наше произошло в начале семидесятых годов, когда я был принят на режиссёрский факультет ВГИКа. И хотя учился я на параллельном курсе Ромма — Кулиджанова, частенько заглядывал в мастерскую Герасимова — Макаровой. О заботе этих педагогов о своих учениках ходили легенды. «Герасимовцам» откровенно завидовали.

Когда мы, три выпускника ВГИКа — ученица Герасимова Наталья Бондарчук и два «роммо-кулиджановца» Игорь Хуциев и я, — подали заявку на постановку трёх дипломных работ по «Пошехонской старине» Салтыкова-Щедрина, окружающие сочли эту затею безнадёжной. Салтыков-Щедрин для советского кино был автором закрытым. Со времён допотопного «Иудушки Головлёва» никому не удавалось пробить постановку произведений этого неудобного сатирика. Тогда мы решили задействовать «тяжёлую артиллерию», попросили походатайствовать за нас Сергея Апполинариевича. И он добился разрешения на нашу постановку. По сей день я безмерно благодарен ему за дружеское покровительство.



Получив диплом режиссёра и главный приз за свою новеллу «Ванька Каин» на международном кинофестивале в Оберхаузене, я закончил ВГИК, но наши отношения с Сергеем Апполинариевичем и Тамарой Фёдоровной стали крепнуть и теплеть год от года. В один из летних месяцев мы оказа-

лись вместе на отдыхе в Доме творчества в Пицунде.

— Сегодня Герасимов будет угощать своими пельменями, — разнеслось по всему Дому творчества.

Это означало, что приглашались все отдыхающие. Пельмени, вылепленные лично руками Герасимова, были фантастические. Сам повар был великолепен, неуёмно жизнерадостен и остроумен. Поздно вечером мы с Герасимовым оказались один на один, визави за столиком в кафе. Несколько мгновений молча смотрели, погружались в душу друг друга. Всё глубже и глубже, до самых сокровенных, сердечных пределов. Мы не отводили глаз, улыбались, словно договариваясь на безмолвном языке сердца о нашем будущем духовном содружестве. Такого взаимопроникновения душ в моей жизни не было ни с кем.



Вскоре я, не ученик Герасимова, оказался педагогом на его курсе. Моё пребывание там было не столь продолжительным, но мне было приятно, когда спустя несколько лет один из моих бывших студентов вдруг сказал мне, что получил от меня за это время гораздо больше, чем от многих других педагогов курса за все годы обучения.

В 1982 году Наталья Бондарчук, влюблённая в своего учителя, решила увековечить Сергея Апполинариевича как великолепно-го чтеца и приступила к съёмкам телефильма «Медный всадник». Герасимов читал текст от автора, я исполнял роль бедного Евгения и присутствовал на всех съёмках Сергея Апполинариевича. Меня трудно поразить мастерством художественного чтения, так как я не воспринимаю фальшь подавляющего большинства профессиональных чтецов. Но чтец Герасимов был великолепен. Мастерски подавая чтецкий материал, он не притворялся, но жил этой высокой поэзией, ставшей естественной сутью его личности. Помню, как в одном из самых пафосных, трагических мест поэмы его глаза увлажнились и он, с трудом сдерживая слёзы, сдавленным голосом произнёс свой монолог.

С.А. Герасимов снял свой последний фильм о Л.Н. Толстом, и свора серых, советских шакалов-критиков начала распинать фильм и его создателя. Выдержать это информационное цунами, нести этот «стыдом сплетаемый венец» в финале своей жизни — тяжёлое испытание, непосильное даже для такого титана, как Сергей Герасимов. Я сердцем принял это последнее творение мастера, понимая, что фильму суждена трудная, но долгая жизнь. В те тяжёлые для четы Герасимова—Макаровой дни я оказался в гостях в их доме на Кутузовском проспекте. Во время чаепития я высказал Сергею Апполинариевичу слова благодарности за его «Толстого». Я сказал, что съёмки такого фильма — это поступок, важный для русской культуры. Лично для меня это второй фильм после «Ганди», повествующий о судьбе пророка. Некоторые фрагменты фильма просто вызывают слезы.

— Да, там есть такие места, — ответил Сергей Апполинариевич — этот фильм оценят потом. Спасибо тебе. Я верю в твою искренность, мне дорого твоё мнение. Так и надо поступать. — И как когда-то в Пицунде, он глубоко посмотрел в меня...

Вскоре его не стало. На прощание, перед уходом, он сказал Тамаре Фёдоровне: «Не долго музыка играла...»

Однако прав М.Ю. Лермонтов — «Есть чувство правды в сердце человека». Сегодня ВГИК носит имя Сергея Апполинариевича Герасимова.

* * *

С Олегом Ефремовым мы снимались в двух фильмах Виталия Мельникова: «Мама вышла замуж» и «Чужая жена и муж под кроватью». Вместе мотались в «Красной стреле» Москва—Ленинград. Подолгу жили в одной гостинице, где утро начиналось в гостиничном буфете. Олег Николаевич заказывал стакан коньяку и конфетку. Стакан лихо опорожнял — конфетку не трогал, брал с собой вместе с бутылкой коньяка.

На студии: на гриме и в перерывах между дублей — «восстанавливал здоровье», но при этом почти всегда был в форме. Может быть, этот постоянный допинг помогал ему глубже войти в образ забулдыги — шофёра Вити. Фильм получился очень трогательным.

тельный, он живёт и радуется зрителям и сегодня, уже пятый десяток лет.

Узнав, что я ушёл из «Ленкома», Олег Николаевич предложил мне поучаствовать в создании нового театра, который пытались родить актёры «Современника». Несколько месяцев мы репетировали в подвале напротив Кремля с Олегом Табаковым и Олегом Далем. Театра не получилось, но время мы провели замечательно.

Как-то Олег Николаевич сказал мне:

— Знаешь, я пригласил в театр Настю Вертинскую... Ты с нею учился... Расскажи, что она за человек.

И я рассказал, какая Настя замечательная, красивая, умная, добрая, талантливая... Всё это я говорил абсолютно искренне, поскольку с Настенькой у нас сложились самые нежные отношения. Я увидел её впервые в доме Никиты — воздушное создание небесной красоты, только что сошедшая со шхуны с «Алыми парусами»... Поскольку я понимал, что мой друг Никита серьёзно влюбился, у меня и мысли не было давать волю своим чувствам. К тому же я был мелковат — почти на год младше своих друзей.

Настя оценила моё благородство, назвала своим братом. Поскольку мы были внешне чем-то похожи, то придумали с ней легенду о том, что наши отцы были братья и мы — двоюродные брат и сестра. Я ездил к Насте в Ленинград на съёмки «Гамлета», провожал её со студии в гостиницу, защищал от уличных хулиганов... Однажды, когда мы с Настей и Никитой уже учились в Щукинском училище и я, как обычно, провожал её домой (жили мы на улице Горького, в квартале друг от друга), прощаясь, в подъезде она сказала мне:

— Никита сделал мне предложение... Идти мне за него?

— А ты его любишь?

Короткий ответ Насти озадачил меня...

— А как же тогда?..

— Ты знаешь, я устала всё в жизни делать сама... А он такой сильный...

Эти подробности я не рассказал Олегу Ефремову, ограничившись лишь восторженной характеристикой своей «сестры».

Прошло несколько лет, и я узнал, что у Олега Николаевича и Насти сложились серьёзные личные отношения. А спустя ещё не-

сколько лет они расстались. И как-то на приёме в Кремле хмельной Олег Николаевич подошёл ко мне и печально сказал:

— А всё — ты!.. Настя — такая!.. Настя — сякая!..

* * *

Будучи дружен с Максимом Шостаковичем, я мог встречаться и с его великим отцом: в Консерватории на концертах Дмитрия Дмитриевича и Максима, который, несмотря на молодость, был зрелым и артистичным дирижёром.

Как режиссёр я сам выбирал для своих фильмов композиторов. К первой вгиковской курсовой работе я привлёк экстравагантного ленинградского композитора Олега Каравайчука. На дипломном «Ваньке Каине» я имел счастье сотрудничать с Юрием Буцко. К работе над мини-фильмами «Выбор» и «Круг», ставшими предтечами нового жанра — «клипа», я привлёк Геннадия Гладкова. На «Лермонтове» я шесть лет работал с пианистом и композитором Борисом Петровым. Музыку к моему фильму по роману В. Белова «Всё впереди» написал талантливый Андрей Головин.

С композитором и дирижёром, человеком прямым и неудобным для тех, кого он не принимал, Вячеславом Овчинниковым я не соприкоснулся как режиссёр, но зато как актёр имел радость трудиться вместе с ним над фильмами «Мальчик и голубь», «Иваново детство», «Андрей Рублёв» и «Легенда».

Моими друзьями-единомышленниками стали руководитель Большого симфонического оркестра Владимир Иванович Федосеев, дирижёр Санкт-Петербургской хоровой капеллы Евгений Александрович Чернушенко, создатель Академического оркестра «Баян» Анатолий Иванович Полетаев, руководитель Государственного Кубанского казачьего хора Виктор Гаврилович Захарченко.

Не могу не вспоминать свои встречи с Георгием Васильевичем Свиридовым. Ещё в 1964 году мы оба были причастны к созданию фильма «Метель»: он написал гениальную музыку, а я мелькнул под эту музыку в нескольких кадрах в роли юного улана. Сближение наше началось спустя двадцатилетие, после того как я принёс соседу по даче Г.В. Свиридову кассету со своим «Лермонтовым», о котором он был слышан и начитан. Тогда мы и разглядели

друг в друге единомышленников. Георгий Васильевич воспринял мой фильм сердцем, полностью разделил идею, пафос и художественное существо картины, высоко оценил музыку молодого композитора Бориса Петрова.

Мы стали часто встречаться, беседовать, как будто всегда знали друг друга, и разницы в возрасте не ощущалось никакой. Откровенно говорили о культуре, политике, музыке, кинематографе, поэзии, сокрушались по поводу нового мирового порядка и новой, рыночной, культурной политики государства.

Однажды я привёл к Георгию Васильевичу своего десятилетнего сына Ивана, ученика школы при Консерватории. Ваня сыграл Свиридову всё, что тогда мог: свои произведения, Баха, Моцарта, Бетховена, Листа...

Георгий Васильевич сказал:

— Молодец, хорошо играешь. Бах, Моцарт, Бетховен, Лист — это замечательно. Но старайся играть больше русской музыки: Рахманинова, Чайковского, Мусоргского... В русской музыке — истина.

Георгий Васильевич говорил о необходимости начинать обучение музыке с русских композиторов, а не с Баха, не с немецкого духа. Говорил о засилии на российском музыкальном Парнасе «кочевнического» духа, о внедрении одного с начала века и до наших дней, когда тенденция эта стала ещё агрессивнее.

Вспоминаются наши разговоры со Свиридовым о М.Ю. Лермонтове. Меня задевало то, что и Георгий Васильевич высказывался о Лермонтове-человеке в русле негативного лермонтоведения, прикрепляя к нему бранные эпитеты. Хотя творчество Лермонтова он высоко ценил и писал романсы на его стихи. Пришлось крепко поспорить с Георгием Васильевичем, отстаивая нежную и любящую сущность поэта. Листая альбом с кинопробами актёров на «Лермонтова», он с радостью отмечал:

— Надо же, ещё встречаются русские лица...

* * *

Возможно, когда-нибудь я напишу о Наталье Бондарчук. Моей партнёрше по нескольким фильмам, спутнице жизни на

протяжении семнадцати лет, матери двух моих детей — Ивана и Марии...

Возможно, со временем оживут под моим пером дорогие коллеги, с которыми мне довелось работать и дружить: Георгий Жжёнов, Эраст Гарин, Олег Борисов, Зиновий Гердт, Михаил Ульянов, Любовь Добржанская, Софья Пилявская, Виктор Авдюшко, Георгий Вицин, Люсьена Овчинникова, Олег Янковский, Борис Новиков, Юрий Богатырёв, Наталья Гундарева, Александр Кайдановский, Евгений Леонов, Леонид Филатов, Олег Табаков, Валентин Гафт, Ия Савина, Лев Дуров, Лидия Федосеева-Шукшина, Армен Джигарханян, Николай Караченцов, Владимир Заманский, Маргарита Терехова, Станислав Любшин, Лия Ахеджакова, Сергей Гармаш, Сергей Никоненко...

Мой душевный контакт с каждым из них заслуживает отдельного повествования.

МОЙ ТЕАТР

В 1959 году в фильме А. Кончаловского «Мальчик и голубь» мы дебютировали вместе с артистом Академического театра имени Моссовета Владимиром Шуруповым. Спустя год после съёмок он позвонил мне и сказал, что в их театре начинаются репетиции нового спектакля по пьесе И. Штока «Ленинградский проспект», сказал, что там есть детская роль и он хочет предложить режиссёру меня. Вскоре Володя представил меня главному режиссёру театра, ученику Станиславского и Вахтангова, Юрию Александровичу Завадскому и режиссёру спектакля Ирине Сергеевне



Анисимовой-Вульф. Видимо, они оба нашли меня вполне пригодным для предстоящей работы.

Начались репетиции. Мне выдали трудовую книжку и удостоверение: в 15 лет я стал «сыном полка», артистом Академического театра имени Моссовета. Моими старшими товарищами, сослужив-

цами, партнёрами были поистине легендарные артисты Николай Дмитриевич Мордвинов, Вера Петровна Марецкая, Любовь Петровна Орлова, Фаина Георгиевна Раневская, Ростислав Янович Плятт, Серафима Германовна Бирман. На протяжении трёх лет я был упоён своей причастностью к храму искусств.

«Ленинградский проспект» с великим Мордвиновым в главной роли имел огромный успех у московской публики.

Затем последовал ввод на роль пажа Робина в «Виндзорских насмешниках» Шекспира. Какой восторг: три часа жить, самозабвенно летать по сцене и зрительному залу, петь песни под настоящий оркестр! Когда оканчивался спектакль, закрывался занавес и я снимал парик в своей гримёрной, мне становилось очень грустно. Праздник закончен — начинаются будни: я вижу в зеркале себя — менее интересное для меня существо, нежели полюбившийся мне паж Робин. Нужно снова быть Колей Бурляевым, учить уроки, идти в школу, жить размеренной, привычной жизнью.

Работу в театре я совмещал со съёмками в кино и учёбой в школе. После седьмого класса перевёлся в изумительную школу рабочей молодёжи № 18, находящуюся недалеко от моего дома, на улице Чехова, 18. В ней учились дети, занимающиеся творческими профессиями в балетном училище Большого театра, ансамбле Моисеева, фигуристы... Моими одноклассниками были Алексей Уланов и Татьяна Тарасова, классом младше училась Ира Роднина. В этой школе мы учились лишь три дня в неделю. И чтобы мой друг Никита Михалков не надрывался в своей школе всю неделю, перетащил его в нашу сказочную «шэрэмэ».

Я был влюблён в свой театр, радовался каждому приходу в этот сказочный мир, каждому выходу на сцену.

Следующей моей ролью стал царь Птоломей, брат Клеопатры в пьесе Б. Шоу «Цезарь и Клеопатра». Цезаря играл Ростислав Янович Плятт. Клеопатру воплощали по очереди популярная в то время киноактриса Нина Дробышева и выпускница театральной студии Рита Терехова. Старую няньку Птолемея Фтататиту играла С.Г. Бирман. На одной из репетиций она рухнула с трёхметрового помоста, на котором стоял царский трон. Все ахнули и

замерли, думали, что восьмидесятилетняя Серафима Германовна уже не поднимется.

— Ох... я, кажется, упала, — раздался из-за кулис хрипловатый голос актрисы, — ушиблась немного...

Серафима Германовна, потирая поясницу, поднялась на помост и продолжила репетицию.

Вскоре меня ввели на роль Гаврика в пьесу А.М. Горького «Трое» и на сказочного Принца в спектакль «Когда часы пробили полночь». Потом предложили вестись на «Посыльного» в пьесу Ибсена «Нора». Ролька малюсенькая, всего пара реплик, но как откажешься стать партнёром самой Любви Петровны Орловой? И подле прославленной Веры Петровны Марецкой потоптался в массовке в «Бунте женщин». И в «Короле Лире» подрабатывал в свите моего любимого Н.Д. Мордвинова.

Из корифеев театра только с Ф.Г. Раневской не играл, но зато и с ней мог запросто встречаться за кулисами. Пользуясь её добрым отношением ко мне — «сыну полка», забежал к ней в гримёрную, чтобы поздравить с премьерой.

Меня хвалили в театральных рецензиях. Валентин Плучек пригласил сыграть роль юного художника в спектакле Театра сатиры «Обнажённая со скрипкой». Театр по соседству с моим «Моссоветом», отчего не сыграть. И партнёр такой замечательный — Георгий Менглет.

Ах, как весело и прелестно быть артистом театра: ездить на гастроли в Ленинград и Киев, представлять сцены из спектакля на телевизионном «Огоньке», записывать спектакль по радио, посещать интереснейшие театральные посиделки по четвергам, слушать тосты мудрого Н.Д. Мордвинова и остроумного Р.Я. Плятта, смотреть взрослые заграничные фильмы, любоваться гостями те-



атра: музыкантами, космонавтами, начинающей поэтессой Беллой Ахмадулиной...

Но время шло, я выросал из театральных костюмов, начал ломаться голос. Ия Савина стала в шутку называть меня «шпрот-переросток». В 1964 году я закон-

чил школу. Что делать дальше? Решил посоветоваться с Ю.А. Завадским. Юрий Александрович, не долго думая, набрал телефон ректора Щукинского училища Б.Е. Захавы.

— Боренька, у меня есть юный артист Коля Бурляев. Замечательный мальчик... Ты наверняка видел его в «Ивановом детстве». Ты послушай его...

Благодаря этому звонку, я, можно сказать, по блату попал в театральный институт.

По сей день я храню светлые воспоминания о моём первом театре, о моих дорогих партнёрах: Варваре Сошальской, Анатолии Баранцеве, Людмиле Шапошниковой, Ие Савиной, Вадиме Бероеве, Борисе Иванове, Нине Карташовой, Михаиле Львове...

Тогда мне казалось, что Театр Моссовета — идеальный театр: коллектив единомышленников, живущих абсолютно гармонично и светло, без склок и интриг. Спустя сорок лет я спросил у Ии Савиной, так ли это было на самом деле или, быть может, взрослые скрывали от меня, подростка, «не видимые миру слёзы»?

— Всякое бывало, — ответила Ия Сергеевна.

МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ

В ноябре 1964 года в назначенное время я переступил порог кабинета ректора Щукинского училища Б.Е. Захавы. Отчитал положенные три произведения: басню, прозу, стихотворение.

— Прочтите ещё что-нибудь, — сказал ректор.

Больше я ничего не приготовил.

— Стыдно, молодой человек! Я в ваши годы читал наизусть Онегина, Шекспира... Вы поздно пришли. Уже октябрь — первый курс уже укомплектован... Приходите на следующий год.

Но тут в мою судьбу вмешался Промысел Божий. В этот миг появившийся в дверях кабинета педагог училища Ю.В. Катин-Ярцев (как потом выяснилось, мой троюродный дядя) сказал:

— Есть две вакансии на втором курсе: Колиного брата Бориса и ещё одного студента призвали в армию...

Так сказочно решилось моё зачисление в театральный институт. Из кабинета ректора я напрямиком направился в аудиторию,

где меня с распростёртыми объятиями приняли мои друзья Настя Вертинская и Никита Михалков.

И началась дивная пора студенчества. Какие замечательные были у меня педагоги: светлый человек и талантливый артист Виктор Григорьевич Кольцов, открывший мне «тёплую форточку» глаз и души. Хмурый И.М. Толчанов, жизнерадостная Ц.Л. Мансурова, остроумный Е.Р. Симонов. Замечательный мастер художественного слова Я.М. Смоленский, с которым мы за три дня подготовили для экзамена рассказ Чехова «От нечего делать», я читаю его с эстрады по сей день.

Недавно попавшая в мои руки «Летопись Вахтанговской школы» помогает восстановить хронику событий тех давних лет:

Приказ №124 от 3 ноября 1964 года: «Зачислить на II курс актёрского факультета дневного отделения Бурляева Н.П. с условием сдачи экзаменов за I курс в течение 1964/ 65 учебного года». А под ним приказ № 137 от 26 ноября: «...За недопустимое поведение во время занятий студенту II курса актёрского факультета дневного отделения Михалкову Н. объявить строгий выговор».

Да, Никита всегда отличался здоровым и озорным чувством юмора, и занятия всегда проходили весело, что воспринималось положительно далеко не всеми педагогами этого сурового училища. Приказы об отчислении студентов то и дело появлялись на доске объявлений. Отчисляли и спустя некоторое время восстанавливали и Машу Вертинскую, и Александра Калягина, и многих других.

Закончив второй курс, я опоздал к началу занятий на третьем курсе на две недели. Причина была достаточно уважительная для меня и совершенно не убедительная для ректора: я задержался в



связи со съёмками в «Андрее Рублёве». Приезжаю, а на стене Приказ №118 от 17 сентября 1965 года: «Отчислить Бурляева Н. из состава студентов III курса актёрского факультета дневного отделения за съёмки в кино без разрешения Ректората училища». Им бы радоваться, что их студенты, будущие

«артисты театра и кино», имеют возможность проходить профессиональную практику (да ещё какую — у Тарковского!), а они... столь жестоко и неадекватно: долой из училища! Что это было: педагогическая амбициозность, ревность, недомыслие?..

Но рядом был мой негласный опекун Ю.В. Катин-Ярцев. Он, зная училищную кухню, сказал: «Походи к ректору, покайся — и он тебя примет обратно». Спустя три недели на стене висел приказ № 143 от 11 октября: «Учитывая чистосердечное раскаяние Н. Бурляева в совершённом им тяжёлом проступке, его готовность загладить свой поступок интенсивным трудом и безукоризненным поведением, а также взятое им на себя обязательство не участвовать в киносъёмках до окончания училища, разрешаю Н. Бурляеву посещение занятий и участие в работах III курса на правах вольнослушателя — условно на $\frac{1}{2}$ года, после чего будет поставлен вопрос о возможности восстановления его в правах студента». 19 мая 1966 года последовал соответствующий приказ.

А над головой Никиты тучи сгушались всё больше и больше.

Приказ № 172 от 22 ноября 1965 года: «Студенту III курса Н. Михалкову в прошлом учебном году было разрешено участвовать в киносъёмках картины «Перекличка». Работа над кинофильмом, как обычно, затянулась, и озвучивание ряда эпизодов упало на первые месяцы текущего учебного года. По словам Н. Михалкова, озвучивание назначается в ночные часы — по его просьбе, чтобы он имел возможность участвовать днём в занятиях по актёрскому мастерству на своём курсе. На занятия же по другим предметам он не является, так как вынужден отсыпаться после ночной работы на киностудии. Так как ректоратом Михалкову было дано разрешение на участие в данном фильме, я вынужден был мириться с тем, что он пропускает часть занятий. Однако при этом потребовал, чтобы он, в соответствии с нашими правилами, каждый раз накануне получал разрешение ректората отсутствовать на части занятий следующего дня. Однако добиться, чтобы Михалков выполнял это требование, несмотря на несколько моих с ним разговоров на эту тему, мне до сих пор не удалось. В студенческом коллективе может создаться впечатление, что Н. Михалкову по каким-то причинам разрешается то, что запрещается всем остальным, в результате чего другие студенты, нарушающие дис-

циплину, могут оправдать себя обычным в таких случаях заявлением: «Если Михалкову можно, то почему мне нельзя!» ... Что же касается самого Михалкова, то я пока воздерживаюсь от исключения его из училища по той единственной причине, что его исключение поставило бы в трудное положение те работы на курсе, которые ведутся с его участием, и, следовательно, неблагоприятно отразилось бы на творческих интересах других студентов. Исходя из изложенного, прошу художественного руководителя III курса Л.М. Шихматова в недельный срок (до 29 ноября) созвать заседание совета курса и обсудить на нём поведение Михалкова и возможные меры воздействия, которые в данном случае следовало бы применить. О предложениях совета прошу немедленно довести до моего сведения. Ректор училища Б.Е. Захава».

Уж и не припомню, был ли совет и что там решилось, но именно в это время Никита загорелся попробовать себя в режиссуре. Он выбрал два отрывка из «Петра I» А. Толстого. Предложил мне сыграть в одном из отрывков роль Карла XII, а сам замахнулся на роль Петра в другом отрывке. Сказано — сделано. 24 ноября 1965 года состоялся показ наших самостоятельных отрывков и заседание кафедры.

Из протокола заседания: «*Шихматов* предлагает поставить «плюс» (высшая оценка) Бурляеву. *Шухмина* возражает, находит, что его нужно покритиковать. *Калиновский* видит Бурляева на сцене в первый раз, он ему кажется очень способным человеком. Предлагает поощрить.

Захава: Его много поощряли в театре и кино. В своих работах у нас он пока не даёт оснований для особых похвал. Плюс ставить нельзя. Сегодня он играл отдельные приспособления, не нанизанные на задачу. Со школой пока не поладил.

Катин-Ярцев: Сегодня он старался удержать зерно образа и не упустить чувство своего достоинства. В том, что он делал, было много дарования. Он ещё очень неопытен. Моментами он выявлялся прекрасно. Но он натыкался на отсутствие общения.

Мансурова: Вначале он мне очень понравился, было интересно смотреть.

Шихматов: Подкупает творческая смелость, неожиданность. Предлагаю поставить “плюс” Карлу XII — Бурляеву. Пинер — Артамонову и Десмон — Коляскиной — “поощрения”».

«Пётр I» — второй отрывок.

Шухмина: Михалков не прикоснулся к образу Петра. Это скорее царь Фёдор.

Захава: До меня дошло сатирическое отношение к Петру, которого нет у автора. Получилась некоторая дискредитация. Михалков не понял образа и того, что он не может играть Петра. Его гнев — гнев царя Фёдора.

Бинембойм: Он очень по-своему понял образ. Это его убеждение.

Захава: Трактровка не застрахована от нашей критики.

Калиновский: Мне кажется, с него надо спрашивать больше. Здесь он подмял Петра под себя. Это не трактровка: он роль приспособил к себе».

Итог: Михалков — Пётр — «поощрение».

Но это «поощрение» лишь окрылило Никиту на новые режиссёрские дерзания. Вскоре он сказал мне о том, что хочет поставить с мужским составом нашего курса одноактную пьесу Роуза «Двенадцать разгневанных мужчин», и предложил главную роль одного из присяжных, пошедшего против всех и всех победившего. Эту роль в американском фильме играл Генри Фонда. Подобных «суперменов» я, 19-летний юнец, ещё не играл. Это было качественно новое испытание в моей актёрской биографии. Прочитав пьесу, я загорелся не меньше Никиты, и мы ринулись в атаку. Репетировали и днём и ночью.

И тут новый удар судьбы, Приказ № 28 от 26 февраля 1966 года: «За систематические нарушения учебной дисциплины, постоянное невыполнение академических обязанностей и упорное нежелание подчиняться установленным правилам для студентов нашего Училища студента III курса Михалкова Н.С. из состава студентов отчислить».

Никита не стал упрашивать ректора о помиловании. Он, увлечённый своим первым серьёзным режиссёрским прорывом, не прекратил репетиций. Преодолевая стыд и унижение собственного достоинства, он тайно проникал по вечерам в училище через окно и продолжал работу. И довёл её до конца. И сделал это на таком высоком профессиональном уровне, что его гонители были вынуждены признать успех.

Из протокола заседания кафедры 22 марта 1966 года:

Ремизова: Как радостно, когда студент, работая самостоятельно, приходит к хорошим результатам. Видно, что им привито... Они в результате все производят впечатление *актёров*. Радостно, что здесь видна заслуга Училища.

Этуш: Самостоятельная работа кажется лучше, чем те, что были сделаны педагогами.

Захава: Я очень ценю в нашем Училище эти самостоятельные работы, и нечего бояться, что они лучше педагогических. Но это и неправда. Хорошая педагогическая работа будет лучше самой лучшей самостоятельной работы... Здесь налицо чувство правды, чувство формы, группировки. Очень жаль, что студент, который здесь показал себя режиссёром и проявил свои режиссёрские возможности, вынудил нас с ним расстаться. Но факт его исключения считаю для Училища вынужденным и неизбежным, если мы хотим соблюсти наши принципы. Если в его сознании не произойдёт коренной революции (на что я не очень надеюсь), то это будет талантливый человек, который не сможет реализовать всего, чем его наградила природа.

Шихматов считает, что эта вещь должна быть перенесена на Большую сцену.

«Плюсы» получили все без исключения 12 исполнителей! Постановка стала дипломным спектаклем нашего курса.

А Никита поступил во ВГИК на режиссёрский факультет и *«смог реализовать всё, чем его наградила природа»* — стал тем, кем он теперь является — ведущим режиссёром не только Российского, но и мирового кинематографа. Мне, конечно, жаль, что Никита поменял концепцию и пригласил на «мою» роль в фильме другого актёра. Думаю, сегодняшний я мог бы многое дать этому фильму. Однако зла не таю — искренне радуюсь победе своего друга, триумфу «Двенадцати» в Венеции.

* * *

В 1973 году я поступил на режиссёрский факультет ВГИКа.



ВЕЛИКИЙ СКУЛЬПТОР ВЯЧЕСЛАВ КЛЫКОВ

Впервые я увиделся с Вячеславом Клыковым в 1986 году. Поводом для знакомства стал мой авторский фильм «Лермонтов», который с момента своего рождения попал под яростный обстрел «демократических» СМИ. Спасая своё любимое детище, я показывал фильм друзьям и знакомым в надежде на поддержку. На один из просмотров, организованных на «Мосфильме», пришёл Вячеслав Клыков. Он полностью принял фильм, оценив его художественные и мировоззренческие достоинства. С этого дня мы стали единомышленниками, поняли, что нам в этой жизни — по пути. Оба мы — потомки русских казаков, патриоты России, служащие ей своим искусством.

В это время Вячеслав создал одно из главных своих произведений — памятник Преподобному Сергию Радонежскому, и я впервые смог увидеть это творение в его мастерской. Мало произведений монументального искусства сравнятся с клыковским Сергием по красоте, образности, по чистоте светлой патриотической, возвышающей душу идеи. Старец с монашеским силуэтом, соединив на груди куполом руки, охранительно держит их над головой отрока Варфоломея. Яркий символ отеческой веры в грядущее России. Когда я смотрел на памятник с высоты второго этажа, душа моя наполнялась ощущением невероятной силы и трепетного восторга. Я обнял и поцеловал Славу, поздравив его с безусловной творческой победой.

Но вслед за радостью грянули невероятные события, связанные с дальнейшей судьбой этого памятника. Вот запись из моего дневника.

«19 сентября 1986 года. Сегодня по программе «Время» какой-то новый комментатор заявил на всю страну, что «лидеры “Памяти”» хотят незаконно поставить памятник Сергию Радонежскому, обходя официальные ведомства. Ретивый комментатор «заклеймил позором

эту акцию». Враг внутренний непримирим, беспощаден, оперативен, нагл. Какая подлость: на всю Россию, на весь Союз очернить чистое, бескорыстное, патриотическое общественное начинание — памятник великому сыну России, вдохновителю победы на Куликовом поле, объединителю земли Русской, и назвать это историческое событие «антиобщественной акцией». Впрочем, эти наглецы умеют быстро всё ставить с ног на голову, называть белое чёрным, бить сходу по рукам, по голове, чтоб другим неповадно было. Однако они играют с огнём. Опасно бить по рукам, а тем более по голове просяпающегося великана.

Сегодня же в «Московской правде» вышла статья поэтессы Тамары Пономарёвой, в которой говорится о подвиге Сергия Радонежского и о памятнике Вячеслава Клыкова. В редакции буря. Памятник при транспортировке к месту установления «арестован» ГАИ на 20-м километре Ярославского шоссе. Придрались, кажется, к неисправности в электрике. Если раньше я ещё раздумывал, ехать — не ехать на открытие памятника, то теперь твердо решил — поеду.

20 сентября. Пришлось столкнуться с чудовищными фактами нашего сегодняшнего «демократического» бытия. К 15 часам мы с Т. Пономарёвой спешили в Радонеж на открытие памятника. Погода чудовищная, шквальный дождь, заливающий стёкла машины, сплошной мрак. Однако я неожиданно, но вполне уверенно сказал своей спутнице, что в Радонеже будет солнце. При съезде вправо на Городок стоял кордон из милицейских машин. Сказали, что здесь нет проезда, направили дальше по шоссе. Там у очередного съезда с шоссе — снова кордон. Проехали. Далее одолели ещё 5—6 заслонов. Всюду спрашивали «Куда?». Советовали сидеть дома, не вмешиваться, говорили: «Дальше всё равно не пропустят». Встречая сопротивление, моя устремлённость к цели возрастала. На последнем кордоне проверили и права, и удостоверение, записали данные моего членского билета Союза кинематографистов и фамилию Тамары. Сказали, что здесь не пропустят. Видя мою решимость, посоветовали ехать обратно до 59-го километра, там оставить машину и идти полтора километра пешком до Радонежа. Я не выдерживал унизости происходящего, доказывал милиции неправоту подобных действий, показывал статью Тамары в «Московской правде».

На 59-м километре те же вопросы: «Куда?», «Зачем?» Я прямо сказал, кто я и зачем еду в Радонеж:

— Я кинорежиссёр с киностудии «Мосфильм»... Еду смотреть, что творится в моём Отечестве.

— Резонно, — ответил милицейский бас, — оставьте машину там и идите пешком.

Оставил... И пошли под дождём, по осенней грязи, через поля и леса, по тропам и оврагам, не зная куда... Шли по интуиции... Наконец вышли на дорогу. Справа, позади, увидели милицейский кордон — заставу, перекрывающую съезд с Ярославского шоссе. Ну, ни дать, ни взять, как в кино про войну: пробираемся по оккупированной врагом территории. Вышли на дорогу и, не скрываясь, пошли к селу. Нас обгоняли чёрные «Волги» и милицейские машины. Подходя к Радонежу, что означает «Радость нежная», увидели новые цепи милиции. Капитан сказал, что дальше «пока нельзя, там официальные лица».

— Здорово, Коль! — с разлёта окликнул меня Савва Ямщиков, подходящий, подлетающий с четырьмя друзьями. — Тебя что, не пускают? Я работник Фонда культуры...

Его пустили одного. Уходя, он сказал, что передаст там, чтобы меня пропустили. Пока ожидали — беседовали с симпатичными капитаном и майором. Я говорил, что всё происходящее — постыдно: не пускать людей почтить память великого сына Русской земли, что этому будет дана оценка историей. Я понимал, что они всего лишь исполнители, но не мог удержаться:

— стыдно... Мы добирались садами, полями-лесами, едва не ползком... Унизительно. А если вам дадут команду стрелять?

Капитан говорил, что ему действительно стыдно, что раньше он лишь читал о подобных исторических драмах, а теперь сам стал участником. Говорил, что их подняли по тревоге, что видит людей, идущих сюда... Наконец он вызвался проводить нас к центру событий. За ним, как за каменной стеной, дошли до церкви. Там с милицией и таксистами колыхалось тысячеголовое море. Перед церковью была насыпь, покрытая цветами, воздвигнутая на месте предполагаемой установки памятника. Здесь я увидел Славу — поцеловались. Когда слово взял первый оратор, погода мигом прояснилась, тучи над головой разверзлись, поголубело, и солнце — яркое, летнее — светлым лучом пролилось на место, где должен был стоять памятник. Первый оратор-исполкомовец в мегафон, но как-то очень тихо сказал о том, что наш народ чтит память своих предков, что памятник будет открыт позже, поблагодарил всех пришедших почтить память Сергея Радо-

нежского. Это прозвучало насмешкой. Другой оратор сказал кратко о значении Сергия Радонежского и о необходимости открытия памятника. Затем представитель Российского Фонда культуры сказал, что они побеседовали с Вячеславом Клыковым — «талантливым скульптором», и тот понял, что в сложившейся ситуации открывать памятник нельзя. Что существуют законы в нашем обществе, что Фонд культуры поможет Клыкову завершить работу в хорошем материале и памятник непременно откроют в мае—июне.

Мы с Вячеславом покидали «Радость нежную» с тягостным чувством русских людей, живущих в своём оккупированном Отечестве, словно в гетто. Было совершенно очевидно, чьи руки ныне держат вожжи правления в нашей стране. Добравшись до Москвы, заглянул к Славе в мастерскую, чтобы ещё раз полюбоваться на нашего опального Сергия».

В конце мая 1987 года мы с В.П. Астафьевым и С.Ф. Бондарчуком прибыли в Радонеж, едва не опоздав на съёргивание покрывала. Народу, милиции снова — тьма. Но теперь мы чувствовали себя здесь как на своём празднике. Мы победили! Вечером мы собрались в мастерской Вячеслава на дружескую трапезу. Было человек сто близких людей. Он сам вёл застолье, по очереди предоставляя слово Виктору Астафьеву, Петру Проскурину, Сергею Бондарчуку, Володе Личутину, мне...

В конце 2010 года я наконец побывал на родине Вячеслава в курской деревне Мармыжи. Как часто, со скрытой гордостью, словно заклинание или песню повторял Вячеслав это таинственное, интригующее слово — Мармыжи. Обычная русская деревенька с заброшенными пашнями, ухабистыми просёлками, ржавыми останками техники, навозом... Самое любимое, самое милое сердцу Вячеслава место на земле! Здесь гордятся и почитают память о своём великом земляке.

В музее Клыкова я увидел фото, о существовании которого и не подозревал. Чья-то фотокамера запечатлела момент нашей встречи в мастерской Вячеслава, куда он пригласил меня показать эскизы своего нового творения, памятника-монумента, который в то время выиграл конкурс в Манеже и должен был быть установлен на Поклонной горе. Как передёргивали лукавые итоги конкурса, как корёжило «беса», не желавшего признать абсолютную победу Вячеслава Клыкова! Глядя на новый шедевр своего друга, я испытал те же высокие чувства, что охватывали меня при знакомстве с памятником Сергию Радонежско-

му. Удивительная простота и величие, мощь и гармония, торжество тяжелейшей победы и несокрушимости Русского духа.

Помню, я забежал тогда к Вячеславу не надолго, даже не раздевался. Я был так увлечён нашей беседой, что только теперь, спустя четверть века, увидел на фотографии, кто присутствовал тогда при нашей встрече. В дальнем правом углу сидит скромный молодой человек, ныне наместник Сретенского монастыря архимандрит Тихон (Шевкунов). «Рукописи не горят», памятники не пропадают. Ныне этот гениальный монумент-памятник занял словно для него предназначенное место на Курско-Белгородской земле, на Третьем Ратном Поле России — Прохоровском.

В конце 1991 года я учредил Киноцентр «Русский фильм», первым практическим деянием которого замыслил создание кинофестиваля позитивного национального кинематографа. Поделится своим замыслом с Вячеславом, тот поддержал мою идею, сказал, что постарается пробить через Министерство культуры финансирование первого Международного кинофестиваля славянских и православных народов «Золотой Витязь» в рамках Дней славянской письменности и культуры, в Оргкомитете которого он, к счастью, состоял. В мае 1992 года в кинотеатре «Мир» состоялось рождение МКФ «Золотой Витязь», крёстным отцом которого я по сей день с благодарностью почитаю Вячеслава Михайловича Клыкова.

Вскоре Вячеслав предложил мне поехать с ним в блокадную Югославию на открытие памятника Преподобному Сергию Радонежскому, сопроводив его показом русских фильмов от «Золотого Витязя». Сказано — сделано: я взял подборку фильмов — лауреатов МКФ «Золотой Витязь» и пригласил в поездку замечательных кинематографистов — народного артиста России Владимира Заманского и лауреата Государственной премии режиссёра Рениту Григорьеву.

Вячеслав проделал настоящую военную операцию по доставке на военном самолёте монументального памятника Преподобному Сергию. Первым из русских творцов он прорвал кольцо этой несправедливой блокады. Праздник в Дунайском парке города Нови Сада, прозванного сербскими Афинами, был великим. Красивую речь произнёс скульптор подле своего величественного творения в присутствии принца Сербского Томислава Караджорджевича, правящего Архиерея Воеводины архиепископа Иеринея Буловича, представителей власти и сотен простых сербов.

Сердечные, незабываемые дни провели мы с Вячеславом в Югославии. Благодаря Вячеславу состоялось моё знакомство с удивительной страной и сербским народом, вошедших в моё сердце навсегда. Во время братской трапезы было принято решение провести здесь в мае 1993 года второй МКФ «Золотой Витязь». На следующий год мы вторично прорвали югославскую блокаду, но уже более мощным десантом в количестве 60 ведущих кинематографистов России, Украины, Белоруссии и Греции. И это произошло благодаря тому, что впереди «Золотого Витязя» шёл Вячеслав Клыков, прокладывая своей мощной грудью дорогу нам, следующим за ним.

Посещая города, в которых стояли памятники Вячеслава Клыкова, я поражаюсь работоспособности своего друга, красоте его творений, выбору героев, устанавливаемых скульптором по всему лицу земли Русской на века в укрепление душ своих соотечественников. Встречаясь с Вячеславом в его мастерской, во Всемирном Русском Народном Соборе, членами президиума которого мы оба являлись, в особняке Фонда славянской письменности и культуры, отвоёванном им у русофобской власти, на кинофорумах «Золотой Витязь», на незабываемом празднике славянской письменности и культуры в Великом Новгороде, за дружеской трапезой, я неизменно любовался своим соратником: по-мужски красив, сосредоточен, статен, собран, словно перед боем. Он и был в постоянном бою. В бою за веру православную, за душу и достоинство русского человека, за русскую культуру, за землю Русскую.

Уже тогда, при жизни Вячеслава, было абсолютно понятно, что Клыков надёжно вписал своё имя в русскую вечность и навсегда останется величайшим русским скульптором XX века.

ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО КИНОПРОЦЕССА

*Слово на конференции **Культура. Бизнес. РФ.**
«Кинопрокат в России: перспективы развития бизнеса»
25 февраля 2011 года*

Начну с того, что сразу поставлю точку над «i» и скажу определённо: в России, в стране величайших традиций кинематографа и

культуры, относится к кино, как к бизнесу, — порочно. Лично для меня кино, прежде всего — Искусство, несущее высокие нравственные идеалы, возвышающие душу человека.

Иначе относиться к кинематографу не могу. Во-первых, потому, что так воспитан с детства. С «Иванова детства». Со времён великого Советского кино, которому рукоплескал весь мир. Не могу и не хочу предавать своих учителей: Тарковского, Бондарчука, Ромма, Кулиджанова, в кошмарном сне не представлявших грядущего тождества понятий «культура» и «рынок». Великие режиссёры мира восторгались и удивлялись чуду «советского кино». Федерико Феллини в разговоре с Андреем Тарковским выражал искреннюю зависть советским режиссёрам, у которых было 100% финансирование и прокат их фильмов в тысячах кинотеатров. «Я, — печалился Феллини, — никому в Италии не нужен. Я умираю, и умирает мой зритель...»

Попробуем разобраться, в чём есть смысл и назначение кино?

Кто-то, быть может, вспомнит изречение: «Хлеба и зрелищ!» Да хлеб насущный необходим человеку каждый день. Но уверен, что зрелища в такой великой стране, как Россия, должны быть возвышающими и просветляющими душу человека. Я отнюдь не против зрелищных, веселящих сердце жанров, был причастен к созданию таких лёгких и трепетных, трагикомичных и сентиментальных, но при этом — кассовых фильмов, как «Военно-полевой роман», «Мама вышла замуж»... Вспомните миллионные аудитории на фильмах Л. Гайдая, Э. Рязанова, Г. Данелия, Н. Михалкова, В. Меньшова, П. Тодоровского... Но кроме сердечного развлечения, кроме юмора и улыбки фильмы этих мастеров вызывали и вызывают у зрителей высокие чувства и светлые раздумья.

Могут возразить: «Это всё — в прошлом, вы отстали от жизни, зрителей приучили к «эффектной пустоте», они не пойдут туда, где нужно шевелить мозгами. Кто пойдёт на ваше духовное, просветлённое кино?» Пойдут. Стоило дать достойную рекламу таким фильмам, как «Остров» и «Поп» и их успех был весьма ощутим обществом.

От своего рождения, от изобретательных братьев Люмьеров до наших дней перед кинематографом, перед режиссёрами всегда был выбор одного из двух путей: либо возвышать и просветлять человеческие души, помогать исполнению Промысла Божьего на земле, либо содействовать грехопадению человека, заниматься «доходным

промыслом», как называл подобное баловство великий ум Иван Александрович Ильин.

С начала «перестройки» российский кинематограф и российские кинематографисты, в эйфории возопившие: «“Ассу” — в массы, деньги — в кассу», ринулись по второму, порочному пути: в бизнес, в рынок, в вырождение искусства. Ныне все мы и наши дети пожинаем отравленные пошлостью плоды современного «рыночного кинематографа» и «рыночного кинопроката», копирующих, словно обезьяны, своих «голливудских» законодателей. Сегодня Российский кинопрокат можно смело назвать филиалом «американского кинопроката». Неся в кассы мультиплексов свои рубли, мы добровольно поддерживаем мощь голливудского монстра. «Агрегатный досуг» советского нравственного кинематографа подменён «агрегатным досугом» достаточно пошлого американского кино. Дворцы культуры замещаются торгово-развлекательными центрами.

Процесс деградации, «вестернизации» нашего великого кинематографа происходил при нашем содействии, дорогие коллеги. При поддержке опьянённых иллюзией «рыночного кино», прикормленных «новым рыночным порядком» кинокритиков, подпевающих процессу общенационального духовного вырождения. Заметьте, что и в этом просвещённом собрании многие вполне привычно говорят на птичьем языке: «сиквелы, ремейки, блокбастеры, мейнстрим, артхаус, контенты, креатив»... Сегодня даже известные киноведы пенсионного возраста, преподающие в вузах, заявляют, что кино без жареного, без пошлого секса, без насилия, без голубых, без инцеста, без «сладкого соблазна» — вовсе не кино! Их не тревожит евангельское предупреждение, словно адресованное Спасителем всем нам, деятелям экранных искусств: «...Невозможно не прийти в мир соблазнам. Они должны прийти, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит...»

С лёгкой руки прежнего руководства российской культурой почти полностью разрушена великая советская киноиндустрия, мощнейший государственный кинопрокат. Уничтожена киностудия «Детских и юношеских фильмов», летописная кузница «ЦСДФ», «Союзмультфильм» и прочие киностудии страны. Кинематограф для детей уничтожен полностью. В Российском прокате не найдёшь

ни одного достойного детского фильма, повествующего о национальных героях. наших детей ориентируют на чужебесие, на «голливудский продукт», на Гарри Поттера, Шварценеггера, киллеров, монсторов и вампиров... Невольно вновь вновь вспомнишь завет радио «Свобода», прозвучавший в эфире в начале «перестройки»: «Цель перестройки в том, чтобы приблизить русских к западным стандартам, в том, чтобы произошла мутация Русского духа. Нужно Русских выбить из традиций».

Авторы «культурной революции», внедрившие в нашу жизнь, на мой взгляд, смертельный для подлинного кино «Указ об акционировании и приватизации кинематографа», видно не ведали, что творили, не понимали, что кинематограф — это духовно стратегическое оружие государства, формирующее или разрушающее будущее России, укрепляющее или уничтожающее духовный генофонд нашего народа. Оружие нельзя оставлять без присмотра и целиком отдавать в частные руки, приученные лишь к шелесту зелёных бумажек.

Сегодня с этой трибуны я услышал робкий, извиняющийся голос о нашей «ответственности». Настало время говорить об ответственности в полный голос. Мне непонятна ирония, прозвучавшая в этом зале из уст критика, о доктрине «национальной информационной безопасности». Родина в опасности и кино в опасности уже давно, почти четверть века.

Думаю, никому здесь не нужно объяснять мощь влияния экранных искусств на сознание человека и формирования генофонда. Благодаря современной экранной, прокатной политике мы значительно увеличили показатели преступности, алкоголизма, наркомании, педофилии, самоубийств и других социальных пороков. Как пример воздействия кино на зрителей приведу пример из собственной практики. Благодаря позитивному потоку фильмов, показываемых ежегодно в регионах Международным Кинофорумом «Золотой Витязь» (более 200 фильмов за 10 дней), администрация этих регионов и управления внутренних дел регистрируют резкое снижение показателей преступности во всём спектре преступной шкалы. Так было в Липецке, Тамбове, Рязани, Иркутске и других городах, где побывал «Золотой Витязь».

Апологеты «рыночного кино» трубят о тысяче новых комфортабельных кинотеатров с долбистерео, не смущаясь тем, что большин-

ство этих комфортных мультиплексов построены на зарубежные деньги и показывают они главным образом пошлое американское кино или подражающий оному «доморощенный продукт». Вполне естественно и привычно кино теперь повсеместно называют именно «продуктом».

Мериллом успеха киноторговцы естественно считают кассовые сборы, хвастаются тем, сколько они отхватили в так называемый «первый уикенд». Побойтесь Бога, господа, этим ли следует измерять ценность произведения? В этом ли главное предназначение искусства?

Хочу напомнить, что великий фильм великого русского режиссёра Андрея Тарковского «Андрей Рублёв» не стал лидером проката в «первый уикенд». Но сегодня, спустя сорок лет, этот фильм уже давно побил все кассовые рекорды и с успехом выполнил главную миссию подлинного киноискусства — достойно послужил возвышению человеческой души. На этом фильме наши зрители (и не только наши) постигали историю Руси, открывали мир древнерусской живописи, иконописца Андрея Рублёва, многие благодаря этому фильму духовно возрастали и даже воцерковлялись. Искусство в России нужно измерять не «уикендом», а вечностью. Не следует ожидать от фильма скорых дивидендов. Дивидендами кинематографа разумно считать выросшие и духовно возвысившиеся на наших фильмах поколения. Окупился фильм за «уикенд» — слава Богу. Не окупился — не беда, окупится со временем. Понятно, что коллеги, относящиеся к кино, как к «доходному промыслу», возмутятся: «А как же наш бизнес?» Но мы вначале договорились о том, что кино в России считать бизнесом порочно.

Прокатчики и режиссёры всего мира, вынужденные заниматься «доходным промыслом», захлѐб рекламируют последний писк XXI века — «3DE». Этот «жалобный писк» моё поколение уже слышало в 60-х годах, когда в Советском Союзе была изобретена эта диковина — «стереокино». Построили стереокинотеатры, где нам выдавали стереоочки. Походили разок-другой, поахали, слегка окосели и отложили очки в комод на сорок лет, пока их не вытащили оттуда киноторговцы, не знающие, чем бы ещё завлечь зрителей.

То, что государство выделило несколько миллиардов на кино и создало Фонд, прообраз бездумно уничтоженного Госкино — это

хорошо. А вот вопрос: правильно ли распорядятся этими средствами — остаётся большим вопросом. На мой взгляд — распорядились не совсем верно. Средства распределили по фирмам, зарекомендовавшим себя на рынке, т.е. подтвердившим, что их «промысел» был доходен. Государство вновь пошло по опасному пути, делая ставку на доходность, забывая, что цель подлинного кино — возвышение человеческой души, формирование сознания грядущего поколения, которому мы передадим нашу Россию. Вызывает тревогу и то, что на «социально значимые» проекты предполагается выделить всего несколько процентов из этих средств. Было бы логично, если бы государство выделяло государственные средства, т.е. наши с вами средства, только на «социально значимые» проекты. А рыночным, «доходным промыслом» пусть занимаются частные киноторговцы.

Что делать?

Во-первых, сделав первый шаг, создав Фонд, нужно начать возрождение государственного кинематографа. Возвратить систему Государственного заказа и 100% финансирования, а значит, на порядок увеличить вложения в киноиндустрию.

Необходимо возродить разрушенную сеть государственных кинотеатров.

Начать процесс последовательной переориентации зрителей на традиционные духовно-нравственные ценности.

Возможно ли это? Вполне возможно.

Приведу пример из своей прокатной практики. Несколько лет тому назад меня назначили директором одного из 1000-местных московских кинотеатров. Жарким июльским днём состоялось его открытие. Как ни странно, зал был переполнен, хотя начал я свою прокатную политику с так называемого «не рейтингового» документального кино. На третий день кинопоказа в кинотеатр потянулись зрители из дальних районов Москвы и даже из Московской области. Люди поражались тому, что существует подобное кино, просили продолжать нашу работу.

Большинство прокатчиков и топ-менеджеров центральных телеканалов выработали достаточно циничное отношение к позитивному экранному искусству. На пути таких фильмов к зрителю

они поставили непреодолимый барьер и определение, звучащее как приговор: «Не наше!» «Не рейтинговое!» Впрочем, что наше, а что «не наше» — большой вопрос.

Не о таких ли законодателях экранной политики в России писал великий поэт Николай Языков в своей знаменитой поэме «К ненашим»:

*«Вам наши лучшие преданья
Смешно, бессмысленно звучат.
Могучих прадедов деянья
Вам ничего не говорят.
Их презирует гордость ваша.
Святыня древнего Кремля,
Опора, сила, крепость наша —
Ничто вам! Русская земля
От вас не примет просвещения!
Вы страшны ей! Вы влюблены
В свои предательские мненья
И святотатственные сны.
Хулой и лестью своею
Не вам её преобразить.
Вы, не умеющие с нею
Ни жить, ни петь, ни говорить...»*

Благодаря подобной экранной политике достойные, и как воздух нужные национальному сознанию фильмы, в которых говорит народная душа и традиции, не принимаются прокатом. Замечательные российские фильмы минувшего года: «Верую» Лидии Бобровой, «Гоголь. Ближайший» Натальи Бондарчук, «Воробей» Юрия Шиллера, были почти полностью проигнорированы прокатом. Безусловно, эти фильмы, снятые на скромные средства, без спецэффектов и без рекламы, уступают броским, многомиллионным по затратам, «Титанику» и «Аватару», однако для русской души они гораздо необходимее, духовно-питательнее и роднее.

«Есть чувство правды в сердце человека», — говорил Лермонтов. Государство и люди, заинтересованные в спасении души и в продвижении «правды» подобных, живоносных российских фильмов-

родников на национальный экран, должны помочь зрителям встретиться с подобными фильмами в кинотеатрах.

В сегодняшнем Российском прокате и на центральных каналах не увидишь документальные фильмы выдающегося режиссёра Бориса Лизнёва: «Скобелевский марш» — о великом полководце Скобелеве, «Вёшки над рекой» — о простых, бедных, но светлых русских людях, «Царское дело» — о царе Иване Васильевиче, талантливую альтернативу антиисторическому и эстетически не приемлемому мною фильму «Царь»... Широкий зритель не знает о существовании замечательных документальных фильмов Бориса Карпова, Татьяны Карповой, Валентины Матвеевой, Вячеслава Орехова, Валентины Гуркаленко, Сергея Зайцева, Валерия Тимошенко и десятков других талантливых режиссёров...

Необходима полномасштабная государственная поддержка в рекламе и продвижении на экран духовно-нравственных произведений национального кинематографа. Реклама подобных проектов не должна уступать общепринятым рекламным стандартам.

Международный Кинофорум «Золотой Витязь» достаточно строго следит за духовной экологией своего экрана. За 20 лет мы показали более 5000 конкурсных фильмов, соответствующих девизу: «За нравственные идеалы, за возвышение души человека». Не ожидая милости от рыночного кинопроката, мы начали создавать сеть альтернативного кинопроката — Киноклубы «Золотой Витязь». Сейчас их около шестидесяти. Их география обширна: от Дальнего Востока до Косовской Митровицы, от Петербурга до Вены и Зальцбурга.

Надеемся, что государство и предприниматели, озабоченные вопросом изменения современной прокатной политики, когда-нибудь поддержат это начинание.

Много лет Кинофорум «Золотой Витязь» проводил сценарные конкурсы, награждая лучшие произведения. За десятилетие был создан обширный сценарный портфель, который не был востребован. Из пяти десятков сценариев лишь два получили государственную поддержку.

Здесь приводились цифры: почти 20% кинотеатров в СССР приходились на большие города страны и 80% на отдалённые сельские киноточки. Не следует забывать, что глубинка это тоже Россия. Необходимо возрождать всё лучшее, что было в практике советской киноиндустрии и прокате. Воссоздавать разрушенный государственный кинопрокат. И это вовсе не утопия. Национальный кинопрокат разрушался на протяжении всего двух десятков лет, а вера и храмы — более семидесяти лет. Однако и Храм Христа Спасителя восстановили за пять лет, возродили тысячи храмов и монастырей, очагов подлинной культуры по всему лицу Святой Руси. К слову, в каждом из них есть возможности проката фильмов, правда, только позитивных.

Олег мне друг, но истина дороже, я вовсе не против монополизации государственной поддержки в деле возрождения нужного нашему народу кинопроката.

Если всем нам не безразлично, в чьи руки мы передадим нашу страну, следует незамедлительно и на всех уровнях озаботиться вопросом возрождения российского детского кинематографа.

Необходимо наладить системное производство фильмов для детей и юношества и планирование их выхода на экран в детские каникулы и праздники.

Нужно создать специальную государственную комиссию по вопросам культуры для детей и юношества: детского кино, театра, литературы, музыки...

Создать режим особого благоприятствования производству фильмов для детей и юношества со стопроцентным финансированием.

Отменить налогообложение на производство, спонсирование и продвижение фильмов для детей и юношества.

Возвратить Киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького статус, соответствующий её историческому названию.

Необходима государственная поддержка системе обучения, подготовки кадров для национального, позитивного кинематографа.

Учредить государственный конкурс киносценариев для детей и юношества с денежными премиями и гарантией запуска в производство.

«Федеральный фонд поддержки отечественной кинематографии» должен обязать студии, получающие господдержку, произвести не менее одного фильма для детей и юношества, основанного на традиционных, духовно-нравственных ценностях. Совместно с Министерством образования и департаментами образования необходимо наладить показ лучших отечественных фильмов для детей в образовательных учреждениях с участием их создателей и обсуждением этих фильмов.

Понимая, что процесс оздоровления российской экранной политики потребует длительного времени, мы приглашаем к сотрудничеству тех, кто готов участвовать в создании Интернет-портала «Золотого Витязя» для некоммерческого показа фильмов из нашего многотысячного фонда, ежегодно прирастающего двумя сотнями новых фильмов.

Безусловно, продвижение позитивных фильмов требует разнообразия форм и кропотливой работы. Вспоминаю, сколько усилий потребовалось для демонстрации фильма «Лермонтов» на протяжении полутора месяцев в кинотеатре «Россия» в 1987 году. За сорок дней перед началом просмотров перед зрителями выступили около 40 ведущих деятелей культуры: писатели, поэты, лермонтоведы, критики, профессура МГУ..

В заключение хотел бы напомнить всем нам — журналистам, кинематографистам и прокатчикам — призыв выдающегося русского мыслителя Ивана Ильина, который поможет всем нам верно ориентироваться в нашем служении кинематографу и человеку: «Всё надо мерить мерою Христа и не бояться остаться в одиночестве».

СОДЕРЖАНИЕ

Близнецы. Повесть	3
Пушкин. Киносценарий	65
Иван Вольнов. Поэма	110
Бемби. Лесная сказка	138
«Я смерти не боюсь, я видел свет...». Стихи	
Пра-пра-пра-прадедов моих	168
Зеркало	168
Кинорежиссёру	169
В городе пух	169
Заповедано мне петь весь свой век:	171
Заповедь сыну	171
С крыш сбрасывают снег...	172
С твоим благословением в душе	172
Зачем печали сердце предаёшь	173
Что такое — стать собой?	174
Когда не признан и гоним	174
Я смерти не боюсь	175
Листопад	176
Разум — ристалище Света и тьмы:	176
Детские стишки	177
Сибирь	178
Ночь на Енисее	178
Песня о радости	179
Мозаика	179
Весна в двадцать седьмой раз	183
Песня о матери	185
Едва расставшись, снова к Вам стремлюсь	186
Горда, красива и чиста	187
Прогулка в горах Кахетии	189
Судьбы моей печали	190
Отныне, Грузия, тебе	190
Один я к морю приходил...	191
Ялта	191
Окно в Ялту	194
Одиночество	197
Моим критикам	198
Эпитафия	199
Мне подарены мгновенья	202
В киноэкспедиции	203
Люди — все поэты	203
За славу, блага грех служить	204
Я не подвластен никому	204
Прогулка	205
Песня цыгана	206
Если ни я и ни ты	208

Я над пропастью любуюсь бездной горной	208
Посмотрю на озеро лесное.....	209
Фауст и Мефистофель	209
На даче Ливановых	212
Пронзая мыслью время и пространство	213
Подражание Рабиндранату Тагору	214
Отцу	220
«Я помолюсь за вас, чтоб вас всевышний спас»	
Великий учитель	222
Андрей Первозванный мирового кинематографа	229
Иван Герасимович Лапиков	252
«Быть первым на Руси — тяжелый крест»	253
Мой Владимир Высоцкий	263
Последнее Елеопомазание Михаила Пташука	268
Витязь русской культуры	268
Савва Ямщиков — реставратор всея Руси	283
Памяти Стево Жигона	288
«Средь боя зоркость не терять». Мутация духа или возрождение?.....	290
Остановить экранный терроризм	295
Вера и труд: Духовно-культурные традиции и экономическое будущее России	299
Благополучие России в нравственной культуре	301
«Не участвуйте в делах тьмы»	302
Распятое Косово	309
Белград, февраль 2000 года	318
«Зло мгновенно в этом мире. Неизбывна доброта»	325
Паломничество за благодатным огнём	325
Кино, театр и религия	330
Слово о ВГИКе	330
«Культурная революция» — мутация русского духа	334
Духовная сила слова: основа единства народа	343
«Настоящее и будущее славянской культуры»	347
Российский кинематограф: вчера, сегодня, завтра	358
«Экология души — спасение человечества»	364
Духовные традиции. Кинематограф христианского мира: вчера, сегодня, завтра	371
Мастер и Маргарита	377
Друзей моих прекрасные черты	384
Мой театр	406
Мои университеты	409
Великий скульптор Вячеслав Клыков	415
Духовно-нравственные задачи современного российского кино-процесса	421

ФРАГМЕНТЫ БОЖЬЕГО ИСКУССТВА

Жизнь в трёх томах. Избранные литературные произведения
II том

Бурляев Николай Петрович

Директор АНО «ОСЛН» Л.Г. Рудин

Редактор — Т.Е. Ширма

Корректор — Л.И. Смирнова

Вёрстка — А.Е. Успенский

Подписано в печать 30.09.2011. Формат 70 x 100 1/16.
Объём 27 п.л. Тираж 1500 экз. Заказ № 2327.

Издание подготовлено при участии Издательства
«Общество сохранения литературного наследия»
«ОСЛН» www.osln.ru

Москва, 109044, а/я 22; e-mail: litnas@mail.ru

Тел. (495) 589-81-33, тел./факс (499) 795-27-35

Издательство будет благодарно за отзывы на данное издание.

Почтовый адрес для писем: 109044, Москва, а/я 22;
e-mail: litnas@mail.ru

Отзывы на книгу можно выслать на e-mail: mfzolotoyvityaz@mail.ru
www.zolotoyvityaz.ru

Отпечатано в ОАО «Типография «Новости»
105005, Москва, ул. Фр. Энгельса, 46

ISBN 978-5-902484-43-1



9 785902 484431